

александр давыдов

Александр Давыдов

■ серия ■
■ новая премия ■

Мечта о Французике

Роман в трех блокнотах

Москва 2019



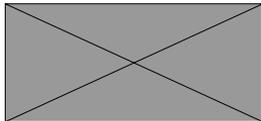
УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
Д13

Макет, оформление — *Валерий Калныньш*

Д13 **Давыдов А. Д.**
Мечта о Французике : Роман в трех блокнотах / Александр Давидович Давыдов. — М. : Время, 2019. — 336 с. — (Серия «Самое время!»).
ISBN 978-5-9691-????-?

Новая книга А. Давыдова в его любимом жанре философской притчи, здесь рассказанной в форме дневника предположительно российского бизнесмена из «бывших интеллигентов». Им переживаемый кризис ему кажется не только его личным, но и всей мировой цивилизации, «запутавшейся в мнимостях». Чтоб избавиться от надоевшего быта и приевшихся обязанностей, он находит убежище в пансиончике «для творцов любого профиля» в неназванной стране, в которой, однако, угадывается Италия. Увлеченный местной легендой, он пускается на поиски ее постоянно ускользающего героя, некоего Французика, по его мнению, способного лишь своим чистосердечием отгнать всемирную катастрофу. Этот образ безусловно навеян автору личностью Франциска Ассизского, но не исторического, а словно обитающего во всех временах, «а также и наклонениях».

ББК 84(2=411.2)6



Александр Давыдов, 2019
© «Время», 2019

*Хотел бы посвятить св. Франциску Ассизскому,
но не посмею*

МЕЧТА О ФРАНЦУЗИКЕ

Запись № 1

Прежде никогда не вел дневник. Причин несколько. Первая, разумеется, это моя лень. Но, главное, уповая на свою некогда и впрямь надежнейшую память. Было время, я, казалось, пятясь назад, мог припомнить всю свою жизнь от настоящего дня до первоистока, когда воспоминания не то чтоб упирались в стену, а тихо угасали в зыбком тумане самого раннего младенчества. Знаю, что младенческую память принято считать иллюзией: не собственной, а любимых, любящих, но и навязчивых свидетелей нашего существования. То есть выходит, это первая подмена, грозящая всю нашу судьбу превратить в фальшивку. Поэтому я всегда подозрителен к тем воспоминаниям, когда себя видишь будто со стороны. Но ведь моторная память безобманна. Помню, как учился ходить. Как впервые встал на ноги, сперва с великим трудом удерживая равновесие. Потом шагал все смелей и уверенней, испытывая яростный восторг и гордость прямохождения. Но и хорошо запомнил вдруг мне пришедшую трезвую мысль: «Чего ж гордиться, коль все ходят?» Говорить тогда я уж точно не умел. Кто-то предположит, что мне запомнилось чувство, к которому я лишь много позже приискал слова. Никогда не интересовался, как об этом судят психологи младенчества, — и вообще есть ли такая специальность? Думаю, вряд ли из-за полного отсутствия информантов: возможно, я действительно уникам ранней памяти — но сам уверен, что человек приобщается речи прежде, чем он овладеет артикуляцией, постепенно преобразовав необходимые для физиологической жизнедеятельности органы питания

в речевой аппарат. Но важнее, что утратит богоданное чистосердечие, когда звук не метафора, не какой-нибудь вторичный смысл, а непосредственное выражение чувства или потребности. То есть когда, так или иначе, вторгнется ложь в его непредвзятое, целиком природное бытие.

И уж наверняка никто не поверит, что моя память еще куда протяженней. Однако я на этом настаиваю. Какая нянюшка мне могла поведать задним числом о тех муках, что я, еще замурованный в себе, испытал, ворвавшись в этот слишком изобильный, еще пока чуждый мне мир? Не это ли прообраз адских мук? Знаю по собственному опыту, что, кажется, беспричинный детский плач вовсе не каприз, а первая трагедия новорожденного существа. А после этого изначального ада — видимо, прообраз райского блаженства. Когда обернулся перевернутый вверх тормашками угрожающий мир — то есть вмешался уже зарождающийся разум, подправивший непредвзятое виденье реальности, — помню опять-таки отчетливую, словесную мысль: «А мир-то не так уж плох, как мне сперва показался, пригоден-таки для жизни». Но, честно говоря, даже и я сам с трудом верю в столь раннюю лингвистику.

Странное какое-то начало для дневника. Собираясь фиксировать события своей жизни день за днем, а невольно обратился к первоистоку. Но дневник — вольный жанр, а первоисток еще как назойлив, — наверняка тайно правит нашей судьбой. Да и вряд ли удастся выпрямить свою извилистую жизнь, которая, кажется, сплелась в какую-то не распутываемую кудель (поясню это позже, а может быть, и не стану). И все-таки попытаюсь начать снова, коль записанный текст, в отличие от физической жизни,

можно начинать сколько угодно раз и свободно переиначивать. Итак, вторая попытка: прежде я никогда не вел дневник, причин несколько — первая, разумеется, это моя лень. Но, главное, давно канули времена, когда я уповал на собственную память. Я стал замечать, что множатся потери, теряются даже не отдельные дни, а случаются, годы, даже эпохи жизни, большие фрагменты судьбы. В моем прошлом обнаруживается все больше пропусков и гулких, драматичных пустот. Конечно, знаю, что человеческая память милосердна — скрадывает наши проступки и мелкие пакости, ошибки, просчеты, неловкости. Но хотя и не отношусь к тем, увы, немногочисленным счастливым, благословляющим каждый свой прожитый миг, каким бы тот ни был, упивающимся существованием как таковым, а даже не только собственным, однако я ценю и опыт своих неудач, которые для меня не мусор, не какой-нибудь жизненный спам, а что-то вроде цемента, без которого судьба не цельное нечто, а всего лишь руины прежнего благополучия.

Да, жалею, что не начал с ранней юности (а почему бы не с детства?) вести учет прожитым дням. Мог бы теперь располагать не только цельной картиной своей жизни, но и будто диаграммой чувствований, намерений, устремлений и разочарований. Тогда б сейчас прожитая жизнь мне б открывалась и в прямой и в обратной перспективе, — я мог бы проигрывать ее все альтернативы. А ведь можно еще и реконструировать всегда обрывистые жизненные сюжеты, — тогда самой скудной и заурядной жизни хватит даже не на повесть, а на целый роман-эпопею, где отразится время. Короче говоря, сколь было б обретенный взамен нынешних потерь!

Но чего ж нынче сетовать? Видимо, в отличие от прилежных летописцев собственного существования, я все-таки свою жизнь недостаточно уважал. Теперь же она заставила к себе относиться с почтением, делается все важней, весомей и трагичней, уже клонящаяся к закату. Вот и постараюсь не растерять хотя б те дни, которые мне наперед отпущены, учитывая, что память, соответственно возрасту, теперь цепко удерживает позавчерашнее, притом к вчерашнему вовсе незначительная. Вот тут пока и сделаю паузу. Важно не запутаться в тенетах письма. На него глянуть со стороны: подлинно ли это мое, мне насущное слово или перепев чужой речи, который сколь бы ни был изящен, ему все равно грош цена. То есть действительный ли я автор или тут привычный самообман и вновь коварная подмена?

Запись № 2

Перечитал запись. Это ли дневник? Где тут прожитый день в его полной конкретности, с его реалиями и точнейшими приметам? (А ведь собирался унизать нитку памяти фактиками, чередой которых и есть моя жизнь целиком, притом сознавая, что очень уж они склизкие, — запросто не ухватишь.) Тогда не стоит ли вырвать листки из блокнота и уже в третий раз начать снова? Нет, не решился. Так ведь можно угодить в карусель дурной бесконечности, да еще и для меня невыносимой пустой, можно сказать, алчный лист бумаги, сулящий все тяготы письма. (Хорошо, предположим,

что я, непривычный к литературе, начал воспоминаниями, просто чтобы расписаться: прошлое все же доступней письму, чем настоящее, которое фиг-то сразу ухватишь.) К тому ж любой дневник это и рефлексия, интроспекция, попытка разобраться в себе самом и в результате возможность подобрать свою личность, растасканную и соседствующими людьми, и слишком разнообразными аспектами бытования, — в этом я больше всего нуждаюсь, коль теперь частицы меня сварливо отстаивают каждая свою истину. Но исповедью дневничок уж наверняка не будет, поскольку я далеко еще не добрался до собственных недр.

Дневники чисто фактологические пишут лишь только оголтелые честолюбцы, уверенные, что их жизнь драгоценна, или уже признанные гении. Мне-то насущней не фактология прожитых дней, а скорей биография чувства, — только б дневник не превратился в подобье свалки неприкаянных эмоций. Так что не буду искоренять все эти полуоправдания — не перед кем-то, а самим собой (хотя, разумеется, любой дневник, даже самый интимный, пишется ввиду другого, и я тут не исключение), попытке себя убедить, что летопись жизни мне теперь насущна, тем преодолев обычную леность и страх перед обнаженной бумагой. А разве нет, коль нынче и весь мир так утомительно сложен, что в нем спроста не разберешься? По виду все более рациональный, он, по сути, превратился в какую-то причудливую мешанину фантазий, видений, утопических грез и упований, недодуманных мыслей, противоречивых замыслов и сомнительных концепций. Не скажу, что он потерял смысл, напротив — переполнен смыслами, ими забит под завязку. Это уже не эпоха, со своими понятиями, общепринятой мифологией, этикой

и эстетикой. Так что его даже трудно назвать современностью. Подчас кажется, что нынешний мир настолько одряхлел, что ему не под силу удержать наличную реальность. Он будто прохудившийся мешок, ибо история протерлась до дыр, — весь в прорехах. (Подчас кажется, что и небо уже прохудилось — там зияет головоломная беспредельность.) По крайней мере, для меня изо всех щелей разошедшегося мира сквозит прошлое и будущее, мешая все времена. (Подходящая метафора, но к «сухой» прибавлю и влажную: все времена нынче переполнили современность, как вода скапливается у запруды, угрожая прорвать ее.) Наша современность напоминает международный базар, какое-то крикливое торжище. Я даже на своей родине уже давно себя чувствую иностранцем. Притом догадываться, что где-то существует родина моего духа, — не в каком-то там мистическом, символическом или метафорическом смысле, а именно в самом прямом, географическом.

Честно говоря, ко всяческой электронной технике я испытываю стойкое отвращение. Мобильник мне видится непolitкорректным, вовсе лишая смысла понятие «личного пространства» и приватной жизни, а слово «гаджет», учитывая разоблачительность первого слога, чувствуется змием-искусителем. Эти хитрые приборчики, которые лишь с виду кажутся человеколюбивыми, нас (имею в виду людей моего поколения) бесцеремонно выпихнули из обжитого прошлого в сомнительное, довольно-таки неуютное будущее.

О Всемирной паутине уж и говорить нечего, — коль паутина, мы все в ней запутавшиеся мухи (а где-то и паук). Поплутав в ее бестолковых лабиринтах, с их неустойчивой грамматикой, бездарным синтаксисом, как раз и понимаешь до конца нынешний переизбыток смыслов и тщету

информации. К чему я все это? Конечно, не для того, чтоб лишний раз себе растравить душу или покичиться собственным консерватизмом. Но дело в том, что, когда я наконец созрел в решимости все ж отыскать свою предполагаемую родину, мне пришлось-таки окунуться в липкий мир виртуалов. Было, конечно, стыдно прибегать в поисках насущнейшего к профанической, прежде мной прокливаемой машинке. Но что поделать, если людская молва сейчас предвзята и вообще сведена до едва различимого шепота; так называемые (будто в насмешку) средства массовой информации лживы все до единого, а туристические путеводители слишком уж настырно предписывают пути. Информационное преимущество интернета — его всеядность и тем самым равнодушная непредвзятость. Разумеется, блогеры и рекламодатели вам стремятся навязать и то и это, от разнообразных идеологий и политических ракурсов до холодильников, пылесосов, чайных сервисов и фаллоимитаторов, но невероятный переизбыток предложений обесценивает каждое. Чуткая, надо признать, система, и вот парадокс — будучи виртуалом, она теперь словно гарант подлинного существования. Того, что не оставило и следа в отзывчивом интернете, как бы и не существует вовсе, будто это какой-то случайный жизненный спам. Так наибольший ли парадокс в нашем до конца свихнувшемся мире мой поиск подлинного посредством мнимостей?

Надо сказать, что, блуждая паучьими лабиринтами, я обогатился множеством познаний, которые счел хотя и любопытными, но вовсе не обязательными. А ведь когда-то был энтузиастом знания, даже чем-то вроде информационного маньяка. Однако с годами как-то сам собой

изжил эту пагубную зависимость. Попросту пришел к здоровой мысли, что скопленных знаний с переизбытком хватит на мне отпущенные годы, а вот, видимо, от них не зависящей мудрости явно недостает. Поэтому мое исследование Всемирной паутины было для меня не столь увлекательным, сколь назидательным. Это ли не точный образ современного мира, теперь не только не упускающего ни мига своего существования, но и реконструирующего память, избавив человечество от благодетельного склероза? Хаос фактов, в которых еще попробуй разберись, какой-то, если можно так выразиться, путаный глобально-исторический синхрон, где целиком равноценно главное, второстепенное и вовсе случайное. Но меня, разумеется, интересовала не история, а география.

Честно говоря, я вовсе не был заранее вооружен каким-либо зрительным образом своей предполагаемой родины, хотя б даже туманным. Однако был уверен в своей интуиции, которая меня редко когда подводила, всегда позволяла прозреть истинную красоту под покровом гламурной красоты и вообще отличить бриллиант от стекляшки. Было даже любопытно, к какому именно ландшафту прильнет моя душа: каменной ли пустыне, исполненному тихой прелести пейзажу средней полосы, тайге ли, тундре ли, долине гейзеров, южноамериканским джунглям, какой-нибудь, — кто ж знает? — горделивой, пафосной столице или, напротив, тихому городку, с трогательными ли деревянными домишками и луковичками церковей, с черепичными ли крышами, отлогими, узкими улочками и островерхими храмами. Или вдруг да она изберет нечто несусветное, вовсе непредставимое и непредсказуемое.

Презирая рекламу, я, как человек добросовестный, прилежно обшаривал сайты различных туроператоров, сулящих райские кущи во всех уголках мира, теперь сократившегося до почти шаговой доступности. Отбрасывая места и местности одну за другой, я был не придирчив, а вдумчив. И, главное, чутко прислушивался к собственной душе — не шевельнется ли, не капнет ли, выражаясь фигурально, тайной слезой... Тут прервусь. От моего письма сиюсекундная реальность все еще ускользает, но теперь она мне ударила в уши отчаянным боем местных курантов. Здесь время не делится на секунды, минуты, часы. Иногда оно вдруг настигает тишайшим, вовсе нетребовательным перезвоном разбросанных по взгорьям древних колоколен. Но режим питания в нашем пансиончике соблюдается неукоснительно, тем четко организуя здешнее существование. Вот и сейчас повар-бельгиец (подчеркивал, что именно валлон, а не фламандец, — какие-то у них счеты) яростно колотит деревяшкой в медный таз, созывая постояльцев на ужин. Он истинный художник своего дела, виртуоз, лауреат и даже победитель кулинарных конкурсов. Но, в общем-то, я предпочел бы его гастрономическим изыскам, типа омара в собственных соплях, копченой мурены или язычков трясогузки, простую и здоровую пищу. Такое уж я неутонченное, совсем неаристократичное существо — и в мысли, и в жизненном обиходе всегда предпочитал простоту и естественность, я б даже сказал прямоту, чуждую кудреватых подробностей. К тому же виртуоз кулинарии предварял каждое блюдо стихотворным спичем — пространным верлибром, не скажу, что талантливым, — где сообщал ингредиенты и способ его приготовления. И не дай бог коснуться пищи, прежде

чем иссякнет его поэтическое вдохновение. Так вот сиди и жди, — а ведь горный воздух еще как возбуждает аппетит. Впрочем, в остальном наш кулинар — милейший человек: приветливый и общительный, лишь, так сказать, в сфере своего таланта капризный, подозрительный и придирчивый. Как, впрочем, любой талант, отчего я их общества всегда избегал.

Признать, с удовольствием откладываю блокнот, коль прожитый миг неуловим, рука с непривычки устала выводить буквы и к тому же пришло время суток, — так бывает где-то с четырех дня до восьми, — когда меня клонит в сон, а право мараить бумагу, как мы знаем, имеет лишь только бдящий.

Запись № 3

Утром искупался в ледяном водопадике, что меня зарядило жизненным вдохновением. Верней сказать, его подхлестнуло, поскольку тут я еще ни разу не почувствовал душевного упадка. И все-таки, постепенно обретая отнюдь не теоретически опыт физического ветшанья, не перестаю удивляться, до чего ж мы телесны. Не скажу, что я был когда-либо, даже в юности, энтузиастом жизни, скорей пытался быть ее сколь можно объективным наблюдателем, — причем, по расхожим понятиям, довольно бескорыстным, ибо моя корысть высшего свойства, — но с течением лет она для меня превратилась в совсем уж нудное, даже мне самому опостылевшее рассуждение, где

никак не сходятся концы с концами, в род томительного парадокса. (А прежде ведь моя мысль была исполнена чувством, была живой, ранящей и кровоточащей, — равнодушной мысли, по мне, так вообще грош цена. Может, и вообще с годами она одряхла, — прежде я был в мысли упорен, любую додумывал до конца, теперь же все чаще, недодуманная, она будто повисает в воздухе, без итога и вывода. Боюсь, что из этого дневника будут тянуться охвостья недодуманных мыслей.) Еще совсем недавно мною будто владела безнадежная осень мироздания. До тех пор пока не обрел цельную частицу вечности, где злоба дневи отнюдь не довлеет, прошлое не растревляет душу, а будущее не тревожит. В этой гористой местности время будто б и не стремится, а пребывает в вековечном покое. (Потому я и решил не датировать записи, притом указывая порядковый номер каждой, чтоб не перепутать последовательность. К тому ж неплохо отвлечься от настырного календаря, меня всегда призывавшего к делам.) Я б назвал это пространством смысловых соотношений, где, бывает, самое отдаленное куда различимей ближайшего. Оно мне видится как-то хитроумно, свежо зарифмованным, в полном смысле поэзией, — по преимуществу эпической, но иногда напоминающей простодушную песенку. Значит, отсеяв приманчивые, но для меня бесцельные фантомы Мировой паутины, я все ж угадал родину своего духа. Вчера услышал, как здешний пастух, гнавший по каменистой тропе истошно блеющее стадо, громко выкрикивал, озирая поросшие желтым кустарником взгорья: «Парадизо! Парадизо!» А ведь наверняка грубая крестьянская натура, да и местные красоты для него привычны.

Третьего дня, воображая себя чуть не альпинистом, я крутой тропинкой взобрался до соседней часовенки. Они тут скромны, простейшей конструкции, без мною презираемых излишеств; мало чем отличаются от сельских булыжных домиков. Надо сказать, что я с годами потерял прежде острое увлечение искусством, как и любой искусностью, которая мне видится нечистосердечной. Но в этом молельном домике был поражен истинной безыскусностью, лишенной ложного жизнеподобия и раздражающей актуальности, именно что детским простосердечием настенной росписи — трогательная мать, кукольный младенец, добродушно туповатые морды евангельских животных. Все это трепетно, однако в строгом каноне, не своевольно. Вот оно, воочию, хрустальное младенчество, заря нашего теперь потрепанного мира. Но прямо напротив этой рождественской сказки, стена в стену — вовсе иное творение: Страшный суд, изображенный тоже не слишком умело, но со злобным, мстительным вдохновением. Тут помесь какого-то злорадного садизма с самозабвенным обличительством ветхозаветных пророков. Свидетельство ли это о былых кризисах или грозное напоминание о будущем? Но даже и в этой капле горечи было нечто для меня пленительное. Без нее ведь счастье неполноценно.

Даже не знаю, чем меня привлекла рекламная страничка международного пансиона для неприкаянных художников (в рекламе говорилось «художников любого профиля»). Да, очень красивая, даже изысканная, местность — невысокие горы, чуть повыше грузных дождевых туч, поросшие лесом и отчаянной желтизны кустарником, горные террасы, ухоженные трудом хлебопашцев, но мало ли на свете красивых мест? Однако за этой гламурной

роскошью мне почуялась какая-то особая нота, чистый и верный звук — сущий манок для моей души, которая везде будто иностранка. Не обладая музыкальным слухом, в мелодии, бередящей иль, может, ласкающей, самый, по моим понятиям, что ни на есть корень мироздания, он, разумеется, не ложь и не скука, я всегда различаю какой-то несомненный для меня, хотя и отнюдь не акустический, что ли, звон. Впрочем, «звон» в данном случае пустое слово. Скорей речь идет о неких особых нотах, вне привычной гаммы, чтоб уловить которые, вовсе не нужен музыкальный слух, — не исключу, что здесь он даже помеха.

Художник ли я? В привычном смысле — да нет, конечно. Приятно думать, что я не овладел никаким искусством лишь опять-таки из-за лени, нехватки упорства и прилежания, необходимого, чтоб совладать с каким бы то ни было материалом, ему навязать собственную волю. Трудней признать, что у меня попросту нет никакого таланта, который оправдал бы мои некоторые, правда, не такие-то многочисленные жизненные чудачества. А без даже мелкого талантика кто я, собственно, такой? Пустопорожняя экзотика — по сути, никчемная, но весьма требовательная к жизни личность, неудачливый ловец вечно ускользающих смыслов. Но если речь о «любом профиле», то я, видимо, действительно художник: мои мечты и фантазии всегда ярко разукрашены, мысли, случается, даже афористичны, почти парадны, а вымышленные мною сюжеты, кажется, достойны великих романов. Однако попробуй все это выразить словом, красками, нотами, получается (разумеется, пробовал) нечто не то чтобы бездарное, неприглядное, но куцее, несовершенное, в каком-то изломанном чувстве и приблизительном выражении. (Кто знает, возможно,

я потенциальный мифотворец?) И все ж, учитывая, безусловную художественность моей натуры, я себя счел достойным горного парадиза с довольно скромной оплатой жилья и услуг. Без колебания заполнил краткую анкету, где себя и назвал «художником чувства и мысли», что вполне устроило хозяйку пансиона, тем более в туристическое межсезонье.

Милейшая, надо сказать, молодая женщина, с дипломом по слегка пугающей всех отпрысков тоталитаризма специальности — «администрирование искусством». Жуть какая! Однако в ее университете, видимо, учили весьма деликатному администрированию, которое заключалось в том, чтобы создать атмосферу, благоприятную для творчества «любого профиля». А что для этого нужно? По моим понятиям, ничего, кроме доброжелательства, неназойливости и минимальной организации быта. В этом хозяйке помогали повар и еще, думаю, горничная, но тихонькая, незаметная — кто-то ведь исполнял черную работу: мыл посуду, наводил порядок в комнатах, изредка менял постельное белье. (Еще там жили два одинаковых черных котенка по кличке Джотто и Чимабуэ.) Правда, одно условие отличало этот скромный пансион от обычного хостела: каждый творец был обязан рано или поздно обнародовать результаты своих трудов на ниве искусства, тем подтвердив звание художника. Но разве такая уж беда где-то раз в неделю из вежливости выслушать переведенные на корявый английский какие-нибудь там японские хокку на современный лад или уважительно покивать головой, разглядывая свежесозданную картину приезжей абстракционистки? Сам же я отговариваюсь тем, что пока не созрел в мысли и чувстве, — и это правда. Прежде-то я был весьма легок и на мысль,

и на чувство, эмоционален и подвержен умственным увлечениям, теперь они вызревают медленно, но уже не легковерны, а мне указуют путь. Надо сказать, что и этот блокнотик, и рекламную шариковую ручку с адресами, электронным и географическим, хостела я обнаружил на письменном столе в своей вполне уютной комнатке как безвозмездный дар и все-таки, наверно, неназойливое побуждение к творчеству.

Разноплеменное соседство меня вполне устраивает. Благо постояльцы вовсе ненавязчивы, поскольку, как и свойственно художникам, увлечены исключительно собой. При этом это не какие-то заносчивые, прославленные творцы, а почти самозванцы. Собственно, как догадываюсь, от меня отличающиеся только большей дерзостью и, возможно, менее взыскательным вкусом, по крайней мере, относительно собственного творчества. (Был издавна уверен, что графомания — не отсутствие таланта, а именно вкуса.) Поэтому понятие «неприкаянный художник», достойно не только меня, но и любого из здешних постояльцев: хмуроватой финской четы, напоминавшей обликом, одеждой, мимикой и вообще повадкой сильно потрепанных жизнью байкеров, избыточно вежливой японки средних лет, задумчивого, довольно бесцветного испанца (я-то воображал, что они сплошь тореадоры), польки с чуть унылым обликом, видимо женщины трудной судьбы, и бородатого араба с каким-то подозрительным, ускользающим взглядом

Симпатичная хозяйка мне сразу же объяснила «художественный профиль» каждого: финны — оба фотохудожники (они каждое утро отправлялись на велосипедах искать подходящую натуру), японка — поэтесса, испанец — сценарист мильных опер, полька — живописец, араб — специалист

по файер-шоу. Возможно, это политкорректное наименование терроризма, что, вероятно, тоже некий род искусства, но араб, пожалуй, самый тихий и неприметный из всех этих мало востребованных творцов: в разговоры вступает редко и неохотно, только вечно пощелкивает клавишами своего ноутбука да еще три раза в день совершает намаз на полянке перед домом, прямо под моим окном. Таковы немногочисленные в осеннюю межсезонную пору обитатели этого скромнейшего рая. На мой вкус, вполне пристойная публика. И главное, повторю, ненавязчивая, неспособная мне помешать созреть в мысли и чувстве. Правда, чуть смущала необходимость, встречаясь с моими сожителями по несколько раз на дню, изображать слишком уж радушную, очевидно неискреннюю, улыбку. Но это была все же минимальная, как я считал, временная, уступка мнимостям, борьбе с которыми я твердо решил посвятить остаток жизни. Общались мы на принятом международном языке, то есть пиджин-инглише, которым все владели одинаково бойко. Очень удобный язык — им, разумеется, не выразить всю глубину человеческой личности, он чужд метафизики, но вполне пригоден для поверхностного общения — обмена необходимой информацией и проявления, — как добавки к дежурной улыбке — столь же ни к чему не обязывающего доброжелательства. Подозреваю, что в подоплеке всех нынешних национальных языков таится этот самый пиджин-инглиш. По крайней мере, если это пока и не совсем так, то за ним будущее.

И одноэтажный домик мне сразу глянулся — вроде и неказистый, но, как говорится, экологичный, точно, нераздражающе, вписанный в горный ландшафт. Сразу ясно —

это бывший, хотя и основательно перестроенный коровник, что отнюдь не отрекающийся от своего плебейского происхождения. Наоборот, будто им еще и гордится, самодовольно подчеркивает рустическую преемственность быта. Ну пусть коровник, — даже символично, ибо где как не в загоне для домашней скотины исток Рождественской сказки? Тем более внутри он вполне комфортабельный, со всеми положенными удобствами нынешней цивилизации, но без их переизбытка: простая сельская мебель; разумеется, горячий душ и ватерклозет, на кухне, что одновременно столовая, помимо газовой плиты, микроволновки, тостера и посудомоечной машины — традиционный крестьянский очаг и все ж грубо, но прочно сложенные ясли...

А все-таки увлекательное дело выводить на бумаге букву за буквой, слово за словом. Это тебя приобщает будто к иной, чем твоя, судьбе, к неиссякающему мирозданию, где ты не пешка и не жертва, а которому отчасти хозяин. К чему ж сетовать, что выходит вовсе и не дневник, а скорей повесть моей жизни, где я одновременно герой и автор, которую рассказываю сам себе, как постороннему, выявляя сюжет моего существования, было потерявшийся в суматохе будней? Я так пристрастился к этому непривычному мне занятию, что и не заметил, как солнце уже присело на горный пик и теперь там торчит, как на колу отрубленная голова. Вот-вот услышу трубный призыв польской художницы на вечерние посиделки. Дело в том, что дама с трудной судьбой немного попивает, а я для нее тут единственный собутыльник: своего рода славянское братство. Остальные пьют цивилизованно (даже и финны) — бокальчик вина за обедом, не говоря уж об арабском пиротехнике, твердо придерживающемся шариата. Не скажу

что тягостная повинность, поскольку женщина нуждается не в собеседнике, а в слушателе, — если молчаливом, так и еще лучше. Чего ж плохого скоротать часок-другой на пристроенной к хлеву открытой террасе, там попивая местное кислотоватое, но довольно приятное, терпкое на вкус вино, притом думая о своем и машинально считая падучие звезды? Покой, благодать, непривычная мне беззаботность! Можно и не прислушиваться к полупонятному бормотанию соседки, в данном случае с непрошенной откровенностью избличавшей мужское скотство. (Что ли, намек? Недаром ее зовут Эвой. Но из меня-то сейчас, даже и в этом раю, никакой Адам. Я б скорей нашу хозяйку избрал Евой, но не решусь к собственной судьбе, которая сейчас колеблется, как шарик, зависший на ребре, еще приплести чужую, — это было б и негуманно, и неразумно.) Впрочем, к этим вечерним посиделкам я даже успел привыкнуть, будучи несомненно человеком привычки.

Запись № 4

Утром спустился с нашей горы в соседний городок, которому даже непонятно каким образом удалось сохранить почти целиком свое обшарпанное Средневековье, — да, по-моему, и жители в целом сберегли неторопливый традиционный уклад, несмотря на айфоны, айпады, спутниковое телевидение и тому подобные техногенные приметы нынешнего дня. Отрадно, что он пока не обрел туристического лоска, — путеводители о нем упоминают

вскользь и равнодушно. Да и что удивительного, коль ему подобными с виду городками буквально усыпаны все здешние пригорки? К тому же, в отличие от него, иные знали эпохи пускай даже скромного, но все-таки величья — некогда были резиденцией какого-нибудь местного князька или там вдруг вспыхнул хотя б ненадолго очажок своеобразного искусства или ремесла. А здесь даже отсутствовал городской музей, — видимо вовсе нечем было похвастаться. Но, может быть, дело в том, что его обитатели равнодушны к прошлому, которое у них привычно под рукой, как и не озабочены будущим, поскольку здесь время будто и не зверь, нам терзающий душу, а лениво и беззаботно. Замечу: местные жители столь все же далеки от современной цивилизации, что даже не освоили пиджин-инглиша. (Как я узнал, большинство из них так всю жизнь и обитают безвылазно в своем обобщенном Средневековье, не полюбив даже посетить столицу здешней провинции, город заслуженный, с международной репутацией, до которого всего минут двадцать езды на местной электричке.) Но я с ними вполне могу объясниться на ошметках институтской латыни, которые не зря, оказалось, приберегла моя рачительная память. (Пару лет проучился в медицинском, но резекция трупов для меня оказалась невыносимой, — всегда был брезглив к любой мертвечине.) Я вообще легко схватываю иностранные языки, но только их поверхность, а не глубины.

Не знаю почему, но я безошибочно чувствовал, что именно тут способна родиться иль, может быть, обновиться легенда. Окончательно разуверившись в расхожих, общепотребительных смыслах, я теперь уповал на легенду, — не то чтоб за ней охотился, подобно ученому-фольклористу,

но был уверен, что она сама меня настигнет, или, верней, я расслышу ее зов меж толков, сплетен, рекламы, политических лозунгов и всевозможных видов нынешней дезинформации. Только надо чутко прислушиваться, — иногда ведь (не всегда ли?), мы знаем, судьбу человечества решает тихое, притом необходимое, долгожданное слово, прозвучавшее чуть не шепотом где-нибудь в захолустье, на самой окраине цивилизации.

Да, подчас мне кажется — все легенды уже так давно сложены, что словно существуют от века, и любая новизна нынче будет ложной. Даже теперь объявись, встань во весь рост посреди измельчавшего мира, полновесный гений, действительный, как в былые века, титан мысли, духа и творчества, он лишь ввергнет нас в тягостную мороку очередных соблазнов. (Любую проповедь мы сами же и переедим.) Думаю, наш будто угасающий мир, загроможденный напрасными формами, может освежить только искреннее до конца чувство. Если и гений, то обладающий единственным даром — полного чистосердечия, который сумеет разбудить задремавшую легенду во всем ее величье. Причем не в слове — витийстве или даже пророчестве, а именно поступком. Каким именно? Если б я знал, сам давно растеряв природное чистосердечие, от которого сохранилось только чутье на фальшь и к ней полное отвращение. Это очень важное свойство, учитывая, что нынешний мир полон всякого рода фальшивок, подвохов и каверз. Вероятно, именно этот край избрала моя душа, поскольку, кроме дивной красоты, ощутила его сокровенную правдивость. Понимаю, что это звучит не слишком-то внятно. Говорят, дневник помогает дисциплинировать мысль, в чем с годами я все больше нуждаюсь. Надеюсь, так и будет, но пока

она остается столь же расхлябанной и своевольной, — все норовит сбиться на второстепенное, — какой сделалась в последние время. (Кстати или некстати вспомнил, как мой приятель физик с помощью не такого уж сложного эксперимента взвесил человеческую мысль. Оказалось, меньше какого-то вшивого миллимикрона, а ведь способна как извратить мир, так и его повернуть лицом к истине.) Однако чувствую, во мне постепенно крепнет очень важная догадка, которую лучше б не вспугнуть неосторожным, преждевременным словом...

Я здесь так часто выпадаю из современности, что даже перестал этому удивляться. Над сладкими взгорьями будто реют вековые образы; как в совершенной памяти, все оставляет след. Наверное, потому так плодотворны и неожиданны ракурсы. По крайней мере, мне они тут кажутся богаче и разнообразней, чем в других местах. Не знаю, возможно, это моя иллюзия, но, кажется, тут образ явлений и событий чуть не целиком зависит от настроя чувств и точки зрения: какую-нибудь гостиничку или таверну можно легко перепутать с феодальным замком, — правда, понятие замка в этих краях слишком растяжимое, большинство из них мало чем отличаются от хижины зажиточного крестьянина. А медлительные ветряки на холмах, сменившие прежние мельницы, принять за не слишком, правда, злых великанов. И внешний облик местных коренастых и толстозадых селянок вдруг для меня начинает мерцать первозданной прелестью церковных примитивов.

Я тут безо всякой горечи потерял (точней, оборвал) связь со своим прежним миром. (Не потому, что здесь от кого-то прячусь, как могут подумать мои друзья и коллеги, — и наверняка подумают. Ну да, немного подзапутался в делах

и слегка нарушил дистанцию с верховной властью, от которой надо бы держаться подальше. Но ведь выпутывался из куда больших неприятностей. Да и жизнь моя была, по сути, так ничтожна, что я не заимел настоящих врагов.) Когда-то я себя там считал не то чтоб заметной персоной, но, по крайней мере, не пустым местом, — тем более что имел некоторое отношение к нефтяным потокам, которые — кровь в склеротических жилах мировой экономики. Не скажу, что был мучим непомерной гордыней, себя мнил пупом земли, — всего-то претендовал на суверенный клочок жизненного пространства, который до поры твердо, даже умело отстаивал. Но потом его как-то упустил, в один ужасный день обнаружив, что за всю жизнь ничего не скопил на старость, кроме горстки привычек, — ни внятных понятий, ни твердых убеждений, ни решительно поставленных целей, ни беззаветной веры во что бы то ни было. (То, что я когда-то называл верой, скорей напоминало весьма робкую надежду.) Так что действительно, велика ли потеря? Притом странным образом, моя почти до конца упущенная жизнь не только не избавляла от обязанностей, но те умножались, делались все разнообразней, требовали тщательного попечения. Ценностей-то я не приобрел (кроме только материальных), но себя как-то обнаружил погребенным под огромной кучей мусора, вовсе ненужного хлама, если назвать таковым якобы дружеские связи (уж не говоря о связях, если можно выразиться, любовных, где любви ни на грош, даже и похоти, — одно тщеславие), давно лишенные теплоты, оттого постоянные юбилеи, чествования, похороны, поминки, к которым надо еще добавить презентации, научно-практические конференции, производственные совещания,

всю мою нудную работу, что мне давно уж обрыдла да и стала бесцельной, поскольку я был достаточно усерден и запаслив, чтоб, хоть и особо не шикаю, — а это уж точно не в моем обычае, — обеспечить себе хлеб насущный даже на мафусаилов век. Мне с раннего детства внушили, что эта, по сути, тупая колготня и есть настоящее дело, а дела истинно важнейшие — как, например, бескорыстное держанье мысли, воспитание чувств, наслаждение красотой — в моей слишком прагматичной среде было принято называть бездельем.

Если так, я тут предаюсь блаженному безделью, как школяр, наконец-то дождавшийся каникул. Издавна хотел научиться жить бесцельно и непрактично, — моя инертность рождала и необычайную цепкость, позволявшую преуспеть в достижении целей. Но по большому-то счету те оказывались миражом и фикцией, — так я и шагал по жизни чредою напрасных побед. А вот теперь делаю эти необязательные записи, посредством которых пока не удержал не то что дня, но даже и минуты. Видимо, для этого требуется особая литературная сноровка. А моя нетренированная рука, то несется по бумажному листу в каком-то ликующем упоенье, то вдруг запинается, теряет легкость. Но, может быть, тем и легковесность: кто знает, не попала ли в сети моего письма не какая-нибудь плотвичка, а наконец крупная рыба, для которой моя сеть пока еще хлипковата? Ну что ж, отсутствие мастерства вовсе не пагуба, чему свидетельство те самые фрески из горной часовни. Они и могут послужить доказательством, что мастерство, чисто техническая выучка вовсе тщетны.

Мастерство всегда сбивает на проторенные пути, лишая непредвзятости. А самому торить пути дано лишь

только настоящим, великим талантам (а много ли их, великих-то?). Я же вовсе не претендую на литературный талант (легко прощу себе и повторы, и стилистические несовершенства), поскольку таланты небольшого калибра только и умеют наслаивать беллетристику на беллетристику. Хорошо, что я не в курсе ни способов, ни методов, ни, если можно выразиться, догматики письма, — прежде, не исключено, это было проявлением коллективной самобытности, как отметил один умник былых времен, а нынче — скорей дурная привычка. Ну может, и в курсе, коль прочитал множество книг, поскольку застал ту эпоху, когда уважались эрудиция и начитанность, но моя рука, слава богу, не приработана к готовым формам. Древний канон, где явственна легенда, разумеется, нечто совсем иное, но попробуй теперь ему следовать, выйдет натужная стилизация. Вот и разгадываю жизнь как умею, по сути, шарю наугад в пустоте, теперь не пытаюсь, учитывая прежние творческие неудачи, запечатлеть свои парадные мысли, как и цветистые, разукрашенные видения, которые на бумаге вянут. Моим записям подобает спонтанность. Целенаправленность дневнику повредила бы. Но самое худшее, если б во мне вдруг родился писатель, в нашем вольном, никому ничем не обязанном бытии упорно высматривающий сюжеты, то есть норовящий всю жизнь омертвить литературой. Когда-то престиж ее был высок, теперь — ниже плинтуса. И неслучайно.

Я уже догадался, что надо не атаковать смысл, так сказать, в лоб, а его исподволь приманивать. Как я тут приманиваю птиц, почему-то здесь особо сладкоголосых, пытаюсь насвистывать как умею (в детстве умел хорошо, разбойным посвистом, которому научился у соседских

шпанят-голубятников), — странный для меня самого, какой-то экзотический вид безделья. У меня это, видимо, и сейчас выходит не так уж плохо — певуньи присаживаются на ближнее дерево и мгновенно стихают, слушают молча, будто я им читаю проповедь.

Запись № 5

Сегодня, проснувшись ранним утром, наблюдал солнечный восход над горами, что сам бы еще недавно счел занятием пошлым и бесцельным. Однако зрелище было не только дивное, но и символичное, богатое отсылками, ассоциациями и, так сказать, художественными реминисценциями. А ведь именно из тех частностей жизни, глядяваться в которые мне прежде было недосуг. Сейчас задумался: то, что мне ошибочно виделось орнаментом на краях существования, милым, но вовсе необязательным украшением, не именно ли его суть, верная символика истины? По крайней мере, если общий смысл где-то затерялся, необходимо приглядеться к деталям. А ведь до сих пор, признаю, что был мелко прагматичен не только в мысли, всегда устремленной к какому ни есть практическому результату, но и в чувстве, не падком на излишние сантименты. Сугубую конкретность мысли и практичность памяти я никогда не относил к своим недостаткам, даже, точнее, всегда считал достоинством. Честно говоря, и теперь так считаю. Только надеюсь, что, избавленные от частных целей и мелочных задач, они сами собой настроятся на высшую корысть,

которая для меня судьбоносна. Вдруг, так я подумал, да обнаружится и в моем прошлом какая-то ценнейшая залежь, погребенная под спудом каждодневных забот.

Было, ведь что-то было — какие-то наметки иных путей, от которых должны были остаться не до конца заглушенные тропы. И вот что именно сейчас, в этот самый миг, мне подбросила всегда услужливая память. Пусть и не всемирную ценность, но воспоминание сейчас для меня чрезвычайно важное, учитывая нынешнее состояние моего чувства — возможно, это и есть тот утерянный лейтмотив моей жизни, который теперь стараюсь уловить или, верней, расслышать. Еще пару дней назад я даже с какой-то отчаянной горделивостью едва ли не славил собственную неискусственность в письме и даже общую бездарность. А ведь была у меня в давней юности одна несомненная если не литературная, так интеллектуальная удача, притом напрямую связанная с моей нынешней тоской по глобальному чистосердечию. Выходит, что коль я и бездарь, так особого типа, все же способная на единственный прорыв вдохновения. Правда, кто знает, может быть, на подобный моему прорыв неожиданного творчества способны многие или даже любая человеческая особь? Действительно, хрен его знает — я ведь и сам стыдливо утаил этот будто и незаслуженный дар благодати.

А вдохновение было, не сомневаюсь, подлинным, как раз таким, как его представляет обыватель вроде меня. То есть как возбуждение всех чувств и почти физический раж — трясущиеся руки, вспотевшие ладони, наверняка безумный взгляд. Тогда я был юнцом дерзкой повадки и заносчивой мысли. Правда, в те годы редко какую мысль додумывал до самого конца, спешил ими поделиться, а потом

забывал, — да эти мыслишки и недорого стоили. И все ж одна из них вызрела и неожиданно сорвалась на бумагу, притом странным образом, минуя сознание. Очень даже странно: мысль, но будто вне мыслительного процесса. Грубо звучит, но, может быть, это был интеллектуальный выкидыш? Однако пару дней я был просто обуян творчеством. Рука сама собой очень лихо неслась по бумажному листу, казалось, вдохновленная неким демоном. А как иначе, коль я не сочинял, не подбирал слова, а они, мне легко сами подворачивающиеся под руку, были словно и не мои вовсе, а мне чужие, совсем непривычные? Они сплетались и для меня самого лишь в постепенно прояснявшийся смысл.

Теперь, разумеется, не припомню ни единой фразы, — все они как пришли неожиданными и незванными, так сразу и ушли, в памяти оставив быстро исчезнувший след. Однако суть этого трактатика — не трактатика, бог знает как его назвать, короче говоря, моего буйного интеллектуального, отчасти и художественного выплеска, — ниспровержение всех каких ни на есть одеяний, облачений, оболочек, покровов, проще говоря, любых форм. Причем делал я это с огромным, вообще-то несвойственным мне пафосом. До тех пор я даже не догадывался, что они мне так обрыдли. Даже гордился, что легко применяюсь к любым формам быта и бытия.

Но выходит, что где-то в глубине души, а возможно, и тела, видимо, уставшего от навязанных жестов, у меня давно зрел этот страстный бунт. Иначе как объяснить мой почти истерический пафос? И вряд ли демон-формоборец вдруг обуял случайно подвернувшуюся душу. Я сулил человечеству многие беды, даже окончательную гибель из-за его подверженности лукавству всегда обманчивых форм.

Грозно вещал, даже трудно сказать, к кому именно обращаясь, будто выкрикивал в ту самую благословенную, благородную пустоту, по крайней мере избавленную от всего ложного, на которую уповал и которую призывал. Была ли это какая-то мне и самому не до конца понятная анархическая диверсия против человеческой цивилизации как таковой? Даже и не ясно во имя чего, какой высшей ценности, коль учесть мое тогдашне безверие. И как я сам-то намеревался жить в этом оголенном мире? Однако, грозя человечеству гибелью, я все-таки не потерял до конца всегда мне свойственного оптимизма. Уповал, конечно, не на структуры и какие-либо институции, общественные или государственные, что суть — зловреднейшие из всех формообразований, а на особых личностей, не подверженных каким-либо условностям и недобросовестным конвенциям, которых называл «попыньями духа». Ссылаясь на прецеденты, напоминал, что именно им, вольным или невольным борцам с любого рода фарисейством, даже негромко возгласившим чистосердечную правду, удавалось будто обновить историю, вывести ее из очередного тупика.

В этом трактатике, или, скажем, моей интеллектуальной ереси, как и свойственно мыслителям-дилетантам, я ввел много спонтанной терминологии, но сейчас вспоминаются только эти «попыньи». Теперь с удовольствием перечитал бы свое незрелое, но целиком вдохновенное сочинение, в котором, как выяснилось, кое-что предугадал и в судьбе человечества, и уж наверняка в своей собственной. (Вот ведь теперь возвращаюсь к той упущенной развилке, куда упирается полузаглохшая тропа.) Но, увы, увы, будучи дилетантом мысли, я поступил со своим сочинением, что и началось не сначала и оборвалось

на последнем взлете, — попросту говоря, неожиданно взбурлившее вдохновение разом иссякло, — как мыслитель добросовестный, то есть подтверждающий слово делом (отчасти, думаю, тут сработала моя практичность: грош цена слову и мысли, если за ними не следует поступка). Сперва то попытался водить по бумаге уже невдохновенной рукой, которая теперь оставляла след какой-то совсем убогий: либо бездарное повторение этических проповедей, либо бесцельное — своих же собственных, даже артистично изложенных соображений. Но вскоре устыдился этого занятия, жалким потугам ловить за хвост отлетевшего демона. И даже более того, предал испещренные нервными каракулями странички огненной казни — сжег все с первой до последней, как действительно опасную ересь, а их пепел с наслаждением, но также и некоторой горечью, развеял по ветру.

Тогда мне казалось, что жертва не так уж велика — мол, обнародуй свое творенье, что б я приобрел кроме сомнительной репутации кухонного пророка, коими тогда кишели именно почему-то кухни моего родного города? (Видимо, как символ очага, у которого собирались наши давние предки обсудить новости архаичной политики, но также и проблемы бытийные.) Теперь же понимаю, что это была подлинная добросовестность, едва ли не единственный истинно возвышенный поступок в моей жизни. И не кому-либо в укор, и не в качестве мазохизма, и не как гордое отречение от случайной удачи, и не из скепсиса в отношении человечества, якобы недостойного моих столь глубоких прозрений. А дело в том, что я почуял странное, даже пугающее противоречие — этот бунт против каких ни есть оболочек, был сам облечен словами, способными оболгать всякую свежую

мысль. Мы-то ведь знаем, как прочна оболочка словес, нет ее прочнее. В результате, говоря тем же торжественным слогом, что написан мой столь вдохновенный труд, я утопил его во мне хотя бы чуть приоткрывшейся полынне духа. Но, честно говоря, тогда надеялся, что демон творчества меня посетит еще не раз, а может быть, и вовсе зачастит. Не случилось и вряд ли уже случится. Сейчас, когда пишу эти строки, увы, ни демон, ни ангел пока что не подхватил мою руку, которая будто шарит впотьмах, стараясь ухватить сокровенный смысл.

Правда, тогда был возможен поступок еще добросовестней — постараться бы сколупнуть с себя самого кору, как выяснилось, навязанного существования. Но это было б уже слишком — тут и страх перед жизнью, в котором я себе редко признавался, и ужас небытия да и просто стыд оголить свое младенчески нежное тельце, а верней — свою бьющуюся в бессловесной маете душу. Как раз был бы чистейший мазохизм! Обнародуй же я свой трактат, человечество вряд ли отозвалось бы на мой крик души и, уж разумеется, не образумилось. Да и где я, а где человечество? Ведь, как и все, лично соприкасаюсь с довольно-таки немногочисленным кружком, условно говоря, друзей, а также сослуживцев, партнеров по бизнесу, теннису, покеру и бриджу, соседей по дачному поселку, которые тоже ведь все вместе — оболочка моего существования и ему защита. (Нынче-то, по крайней мере, существуют всякие твиттеры и фейсбуки, где кто хочет волен пороть любую чушь. В те же глухие времена и писатели-фантасты не предчувствовали настолько уж беспардонной свободы слова.) Вряд ли б они оценили мою метафизику, — а те из них, кто был хоть немного способен к абстрактному

мышлению, могли это принять за бунт тайного честолюбца против справедливых субординаций. Боюсь, они б в результате исторгли из своей довольно теплой для меня, по крайней мере привычной среды такого, как выяснилось, невероятного умника, озабоченного столь им чуждыми, понапрасну тревожащими проблемами. А если б дошло до моего начальства, то оно решило б, что я свихнулся, — вот был бы и конец моей так успешно начатой карьере. Получается, практические соображения оказались в данном случае не менее важны, чем метафизические? Даже сам не знаю. Все-таки скорее нет, чем да. Мог ведь я и не совершать своего инквизиторского акта, а просто где-нибудь надежно припрятать небезопасную рукопись как заначку в случае жизненного банкротства. Но поступил именно так, как поступил. Теперь поздно жалеть. Да к тому ж в этой местности меня вообще перестали мучить любые сожаления, и тут я надеюсь восполнить свои утраты. Ее красота, допустим, тоже оболочка, но мне видится прозрачнейшей — ничего не скрывает, а, наоборот, свидетельствует и преподносит.

Запись № 6

Рано поутру меня разбудил своей молитвой наш магометанин. Выглянув в окно, я ему объяснил словами и выразительным жестом, что он мог бы найти другое место для утреннего намаза. Однако, погруженный в молитву, он меня и не слышал. Правду сказать, ему даже позавидовал:

вот ведь какая сила веры, сколь сосредоточенное чувство и наверняка актуальность присутствия Бога, который для него здесь и сейчас, а не сомнительная абстракция или тезис, требующий доказательств. Он с такой мощью и уверенностью призывал наивысшую силу, что, казалось, она прямо сейчас низойдет к нему, — целиком ли во благо или кому-то и на беду? Не это ли та самая польнья духа, куда может и весь мир кануть? (В том своем раннем опусе я оговаривал, что они также и опасны, ничем не защищенные от мира, — но тем самым и мир от них беззащитен.) А не сменить ли веру, как меня пару лет назад всерьез убеждал наш дворник, бывший преподаватель научного атеизма в одном из среднеазиатских вузов? Я тогда посмеялся, но, может, и напрасно. Вдруг нынешний бунтующий ислам и есть роковое, свежее веянье освобожденного духа? А может быть, напротив — его коварнейшее отчуждение. Впрочем, как гяур и не в теме, тут не буду судить категорически. Возможность такого рода польньи в свои ранние годы я и не предполагал — тогда были вовсе другие угрозы и надежды. И все же — нынешний мировой терроризм, не род ли бунта против с тех пор еще более ороговевших оболочек?

Кстати сказать, здешний-то басурман не склонен к проповеди. Он производит впечатление человека скромного и застенчивого. На мои попытки с ним обсудить метафизические вопросы, лишь смущенно улыбался и разводил руками, будто ссылаясь на непригодность пиджина для обсуждения столь возвышенных тем. И конечно, был прав. А последнее время я вообще видел его только по утрам. На целые дни он запирается в дощатом сарайчике, предупредив, что нам готовит сюрприз. Интересно, что за сюрприз, не окажется ли в самом прямом смысле громоподобным?

Сегодня утром во время завтрака, пока бельгийский кулинар возглашал свой затянувшийся спич, я неожиданно вспомнил очень краткий и вроде бы незначительный эпизод своей жизни, который в какой-то мере может объяснить мою вспышку неприязни ко всяческим оберткам и покровам или, по крайней мере, с нею как-то перекликается. (Судя по всему, моя теперь пущенная на волю память остается неизменно дружественной, пытается будто реконструировать мою истинную, не перевернутую судьбу, ориентируясь по, надеюсь, не до конца затерявшимся вехам, — но некоторые из них могут быть ложными.) Коротко говоря, мне вспомнилось, что много лет назад, еще студентом, я подрабатывал на небольшой фабричке, производящей тару и упаковку. Надо мной стоял какой-то мелкий начальник, который теперь мне видится энтузиастом всякого рода мнимостей. Он старался предостеречь меня, как неопита, против недооценки роли упаковки в современной коммерции (какая в ту пору была коммерция? смех один!) да и вообще экономике. До метафизических высот его мысль отнюдь не взмывала, — не припомню глобальных обобщений, — однако он меня страстно, особенно слегка подвыпив или с похмелья, убеждал, что не так важно качество товара, как именно упаковки. Выходило, что покупателю можно всучить любое дерьмо, если его достойно упаковать.

Может быть, за давностью лет я несколько заостряю его мысль, к тому же избавив от помямливания и матерщины, которую мой неказистый шеф употреблял через слово, но уверен, что в целом передаю верно. Притом он далеко заглядывал в будущее, поскольку в наших краях промышленный дизайн тогда находился в самом зачатке

и неказистые товарные упаковки будто выражали презрение и общества и власти к форме как таковой (в ту пору и ложь и правда, как мне видится, бездарно паковались). Признаю, что он оказался прозорлив, угадав будущий расцвет в самом широком смысле дизайна, — это знаменье нынешней эпохи, красиво пакующей пустоту.

Нам-то с детства внушалось, что все истинно ценное в человеке относится не к внешнему, а к внутреннему. Но это внутреннее с течением лет, прямо на моих глазах обесценивалось: ум, если он непрактичен, талант, если не на потребу, образованность (зачем, если есть гугл?). О благородстве и бескорыстии вообще смешно говорить. Но, кстати, почему-то обесценилась не только душевная, но даже и внешняя красота, если та не на продажу. В результате теперь весь, так сказать, цивилизованный мир, облечен благопристойной на вид мнимостью. И в данном случае угрожающие реальности (где она вообще? не потерялась ли навеки?) компьютерные виртуалы, которые так бранят уцелевшие идеалисты, скорее следствие, чем причина. Хорошо это или плохо, — по крайней мере, весьма практично, — но мне еще в юности удалось избавиться от последних крох принятого в интеллигентской среде гуманистического воспитания, что дало возможность стать человеком в достаточной мере успешным, хорошо ориентирующимся в современном мире, хотя я изменил упаковке с углеводородами, которые совсем уже абстрагировались, потеряв цвет и запах, то есть в известной мере тоже сделавшись мнимостью, и к тому же едва ли не самой навязчивой. Слово «нефть» теперь приводит на память не какие-нибудь там нефтяные вышки, а газ — не метанную вонь (проверено знакомым психологом), а то

и другое — судьбоносные для всего человечества биржевые котировки. В общем-то, в чисто житейском плане я сделал правильный выбор, хотя моя жизнь слишком уж зависела от этих самых котировок, то есть была не постоянно восходящей, а знавала и кризисы, и упадки. Правда, случались упадки духа, никак не мотивированные экономикой, — но это и естественно, все-таки я человек, а не машина.

Да нет, конечно, дурацкое воспоминание. Откуда прямо-таки ненависть? На этой фабрике я проработал не больше полугода, и о своем начальнике (любопытный парадокс — этот пророк упаковки и тары был сам упакован весьма небрежно: плохо выбритый, явно пьющий мужичок средних лет в жеваной рубашке, потертом москвошвейском костюмчике и мятом галстукe вовсе не от кутюр) не могу сказать дурного слова, — он был, может быть, излишне назидателен, но одновременно и снисходителен к моему юношескому легкомыслию и мелким порокам (не буду перечислять, но теперь о них даже приятно вспомнить). Но все же, все же... Не этот ли вроде бы незначительный эпизод неким образом меня подтолкнул к, выяснилось, судьбоносной теме?

Предав сожжению трактатик, я на долгие годы забыл о своем формоборческом порыве, в продолжение которых, наоборот, совершенствовался в социальном лицедействе. (Совсем даже неплохо упаковался, и моя маска приросла к лицу, так что ее теперь оборвешь только с кожей вместе.) Только вот недавно стал возвращаться к давно позабытым межам. Не потому ли, что хочешь не хочешь, но уже подступает старость, враждебная любого рода мнимостям? И вот что любопытно — меня, человека,

можно сказать, respectableного, умеренного и в полном смысле приличного, долгое время тянуло ко всякого рода маргиналам, личностям совершенно бесформенным и, как принято считать, никчемным: непризнанным нищим художникам, безвестным стихотворцам, доморощенным философам, себя, разумеется, считавшими гениями, даже и попросту к бомжам. Не подозревал ли я в каждом из них ту самую полынью духа? Может быть, меня к ним и влекла некая подспудная интуиция, но в результате — ни единой находки, так, мелочь. В лучшем случае мне попадались дилетантски философствующие оригиналы, что стараются вывернуть наизнанку общие места и привычные понятия.

Поначалу они мне казались собеседниками интересней, чем, так сказать, люди моего круга, от которых не услышишь ни единого живого, кем-то не отштампованного, от души произнесенного слова, но умственные выверты живописных маргиналов тоже быстро приедались. Тут и начинала раздражать их общая неряшливость — в слове, мысли, внешнем облике, жизненном обиходе и попросту физическая. От них будто всегда дурно пахло. И этот запах нищеты, — имеется в виду не чисто материальная, — было невозможно отбить никаким лосьоном или дезодорантом. Но, как правило, это были вовсе пустопорожние люди, своим существованием как раз доказывающие от противного благодетельность оболочек.

Собственно, не полынью, а прорехи (а в самом худшем случае — клоаки), из которых сквозит немытое тело и замаранная душа. Однако, давно разочаровавшись в этом

человеческом неформате, я испытывал к нему все же не презрение, а чуть брезгливую жалость. Какие уж там пророки? Просто слабые люди, которым не хватило характера и упорства примениться к миру, или это им не позволили слишком разнузданные страсти. Выходит, в результате мое о них мнение целиком совпало с самым обывательским? Отчасти совпало, но все же не целиком. Думаю, некоторые из этих маргиналов лучше нас чисто по-человечески, примирившихся (пусть иногда мучительно) с мировым несовершенством, но могут ли нас чем-либо одарить их расхристанные души? Разве что всех призвать к терпимости и милосердию.

Сейчас мне пора отложить блокнот, — увлекшись, я чуть не пропустил время ежедневной прогулки. Никак не отучусь от дурной привычки множить свои привычки. Не то чтобы сознательно, но всякий раз, когда попадаю в новое для себя, неосвоенное место, мое существование там очень быстро оформляется или, можно сказать, обрастает ей соответствующими ритуалами, нарушение которых рождает тревогу и какие-то лишние сомнения. (Все она — проклятая и благословенная приверженность формам!) Так и обязательная прогулка, так и дневник. Сперва я к нему относился легкомысленно, как к просто развлечению, но постепенно сообразил, что это занятие серьезное. Не потому, что вдруг проникся почтением к литературе, а поскольку осознал, что для меня это род епитимии. Теперь моей рукой водит не бес вдохновения, а все же, надеюсь, тихий ангел, который вознаграждает усердие: все явственней чувствую зов мне так необходимой легенды.

Запись № 7

Ну вот, возвращаюсь к своему блокнотику. Прогулка моя сорвалась, и это досадно, — она была отчасти ритуальной. Привычки глубоко въедаются в мою инертную, проще сказать, ленивую душу, всегда готовую предаться пассивному созерцанию, чего, к счастью или несчастью, до сих пор жизнь не позволяла. Впрочем, надеюсь, мое обретенье стоило прогулки (хотя пока не уверен, был ли это признак обретения или только лишь его призрак). Короче говоря, когда, намереваясь прогуляться, я вышел из дома на травянистый дворик — собственно, узкую площадку, нависшую над крутым косогором, — то обнаружил почти целиком в сборе здешнюю компанию за длинным тесовым столом, что было странно в такое неурочное время — между обедом и ужином. Правда, не хватало двоих — польской Эвы (подозреваю, что дама попивала и в одиночку, запершись в своей комнате) и набожного мусульманина, затаившегося в сарайчике, откуда не доносилось ни шороха. Обычно, встречаясь за столом, мы сразу начинали разноголосно общаться, как кто умеет. Это застольное общение здесь было родом обязанности, должно быть, как выражение межкультурного единства творцов и нераздельности творчества.

Но теперь вещала одна хозяйка нашего парадиза, обычно немногословная, остальные слушали с разнообразным выражением интереса: японка — с вежливым вниманием, финны — с хмуроватой сосредоточенностью, испанец — с искренней заинтересованностью, — даже что-то чиркал в таком же, как у меня, блокноте. Кулинар

прислушивался краем уха, усердно разминая в кованой ступке какую-то, вероятно, пряность. Согласно традициям пансиончика, было невежливым пройти мимо, ограничившись кивком. Изобразив на лице почти искреннюю улыбку (здесь это считалось обязательным, тогда как в наших краях беспричинная улыбка вызывала подозрение, что затаил какую-то подлость), я подсел к общему столу, намереваясь через пару минут приветливо откланяться. Однако просидел до самого ужина, пожертвовав ритуальной прогулкой.

Девушка рассказывала здешние преданья. Тут уж я слышал не смутный зов, а громогласный призыв легенды. В жизни, честно говоря, я совершал немало просчетов, а достигал успеха, когда следовал внутреннему наитию, — надеюсь, оно меня и теперь не обмануло. Впрочем, в основном всё это были бродячие сюжеты, что уже обсосаны и этнологами, и психоаналитиками, — слегка окрашенные местным колоритом варианты сказок о Золушке, Красной Шапочке, Мальчике-с-пальчик, Белоснежке и прекрасном принце, злой колдунье, капризной принцессе, неудачливом людоеде и, наоборот, удачливом младшем брате, хитростью заполучившем первородство и т. д. Понятен к ним интерес испанца, учитывая архетипичность массовых фильмов, однако подумалось, что он вряд ли возьмет на карандаш какой-нибудь особо лакомый сюжет: их по всему миру дюжины не наберется и все, конечно, давно растиражированы Голливудом. Не исключено, что именно сценарист подбил хозяйку на роль сказительницы, а может быть, она считала своим долгом знакомить заезжих иностранцев со здешним народным творчеством.

И вот в этих незамысловатых преданиях стал все чаще мелькать персонаж, чье имя или, скорее, прозвище Французик, наша сказительница произносила с особой теплотой, а повар, стоило ему прозвучать, всякий раз откладывал пестик и одобрительно кивал. Правда, в мировом фольклоре и это был вполне распространенный мотив — сказания об умном дурачке, все делавшем навыворот, но, как выяснялось, согласно высшей мудрости. То есть вечно посрамлял расхожее здравомыслие. Мотив-то известный, однако, наитие мне тут же подсказало, намекнуло, по крайней мере: вот она, долгожданная легенда. Само прозвание его отличало от обобщенно-безличных персонажей любого фольклора. При чем тут Франция, до которой тысячи лье?

Понятное дело, что иноземцу и подобает жить шиворот-навыворот, но вряд ли какой народ признаёт чужака учителем мудрости (если он и присваивал иноземного героя, уж, разумеется, никак не подчеркивал его иноземность; наоборот, тем более щедро наделял своими национальными чертами). А главное, в этом образе чувствовалась, что ли, некая жизненная конкретность. Предания о Французике были и живописней, и подробней, чем другие, явно выбиваясь из обычных для фольклора повествовательных схем. По эмоциональной живости рассказчицы даже могло показаться, что речь идет о каком-то ее чудачковатом соседе. Будто она пересказывает свежие городские сплетни. Впрочем, конкретность была какой угодно, только не исторической, поскольку тут будто намертво спаялось прошлое с будущим, тем сделавшись таким настоящим, которое не ускользает, не стремится и не ранит, — будто синхронный мир какой-нибудь древней иконы.

Кажется, уже я писал, что и дальше и ближе здесь равно под рукой, — если нет, так сейчас пишу. А вот какая история мне лучше других запомнилась, — попробую ее передать своими словами, хотя из меня никакой сказитель: слог вовсе не эпический, чуть даже нервный. Короче говоря, расскажу, как получится.

Отец Французика, вполне успешный коммерсант, торговавший текстилем (я не специалист, но, по-моему, слишком конкретная деталь, чуждая обычной сказке), однажды ему доверил крупную сумму для экспортных закупок, а сынок ее тайком пожертвовал местному священнику на реставрацию полуразрушенной часовни. (Финн неодобрительно хмыкнул.) Папаша, человек грубый и жестокий, как с горечью отметила сказительница, понятное дело, взбеленился, надавал сыну оплеух и посадил в подпол на хлеб и воду. (Архаичная форма воспитания, но, возможно, тут сохранившаяся по сю пору.) Где-то через неделю-другую похудевший Французик все-таки вырвался из заточения с помощью своей матери, в противоположность отцу, женщины доброй и благочестивой (мотив, скорее, не фольклорный, а психоаналитический).

Короче говоря, вышел скандал всегородского масштаба. Был вынужден вмешаться епископ, поскольку эта семейная драма ставила вопросы не только юридические или этические, но отчасти и догматические, — к тому же церковные власти в этих краях спокон века были намного авторитетней муниципальных. Он вызвал обоих, отца и сына, на публичный суд. Там, думаю, собрались едва ли не все жители мелкого городка, которому не хватало событий и зрелищ. Разумеется, образовались две команды

болельщиков. При всей исторической неопределенности всегда и везде существует конфликт поколений. Старшее поддержало отца, а молодежь, уверен, сочла поступок Французика, как нынче говорят, прикольным, учитывая, что до поры он был чуть не лидером банды мажоров, умеренно куролесивших в городке, спасаясь от провинциальной скуки. Правда, те в последнее время его сторонились, когда прошел слух, что он, посетив столицу, в одной из тамошних клиник расцеловался то ли с прокаженным, то ль с ВИЧ-инфицированным. Наверняка подумали: если тоже прикол, то слишком рискованный.

На публичном суде отец выступил первым, заклеив злонравие сына и более всего его непочтительность к старшим, заодно припомнив беспутства в компании местной шпаны, — прежде-то гордился, что Французик верховодит сынками здешних синьоров. А под конец обвинил в попросту воровстве семейных средств, пускай и пошедших на благотворительность, то есть, по сути, в уголовном преступлении. Дружки Французика с нетерпением ждали ответной речи, зная, что у того язык совсем неплохо подвешен. Но ответ был не словом, а поступком, жестом воистину эпохальным. Юнец, не говоря ни слова, разделся догола и швырнул одежду чуть не в лицо (все-таки, наверно, под ноги) растерявшемуся отцу: мол, заberi все свое, ты мне теперь не отец, я тебе не сын, отныне буду жить не твоей указкой, не фарисейской моралью, а высшими ценностями. Разумеется, общий шок. Можно себе представить: городок глубоко провинциальный, вдалеке от мегаполисов с их наглой распущенностью, — не думаю, чтобы здесь когда-нибудь водились хиппи, — и вдруг такое неприличие. Если бы жителям

просто показали голую задницу, как это постоянно делал городской дурачок, так еще б ничего. Но тут — нравственная подоплека, вызов не только и не столько отцу, как общественному лицемерию.

Теперь слово было за епископом, мудрым старцем, благочестивым, однако без фарисейства, глубоко чтимым по всей округе. Многие думали, что Французику несдобровать, поскольку его поведение было не только безнравственным, но и граничило с ересью, — чересчур экзальтированное религиозное чувство тут почиталось большим грехом, чем даже безверие. Неожиданно епископ взял сторону сына. Прикрыв плащом его отнюдь не бесстыдную, а символическую наготу, он возгласил, что позволяет Французику жить не по законам общества, а согласно внутреннему чувству. (Не помню, как точно сформулировал, но общий смысл именно такой.) Однако украденные сыном деньги повелел вернуть посрамленному отцу до последнего грошика. Народ, конечно, приветствовал это соломоново решение, но расходился по домам наверняка смущенный: слишком глубокий нравственный урок преподали мудрый епископ и сопляк Французик этим благопристойным людям, соблюдавшим все свои гражданские обязанности, а также церковные установления, что и привыкли считать добродетелью. От сопляка-то можно было и отмахнуться, но получилось, что его, так сказать, антиобщественный порыв поддержан авторитетом церкви. Будто бы и к ним теперь предъявлялись какие-то новые, еще не совсем понятные требования. Даже, наверно, совсем непонятные, ставящие под сомнение их, как они до тех пор полагали, безгрешное существование.

Запись № 8

Перечитал вчерашнюю запись. Как скучно и назидательно, что от смущенья прикрыто здесь не очень-то уместной иронией, — к тому же я вольно или невольно осовременил это вневременное предание. А ведь в устах девушки история казалась возвышенной и светлой, как мотет Палестрины, наивно благочестивой, как фрески в той горной часовенке, о которой помянул. Именно этот легкий, радостный дух и есть главное в ею рассказанной притче, притом что она и назидательна, и драматична. Но рука моя тяжела, чтобы верно передать ее, а главное — отсутствует необходимое для этого чувство. Возможно, стоило, как наш прилежный испанец, сразу со слов хозяйки ее занести в блокнот. Нет, не помогло бы: тут важны интонации, сама тональность повествования, благоговейность рассказчицы и, конечно, окружающая среда — не горделивое, а проникновенное величие постепенно смеркавшегося горного пейзажа. Все это скорее передашь не словом, а музыкальной партитурой, но, увы, нотной грамоте не обучен. Удрученный, пристыженный, я вырвал поруганные листки из блокнота, собираясь с ними поступить, как много лет назад со своим умным трактатиком. Однако теперь я уже не столь щедр и беспечен, коль горизонт мой не так далек, как мне казалось в ту пору, и от судьбы вовсе не жду постоянных благодеяний. Подумал: пускай передал эту легенду неточно, приблизительно, но все ж откликнулся на нее как умею. Выходит, что теперь сам, каков я сейчас, запечатлен на фоне легенды. К тому ж меня бы мучила дурная ассоциация, ведь сам Французик чудом избежал костра, — помудрев с годами,

я понял, что жечь неважно как исписанную бумагу сродни человеческому жертвоприношению.

Короче говоря, я помиловал свои каракули, вклеив эти листки обратно в блокнот. Но, разумеется, пока не решусь предать (действительно вышел бы род предательства) бумаге другие легенды о Французике, — девушка нам их рассказала несколько. О том, например, как он проповедовал птицам (то-то я и заметил, что здесь они чутки к слову), о том, как приручил волка-людоеда, к нему обратившись «брат волк». После рассказа о спасенных им горлинках, выкупленных у юноши, который их нес продавать кабатчику (я обратил внимание, что соседний ресторан предлагал желающим голубиный паштет), мрачноватая финка, кажется, всерьез, спросила, не возглавлял ли он местное отделение Гринписа? Хозяйка не сочла вопрос нелепым или бестактным, судя по тому, что вместо ответа беспечно захихикала. Честно говоря, все эти шванки я не очень-то хорошо запомнил, от них у меня осталось почти только чувство их первозданной свежести. Стыжусь столь пошлого оборота, но где, когда и от кого мне было почерпнуть слова для выражения такого чувства?

Действительно ли я поймал за хвостик именно тот миф, что предощущал? (Тогда тянуть за него надо поосторожней, вдруг да его отбросит, как ящерица.) Не мираж ли в моей алчной до форм пустыне? Не просто ли этот Французик один из юродивых, которых довольно и в наших краях, где к ним всегда относились с брезгливой, а иногда боязливой почтительностью? Или даже некто из породы тех самых бомжеватых маргиналов, к кому в давние годы я испытывал вряд ли ими заслуженный интерес? У нас-то неформатом не удивить, а в этом сонном, выпавшем из времени городке,

где не о ком и не о чем больше посудачить, не оказался ли он единственной приметной, живописной личностью, достойной городского фольклора? Не думаю, слишком уж явственно исходит от преданий о Французике благоуханный аромат невиданных цветов, которых не отыскать ни в полях, ни в садах, ни в оранжерее.

Уже говорил, что меня сперва поманило его прозвище. Сразу, конечно, вспомнил школярскую кличку одного гениального паренька, тоже по молодости ёрника и шалопая, кто, можно сказать, учредил современность, которая теперь, увы, на ладан дышит. (Конечно, имею в виду наш край, с ему аутентичной, очень даже своеобразной современностью.) Тот был Француз — и этот Французик. Случайное ли совпадение? Может быть, в обоих случаях Франция, не географическая, а символическая, — как сердцевина или даже сердце Европы? Притом что именно оттуда чуть не полтысячелетия разносились по европейской периферии свежие, а иногда в полном смысле революционные веянья. То есть «француз», с одной стороны, чужак (бывало, и карикатура), но приобщенный к, так сказать, самоновейшим культурным, интеллектуальным и всем прочим тенденциям. Личность странная, притча во языцех, однако не только в силу какой-либо нехватки (в чем-то, возможно, и нехватка, но где-то и переизбыток). То есть это прозвище все-таки скорей почетное: не без иронии, конечно, но вместе с тем и уважительное. В иную пору могли прозвать Немцем. Откуда ж взяться пророку в своем отечестве?

Почему герой местного фольклора именовался Французиком, заинтересовало не только меня, но и других слушателей. Даже японку, вряд ли б отличившую француза от, к примеру, англичанина или даже русского. «Кажется,

его мать была француженкой», — неуверенно объяснила девушка. «Потому что любил нашу поэзию, даже сочинял французские стихи», — ей возразил повар, который, как мне признался, французов терпеть не может, однако высоко ценит их словесность, ее считая и своей также. (Не зря нам втолковывал: «Я валлон, а не фламандец», для него это было важно.) Испанец, видимо, получивший гуманитарное образование, решил уточнить, какую именно поэзию предпочитал (или сказал «предпочитает»? тут ведь целиком временная неопределенность) Французик: Жана де Мёна, Ронсара, Верлена или, возможно, дадаистов? Вдруг кулинар заговорил по-французски. Причем громко, ритмично, нараспев, ясно было, что он декламирует стихи. Я не понимал ни слова, думаю, другие тоже, но картина грандиозная: на фоне заката, он выпевал строфы вдохновенно, как шаман, жестикулировал, гримасничал, его голос то взмывал, то нисходил до шепота, и гортанные звуки раскатывались по ущельям. А потом — всё, звук оборвался на самой наивысшей ноте. И — громогласная пауза.

«Его стихи?» — спросил дотошный испанец. Повар слегка мотнул головой. «Твои?» — удивленно предположил сценарист. Тот мотнул головой более решительно, попытался что-то объяснить, но заплутал в своем пиджине (не исключая, намеренно) и, тревожно глянув на часы, поспешил в сторону кухни. Надо ж, так увлекся поэзией, что впервые опоздал с ужином. (Сказительница исчезла раньше, как-то незаметно, словно развеялась в наступивших сумерках. Пошла хлопотать по хозяйству или просто отдохнуть от непривычно для нее долгого словоговора.)

«Брассенс!» — категорично заявил финн, вероятно, назвав единственного французского поэта, которого знал.

«Дорийский лад, — возразил сценарист. — Какой-нибудь провансальский трубадур». Оказалось, ученый парень, — а ваяет попсу, видимо, не от хорошей жизни. Японка вежливо покивала и тому и другому, будто с обоими соглашаясь. А у меня и предположений не было. Откуда? Я человек малообразованный, хорошо разбирающийся только в углеводородах. Правда, там и сям поднахватанный, учитывая культ информированности, некогда процветавший в наших краях. Впрочем, поэт-кулинар прервал едва завязавшиеся дебаты: со всей силы грохнул в медный таз. За ужином мы друг другу деликатно улыбались, как тут было принято, и вели пустые разговоры, единственная цель которых — разнообразно выразить дружелюбие. За столом часто рассказывали анекдоты, по мне, так вовсе не смешные, в нашем ведь государстве особая система юмора, почти всегда с политическим намеком. Но я над ними любезно хохотал не хуже других. Японка не ржала вовсю, как финны или испанец, но очень добросовестно подхихикивала, уж наверняка не понимая европейского юмора. Любопытно, что повар в этот раз всех избавил от своих кулинарных спичей.

Запись № 9

Сажу у распахнутого окна, испытывая долгожданное счастье, именно такое, каким его всегда представлял, — чистопородное, без даже малой крупницы горечи, а главное, беспричинное и не в заслугу, а как благодать. А я-то уж

был уверен, что еще в детские годы вычерпал до конца мне отпущенный лимит легкокрылого счастья. С тех пор не так редко переживал радость, восторг, наслаждение, чувство победы, за которыми стояли труд, свершение, достижение, борьба, завоевание, захват, оттого иногда чьи-то слезы. Где уж тут легкость, — всё тяжеловесные, почти яростные чувства. Не сам ли я от себя отгонял птичку счастья? Ведь привык, что в нынешнем мире все баш на баш, — это я называл справедливостью. Поэтому к радости от неожиданной удачи неизменно примешивалась горечь. Как-то не верилось в щедрое бескорыстие судьбы: коль сейчас дала, то вскоре наверняка что-нибудь да заберет. Поэтому всякий раз от нее откупался мелкой благотворительностью, даже возглавлял одно время какой-то негосударственный фонд. (Но все-таки никогда не разделял доходящую до смешного веру многих моих коллег в коррупцию как вселенский принцип. Когда одного упрекнул в недопустимой даже и для нашей жуликоватой среды беспардонности, он сослался на дружбу с церковным иерархом: у него там наверху — воздел палец в небо — все схвачено. Впрочем, так ли смешна эта коррупционная мистика? Я, помню, даже не улыбнулся.) А сейчас близок к мысли (верней, к чувству), что можно как раз исчерпать удачу, а благодать-то неисчерпаема. От нее нет нужды откупаться. Да и откупиться нечем.

Да, мое счастье беспричинно, то есть не по заслугам. Однако ж для него есть повод — вот этот мне открывающийся вид. «Вид», конечно, здесь неподходящее слово. Это же не просто упоительная картинка, не пустая видимость, не отстраненная, чужая мне красота. Я потому избрал эту местность, что ее красоту ощутил, не просто, как

человечную, но как именно личностную, ко мне обращенную, лично взывающую. Оттого себя ощущаю не человеком из подполья, понапрасну — ибо ни для кого — изливающим яд или пусть даже елей на бумажные страницы, а личностью высокогорья. Все тут овеяно благодатным и радостным духом, к которому довольно подходит легкомысленная кличка Французик. «Овеяно», опять то ли слово? Он, пожалуй, не овеивает, а будто исходит из ее глубины, самой сердцевины. Да, так вернее, но стоило мне коснуться деликатного, тонкого чувства, как я уже сомневаюсь в словах. То ли не приучен к лексике тонких чувств, которая мне прежде была без надобности — в моей-то среде! — то ли именно их чересчур обременяет словесная оболочка (мой давний трактатик!). К тому же на меня самого в этих случаях нападает стыдливость, — какой-то начинается приступ душевного целомудрия, тогда как похабщины не стыжусь. Довольно-таки странный, какой-то извращенный вид целомудрия, впрочем свойственный очень многим.

Перекликаются окрестные колокола, едва слышно, скорей не звуком, а намеком. Догадываюсь, это и есть подлинная музыка, будто едва касающаяся души. При моей тугоухости, в грохоте будней мне ее не удавалось слышать. Как уже говорил, музыкального слуха я совсем лишен, но притом нельзя сказать, что бесчувствен к музыке. Был даже весьма чувствителен, помимо звуков умея ощутить ее основу, самый корень. Если говорить о музыке в прямом, узком смысле, меня всегда отталкивали истерические, синкопированные, рваные ритмы, — даже в отрочестве не увлекался ни джазом, ни битом, ни роком. Но мне чужды и безумные мистерии, может быть, воистину

гениальных композиторов прошлого века, — от них у меня лишь головная боль и пасмурное настроение. Конечно, там звучит современность, которая к нам прицепилась уж больше столетия назад и все никак не отвяжется. Но мне-то она зачем, будто стелющаяся по земле музыка наших будней? Ну и уж совсем ни к чему многозначительные треньканья и электронные завыванья нынешних музыкальных эстетов. Говорю ж, я простая натура, привычная к здоровой пище.

Сперва меня к музыке влекла ее неотмирность, в юности предпочитал барокко, когда даже мелодия какого-нибудь простонародного танца звучала возвышенно и проникновенно, будто хорал. А как иначе, коль даже самое мелкотравчатое существование тогда было в виду небес и пред ними? Но когда огрубел с годами, меня стала раздражать и ее слащавость, и некоторая назойливость гармоний. Начало казаться, что слишком отработанная техника легко подбрасывает мелодию ввысь, но не позволяет ее создателю, будь он даже гений, вырваться вперед себя, сложить новую молитву. Таково примерно было мое чувство дилетанта, не владеющего ни одним инструментом да и, ко всему, лишенного музыкального слуха. Теперь понимаю, что в любом случае был несправедлив, — это ведь иная, чем наша, современность, увы, до конца исчерпанная. Но в ее музыке ведь действительно не хватало трагизма, для нас она теперь звучит ложно утешительной сказкой.

Сам не знаю почему, но с каких-то пор я вдруг взалкал трагизма. Постепенно закапываясь в быт, низводя свою жизнь до — сейчас понимаю — довольно пакостной мелочи, сознал необходимость ощущать за моими сгустившимися буднями грандиозный простор, бурлящий немислимыми

угрозами и безбрежным милосердием. Может быть, так противилась угнетению моя ущемленная душа, а может, в ней стремилось найти почву зарождавшееся во мне вроде и беспредметное отчаянье. Я в музыке полюбил полнуюзвучную грандиозность, мощь патетических сонат и героических симфоний, которые уже не молитва, а будто грозный ответ небес. Ту музыку, где чувствовал категорическую финальность. Оторвавшись от всех жизненных положений, вырвавшись из бытовых пространств, будь то салон, корчма, театр, торжественная зала, в конечном счете и храм — место возвышеннейших, но притом и ставших обыденными, приевшихся ритуалов, она ставила бытийный вопрос во всей его неотвратимой, роковой конкретности. (Если, конечно, к ней относиться не как к светскому досугу, приятному развлечению, почти физическому удовольствию, вроде почесыванья пяток иль щекотанья за ухом, а на полном серьезе. Именно как прежде относился я, — в отличие от наделенных музыкальным слухом меломанов.) Она ведь стала много больше всей жизни любого из нас, которой, — в мирное, разумеется, время, — не наскрести не то что на симфонию, но и на фортепьянную сонату, даже и на бурлеску, а часто она вовсе бренчит на двух-трех нотах, как дорвавшийся до инструмента необученный малолеток. Тогда, откуда ж она взялась, эта полнозвучная, полновластная музыка великих страстей и великих пороков, кем и зачем нам дарована? Как жить-то нам с нею рядом своей клопиной жизнью? По сути, это музыка войны, результат (да, наверно, и подспудная цель) которой не победа, а самоуничтожение; свидетельство неизбежности будущих катастроф, предвестье садомазохического безумия ее сотворивших народов.

Оторванная от всех жизненных положений, да, но не от положения в гроб, той трагедии, которая заранее гарантирована даже и самому из нас наимельчайшему.

Собственно, сейчас я перебрал наскоро свои прежние мысли, давно ушедшие чувства, — тех времен, когда еще только формировалась моя броня, сберегавшая в том числе и от напрасных эмоций. Она стала защитой и от музыки, будь то проникновенно-возвышенной или возвышенно-трагической. Когда я стал полным броненосцем, и от той, и от другой, и от любой у меня возникало только досадливое раздражение, да к тому же — резь в глазах. Видимо, мой уже натренированный, успешно адаптированный к жизни организм так старался унять сентиментальную слезу. Но теперь мне проникала в самую душу едва слышная колокольная переключка, музыка не смерти, а жизни, будто нетварная, без оболочки гармоний.

«Французик, Французик», — будто мне тихо внушали колокола, — да я и сам теперь постоянно твердил про себя это имя. Логично (лучше сказать, «естественно») было бы о нем побольше узнать от хозяйки. Я ведь уже несколько не сомневаюсь, что это личность вполне реальная, а не просто фольклорное обобщение, так сказать, продукт коллективного бессознательного или же всеобщее упование, — хотя бы выяснить, жил ли Французик в какие-то лохматые века или же не так давно, еще на памяти ее родителей или, по крайней мере, дедов; а может, и сейчас жив-здоров, чудит себе помаленьку, озадачивая, а больше развлекая жителей мелкого городка, где, как выяснил, даже нет своей футбольной команды. Но я почему-то не решался. Да понятно почему: стоило ли грубо касаться этого зыбкого, очень уж

деликатного предания (мое личное чувство)? Вдруг ведь развеется как дым, подобно тому, как для меня развеялись все манящие иллюзии. Или же, наоборот, обремененное подробностями, бытовыми деталями, огрузнеет, потеряв свою тайну, даже и вовсе потеряет легендарность. Пускай же оно до поры, вылущенное из времен, мне маячит на самой отдаленной кромке реальности. К тому же, я говорил, — кажется, и не раз, — что тут будто слились в однородную массу все времена, проникли, проросли одно в другое, поэтому бесполезно добиваться от хозяйки исторической определенности. Как-то я убедился, что девушка путает Борджиа с Муссолини.

Это «Французик, Французик» я бормотал, как привязавшийся мотив (так манил к себе легенду или это для меня гимн счастья?). Даже подчас довольно громко. Обитатели пансиона на мою незамысловатую песенку откликнулись различно. Испанец и финская чета ее пропускали мимо ушей, будто уже и думать забыли о Французике; незнакомая с легендой полька игриво поглядывала, возможно, решив, что я напеваю какую-нибудь классическую оперетку; повар машинально подпевал, но не словом, а ритмом; хозяйка же радостно улыбалась и отчего-то заговорщицки подмигивала.

Смолкли горные колокола, и мое счастье теперь сходит на нет. Я не сетую, ибо недостойн такого дара, чтобы его хватило до конца жизни. Его и не призываю — тогда б мне оказалось ни к чему самое для меня теперь ценное: укоры совести, смутные догадки, поздние прозрения, стремление понять и познать прежде непонятое и непознанное. Так закончился мой впервые целиком счастливый день за лет сорок существования.

Сегодня мои сожители делились, как тут, уже поминал, принято, так сказать, плодами своего вдохновенья. Испанец нам пересказал очередную серию мьельной оперы, которую сочиняет уже лет пять, не меньше. Можно с ума сойти! Как только не путается в невероятном изобилие персонажей и сюжетных линий? Тут необходимы особо тренированные мозги (отчасти демиургические, не теряющие ни одной ниточки из перепутавшихся коллизий) и совершенно исключительная занудостойкость, которой лично я всегда завидовал, поскольку не обладаю. Поэтому и отверг политическую карьеру. Было дело, предлагали мне как-то уютное местечко в парламенте, не помню уж, в какой из палат, разумеется, от партии власти. Но какой из меня политик? Дело даже не в том, что, воспитанный в духе свободомыслия, любую политику привык считать стопроцентной мерзотностью. Всё ж атрибуты власти — кого не манят? Однако на то, чтобы годами талдычить одну и ту же пропись да еще часами, днями, неделями тупо слушать бездарные словопрения, моего честолюбия не хватило... Как-то я в дневнике сбиваюсь на случайные ассоциации, будто мечусь из стороны в сторону, что признак блужданья мысли. С телесериала вдруг перескочил на политику. В этих краях политики уж точно нет, — лишь целиком аполитичная вневременная, или, чтоб избежать тавтологии, внеисторическая, современность.

Странно, что испанский интеллектуал к этим сценарным поделкам, как я заметил, относится на полном серьезе, действительно их считая полноценным творчеством.

Вот что значит другая культура, наш бы писатель исстрадался б, изнылся, что взамен вольного сочинительства занимается такой чепухой, — а ему хоть бы хны. Такие подделки, видимо, его недурно подкармливают, а это нынче весомый аргумент «за». Судя по обнаженным страстям и, я б сказал, инфантильности сюжета, который к тому же вилял каким-то свирепым, размашистым зигзагом, он работает не на Испанию, а на какую-то из латиноамериканских стран. Впрочем, я не спец по телесериалам, ни одного не вытерпел до конца. Может, вкусы домохозяек везде одинаковы.

Затем финны продемонстрировали очередную серию фотографий. Думаю, они оба неплохие профессионалы. Здешние взгоря на их фотках смотрятся очень даже красиво, как раз для путеводителей. Но душа-то потеряна, — как ни взглядывайся, как ни вчувствуйся, не разглядишь и не почувешь там гения здешних мест, которого я уже привычно называл Французиком. Потом японка ознакомилась со своими новоиспеченными хокку, которые из нее льются рекой. Не знаю, как в оригинале, но на нашем условном английском они звучат банально. Типа «Полетел хард-диск / В углу шуршит таракан / Осеннее одиночество» или: «Рылась в почте / Прошлогодний имейл / Любимый покинул, оставив след навечно». Что-то в этом роде. Пожалуй, и я б так сумел, хотя в них, наверно, притаилась некая чисто японская эстетика. Зато полька удивилась. Обычно ее картины состоят из вполне симпатичных цветочных пятен, — довольно милые абстракции. Теперь же в слегка изломанных формах угадывался образ здешнего Эдема. На фоне гор (а у их подножья едва, но все ж угадывается черепичный городок), испещренных

пятнами отчаянно желтого кустарника — райское дерево, напоминающее бесплодную грушу, тут притулившуюся возле сарая. А вполне реалистично и даже подробно описанная Ева походила на саму художницу, но казалась моложе на поколение. Не исключено, это был портрет ее дочери, о которой та поминала с привычным, усталым раздражением. Адам же был откровенно карикатурен — мерзотный тип с мелкоуголовной или вырожденческой внешностью, обуреваемый дурными страстями, видимо квинтэссенция женского опыта польской Эвы. Причем трактовка библейского события весьма апокрифическая: не женщина мужчине, а мужчина женщине протягивает искусительный плод.

Но в картине, безусловно талантливой, меня поразил вовсе не этот феминистический выверт, а голубой мазок в верхнем правом углу. Если взглядеться, в нем угадывалась некая человекоподобная сущность — возможно, реющий в вышине ангел. По крайней мере, именно оттуда, из этого верхнего уголка будто сочился нежный, коль можно сказать, улыбчивый свет. Не знаю, по воле автора или ж без оной, это лохматое, как поросшее перьями, пятнышко, вне законов евклидовой геометрии стало будто центром картины. Даже смыслом ее, а библейский сюжет — не более чем орнаментом. Видимо, это и есть талант, который всегда превосходит намеренье. Точно помню (даже на всякий случай проверил по восьмой записи), что польки не было за столом, когда хозяйка нам повествовала о Французике, но — кто знает? — не донеслось ли до нее здешнее преданье каким-нибудь ветром, каким-нибудь слухом... Теперь отложу блокнот, чтоб дать отдых руке и размять ноги.

Только что вернулся со своей каждодневной прогулки. Даже странно, что здешняя жизнь, хотя и обросла привычками, не обернулась для меня рутинной. Да и раньше моей личности словно не хватало на целый день — часа три бодрствования для меня оказывались просто лишними. Теперь я свеж с утра до позднего вечера, не мучим скукой, — дни проносятся легко, по себе не оставляя ни даже крупинки грусти. А ведь раньше чувствовал переизбыток времени, всегда настигающую скуку. Это вопреки постоянной «занятости», изводившей время до его нехватки. Но и странно ли, что тут, на родине моей души, время будто утратило свой враждебный напор, коль я здесь купаюсь в вечности, не пересчитывая дней? Не о том ли мечтал? Но все же никак не удастся привыкнуть к этому новому чувству, потому, возможно, и повторюсь.

Не стал бы даже поминать об очередной прогулке, если бы та не одарила удивительным, красочным, но для меня и тревожным зрелищем. Плоская равнина у подножья горы теперь оказалась расчерченной на квадраты, словно шахматная доска, — трава была как-то ловко, умело подстрижена. Друг против друга выстроились два войска — черное и белое, облаченные в наряды средневековых воинов. Короче говоря, живые шахматы! С горного карниза мне были хорошо видны их боевые порядки и чуть слышны хриплые команды герольдов, объявлявших очередной ход.

Средь пехтуры выделялись четыре всадника — двое на конях белоснежных, двое — на вороных. (При всем архаизме здешней жизни, я тут до сих пор не видал ни одной лошади. Гужевому транспорту крестьяне предпочли списанные армейские джипы. Конечно, тоже архаика, однако не средневековая.) По всему периметру этой гигантской

шахматной доски толпилось, думаю, целиком население городка и его окрестностей, встречавшее каждый ход либо восторженными воплями, либо единодушным гулом разочарования. Так вот, оказывается, какая у них забава вместо футбола! В шахматы я играл еле-еле, только знал ходы (школьником занимался в шахматном кружке, но вскоре бросил), так что не мог оценить позицию. Но, кажется, наседали черные, судя по толчее фигур возле белого короля. А чем закончилась партия, так и не узнал. Не досмотрел до конца, поскольку у меня как-то странно пикнуло в душе иль екнула селезенка. Легким мороком впервые за много лет вновь налетел мой прежде неотвязный, довольно мучительный сон: некая именно игра вроде живых шахмат, где сам я живая фигура. Что он сулил, что предвещал, что все-таки значил? Не верю ни психоаналитикам, ни пророкам-сновидцам, но, поскольку сон многократно повторялся, казалось, мне втолковывает нечто важное. Возможно, метафора не так уж и глубока. Может быть, он сулил мучительное разрешение для меня судьбоносных проблем или намекал, что я всего-то пешка в игре, превосходящей мое разумение. Но кто ж тогда игроки? Впрочем, я давно излечился от юношеского волюнтаризма. Что она, личная воля, в сравнение с могучими силами, играющими нашей судьбой?

Может, я бы все-таки дождался окончания партии, надеясь, что белое войско победит, но уже подступили сумерки (в горах темнота приходит быстро) и живые фигуры стали почти не видны. Да и к нашему отельчику вела довольно крутая, извилистая тропа, а мой шаг, — заметил не так давно, — стал менее твердым, чем был всегда. Пока добирался до хостела, уже стемнело, но игра все еще продолжалась.

С моей верхотуры было видно, как в сумеречной долине теперь снуют живые огни, — там запалили факелы, — и ветер подчас доносил хрипенье горнов и клики болельщиков с их нисколь не иссякшим энтузиазмом. Видимо, ставка в этой игре велика.

Запись № 11

Боялся, что мне опять приснится мой шахматный сон. А может, и надеялся: в нем ведь была не только лишь тягостная морочка, но и нечто юношеское — свежее чувство преддверия еще не изгвазданной жизни. Однако нет, ночь для меня оказалась даже не просто легка, а будто мгновенна: закрыл глаза и тут же раскрыл их — а в окне уже сияет утренняя благодать. Еще раз убедился, что здесь любая тревога мимолетна.

Во время завтрака, конечно, расспросил хозяйку о живых шахматах. (Тем более что поутру я уже сомневался: может, они мне и вовсе привиделись, выступил ли наружу древний пласт здешней многослойной вечности или мой вернувшийся сон каким-то образом искажил реальность.) «Ах да, вчера ж был День независимости», — вспомнила девушка. «От кого независимости?» — спросила финка. «Кажется, от австрияков или мадьяр». — «От бошей», — уверенно сказал повар. «Да нет, если не от австрияков, от каких-нибудь мусульман. Что ли, турок или сарацин», — возразила девушка, глянув на дверь сарая, где давно уже затаился наш пиротехник. «Не от вестготов?» — предположил испанец, который,

судя по всему, теперь тоже стал путаться во временах. Он, кажется, еще назвал этрусков, а финн припомнил викингов.

Собственно, гадать можно было до бесконечности. История отнюдь не мой конек, но кто ж не знает, что этот благодатный край был в течение полутора как минимум тысячелетий вроде как проходным двором для бесчисленных оккупантов, сменявших один другого? Очень уж лакомый кусочек для кочевой гопоты и великих держав. Но, как я сообразил, в данном случае, скорее всего, наш городок отвоёвал независимость у соседнего, чуть покрупнее, стоявшего на крутом холме милях в пяти к западу. (В ясную погоду я мог разглядеть из окна венчавшие холм руины княжеской резиденции.) По крайней мере, ежегодные баталии велись именно меж этими двумя городами, — в память о когда-то состоявшейся битве. Кто в ней победил и даже какой из городков, у которого отстоял свободу, наверняка путались и сами комбатанты, учитывая неисторичность сознания здешних аборигенов, которую я уже отмечал многократно. Сперва это были сражения в самом прямом смысле — хотя и бутафорским оружием, но жестокие. Обходилось без трупов, но травматизм, по словам нашей хозяйки, был очень высок: здешние костоправы потом еще месяц вправляли вывихнутые челюсти, накладывали лубки на сломанные в битве конечности, суровой ниткой зашивали рваные раны и т. д. Кому-то могли в бою и глаз выбить, и ребра переломать, и почки отбить, а уж двух-трех передних зубов не досчитывалось чуть не все мужское население в округе. «Французик, — вдруг сказал бельгиец, с усмешкой, однако доброжелательной, — был настоящим героем, рыцарем без страха и упрека.

Не счесть, сколько носов расквасил и зубов повышибал». Тут девушка лукаво глянула в мою сторону, видимо, чуяла мой жгучий интерес к местной легенде. А меня, признаться, боевые подвиги Французика вовсе не удивили: она ж сама поминала о его юношеских проказах, а, как знаем, из грешников чаще выходят праведники, чем из тех, которые ни то ни сё. Скажем, вроде меня.

В результате и церковные и светские власти решили покончить с этой варварской, позорной для обоих городов забавой: в духе новомодного гуманизма постановили заменить побоища интеллектуальным поединком. Я уже знал, что бесполезно спрашивать, случилось ли это год назад, иль, может, сто, или даже тысячелетие, но в любом случае, вероятно, к облегчению горожан. Помню, когда школьником отдыхал в деревне у бабушки, как неохотно шли вооруженные колами местные парни биться на престольный с молодежью соседнего сельца. Но обычай не нарушали, его чтил и сельсовет, — это ведь тоже была выпавшая из истории глухомань. Может быть, мой давний прообраз аморфного, почти иссякшего времени.

После завтрака мы с испанцем сели покурить на лавочке под грушей (тоже ритуал), бесплодной, как та смоковница. Только мы с ним были курильщиками в нашем пансионе, и этот мелкий порок нас отчасти сблизил. И тут начитанный сценарист высказал неожиданную, по крайней мере для меня, человека малообразованного, и весьма интересную мысль. А не восходит ли шахматное состязание к древнейшим обычаям, чей затерянный в дремучих веках исток — языческий культ плодородия? То есть к ежегодной символической битве светлых и темных сил.

Победа первых сулила общине богатый урожай и все виды процветания, вторых — голод, мор, войну, а в наши дни еще падение биржевых индексов и тому подобные экономико-политические бедствия. Может, испанец прав, да и первоначальный смысл состязания не до конца утерян, — раж болельщиков мне ведь подсказал, что ставка в игре велика. «Кто вчера победил, белые или черные?!» — крикнул я выглянувшему из кухни повару. «Слышал, ничья», — он ответил. Совсем, как и у меня с жизнью. Коль ничья, значит, шарик и впрямь завис на ребре. Сколько же способно продлиться это зыбкое, пускай притом даже сладкое, равновесие?

Пока я с упоением всасывал первую утреннюю сигарету, испанец поделился творческим замыслом, который для меня не стал неожиданностью. Видимо, пресыщенный латиноамериканскими страстями, он теперь задумал телесериал о Французике (то-то чиркал в блокноте!) Почти незнакомый с жанром, как уже говорил, я все-таки ему высказал некоторые сомнения. Сколь бы смутно я не представлял Французика, но был уверен, что его жизнь — это приключение духа, вряд ли интересное средней домохозяйке. И главное, что за сериал совсем уж без любовных чувств? (Не потому ль я верю, что он недоступен грубым страстям, что вся эта местность будто овевана духом целомудрия? А на любви небесной, построишь ли завлекательный для телевизионной публики сюжет?) Кажется, испанец разделял мои сомнения, однако уверил, что Французик вовсе не так уж бесплотен, как я решил, а его судьба не только лишь назидательна, но полна ярких событий и крутых перемен. В отличие от меня, он еще кое-что успел о нем разузнать от

нашей хозяйки и, наверно, бельгийца. Мне поведал легенду о ранних годах Французика. Жалко ее уродовать, но все-таки попробую пересказать как умею. Хотя бы в качестве литературной учебы.

После памятного суда отвергший любое именье Французик стал жить подаянием. Был щеголем, а теперь ходил в единственном потертом плаще, который потом сменил на балахон из мешковины, и драных сандалиях. («Был весь жалкий и изможденный от трудов покаяния, из-за чего был многими почитаем глупым, как бы полоумным», — гласит легенда. Еще бы, проповедовать нищету в тот век чистогана! А другие-то бывали?) Над ним насмешничали, кто жалостливо, а кто злобно, не исключая и бывших дружок. Те, наверно, ему говорили типа: «Ну похохмил, вставил перо в жопу этим старым пердунам, и хватит уже, идем в корчму выпьем, как раньше». Но упрямый Французик теперь с прежними друзьями не хотел знаться и пил только воду. Горожане подавать-то ему подавали, но с издевкой. Иногда кидали кость прямо на землю, как собаке. Французик всех вежливо благодарил и лопал, что подадут, нисколько не опасаясь желудочных заболеваний. Но больше, чем презрение, вызывал он недоумение. Ясно, что загадка Французика не разрешалась, как дважды два четыре. Очень уж оказался неформатной личностью. Кто он, собственно, такой? Еретик — не еретик, пророк — не пророк, ибо не читал проповедей. И не монах, ибо не принадлежал ни к одному ордену.

Местные умники пытались вызвать Французика на диспут, — было в городке два-три высоколобых, один даже с университетским дипломом. Но Французик от словопрений старался деликатно уклониться, а на все

интеллектуальные ухищрения оппонентов отвечал больше цитатами из Евангелия. В результате, местные книжники заключили, что человек он вовсе необразованный — латынью и английским владеет поверхностно, в схоластике и диалектике не силен, а с достижениями современных наук, вроде генетики, информатики, астрологии и алхимии, незнаком вовсе. Решили, что Французик — типичный провинциальный мыслитель-самоучка, не умеющий внятно изложить свою доморощенную философию. Да и есть ли она, коль он постоянно твердит нравственные прописи, всем хорошо известные со школьной скамьи? По мнению университетского бакалавра, он был скорей даже мистик, но не рафинированный, а от недоумия, нехватки понятий угодивший в плен туманного прозрения, по сути, банальнейших истин. Притом я не думаю, что мнение высоколобых Французика повредило. Полагаю, как раз наоборот, — их наверняка в городке тоже недолюбливали, именно как шибко умных. (Насчет интеллектуалов это я уже сам додумал, но уверен, что так и было.)

Короче говоря, поначалу шпыняли Французика и простецы, и мудрецы. Он же отвечал не словом, а делом: восстанавливал потихоньку совсем развалившуюся церковку в паре миль от городской стены. Месил глину, собирал камни по окрестностям. И через некоторое время у него в городке нашлись сперва защитники, а затем и последователи. (Наверно, сперва заговорили: «Что к парню-то привязались? Чего он плохого делает? Лучше, что ль, лоботрясничать и девок лапать, как наши балбесы?») Тут ничего для меня удивительного: какая-либо твердая позиция, упорное отстаиванье пусть пока и неясного (или,

напротив, банального) принципа, не могло не произвести впечатление на городских обывателей в наверняка депрессивную эпоху полувывдохшейся веры, подгнившей морали, обесмысленных обычаев, короче — на грани очередного культурного перелома. Не хочется гадать, случилось ли это в недавние иль, наоборот, в очень давние годы. Таких пустот было много в человеческой истории, которая на них выбивает свою барабанную дробь. Удивительно ли, что трудолюбивый Французик, никому не читавший нотаций, вскоре возглавил общину вольных стяжателей духа, подобных ему радостных нищесбродов, — по преданию, их сперва была ровно дюжина (это понятно). Да и конечно, он был человек особенный. Кто б еще проповедовал птицам? Так и представляю, как он стоит, воздев обе руки ввысь, и над ним парят птахи. А вокруг — легкий и праздничный мир. Уверен, что вовсе не тягостной и тяжеловесной была его аскеза.

Ну, испанцу виднее, удачная ли это завязка для телесериала. Конечно, картинка могла быть красивой, я представил: среди лесистых гор одинокий Французик, живописный оборванец, возводит камень за камнем строгую часовню. Но это ведь не для массового кино, здесь необходим большой стиль, который нынче утерян. По моим понятиям, только гений тут не впал бы в скучную назидательность иль унылое занудство. Все-таки надеюсь, что в удвоенном пересказе, сценариста и моем собственном, то есть дважды перевранная, легенда сохранила хотя б легкий оттенок своего аромата.

Беседа с испанцем мне навеяла сон о Французике. Можно сказать, кино недалекого будущего — не только в цвете, но и в объеме. (Сам же я помещался где-то на краю действия, как донатор на картине старого мастера.) Причем фильм, по моим понятиям, замечательный, с размахом, широким, подлинно эпическим дыханием. (Мусульманин внял-таки увещанию: не разбудил спозаранок, а позволил дожидаться последних титров. Наверно, неплохой и действительно скромный парень. Но подождем обещанного сюрприза.) Подозреваю, что во сне реализуются мои придавленные, точней, вытесненные таланты. Давно заметил, что в моем подсознании таится архитектор, создающий дивные города. Отнюдь не туманные, дымчатые, а в самых мелких подробностях, мельчайших архитектурных деталях. И ведь для этого нужна творческая сила, не побоюсь сказать, гениальность воображения (уверен, оно не просто монтирует откуда-то выхваченные детали, а творит прежде не существовавшее), наяву таящегося под спудом. Впрочем — кто знает? — может быть, каждый из нас — подспудный гений. Только проснувшись, я помнил фильм целиком, казалось, могу восстановить от начала до конца, кадр за кадром. Но затем он как-то развеялся, оставив по себе довольно смутный образ, общее впечатление иль тот самый аромат легенды. И уж точно не вспомню никаких примет времени — там, допустим, конных повозок, карет или же, наоборот, нынешних транспортных средств, вроде военных джипов и битых фиатиков. И Французик, главный герой, совсем как-то

выпал из памяти. Это был скромнейший, непримечательный и непритязательный образ, почти пустое место. Однако незримая ось легенды. Полынья духа? Похоже, эта моя давняя метафора теперь ко мне пристала, как навязчивый мотив.

За окном немного дождит, над горным пиком напротив скопились тучи. Это первый дождь с тех пор, когда я здесь поселился. Однако ветер тут всегда будто влажный, наверно, питается влагой из большого озера за дальним холмом. Местные жители там не купаются, да и я не рискнул. Вода в нем ярко-зеленая, и все речки тут почему-то изумрудные. Промышленные стоки? Вряд ли, во всей округе, к счастью, не обнаружил ни одного завода или фабрики. Вообще непонятно, чем и как живут городские жители, притом что эта местность и не туристическая. А вот на горных террасах я могу наслаждаться пасторальными видами здешних трудов.

Из-за дождя моя прогулка не состоится. Приверженный ритуалам, я, однако, радуюсь, когда обстоятельства сбивают устойчивый ритм моей повседневности, который подчас вызывает у меня тошноту, как бортовая качка. Без таких, даже крошечных сбоев сознание будто вовсе отключается. А тут, признать, я немного завяз в душевном благополучии. Прежде какая-нибудь умная книга могла меня выбить — в хорошем смысле — из наезженной колеи. Но уже давно вычитанная мысль или яркое художественное впечатление стремительно выцветают, не сдвинув мое существование ни на йоту. Оттого теперь не ищу в книгах ни ума, ни жизненного вдохновения. Не потому ли, что разочаровался в чужих, пишу собственную?

Да какая книга? В лучшем случае будет, вряд ли для кого представляющий интерес, исписанный до конца блокнотик умственного дилетанта и неопита письма.

Странное дело: теперь ко мне стал понемногу возвращаться мой сегодняшний сон. Такого раньше не бывало: сновиденья либо впивались в память навсегда, либо даже их туманный след вскоре развеивался без остатка. Теперь сон возвращался по частям, но даже не эпизодами, а картинками, которые сменялись, как на моем любимом в детстве диакопе, но без какой-либо сюжетной связи и временной последовательности. Вот Французик закладывает очередной булыжник в стену им возводимой часовни, вот он изгоняет бесов, овладевших было его городком (стоит, приподняв одну руку и указывая перстом повыше городской башни, над которой вьются, корчатся крылатые черти, похожие на летучих мышей); вот он увещевает каких-то страхолюдных типов, вероятно разбойников, один из которых уже склонил перед ним колени; вот вразумляет церковного иерарха, а тот его слушает с немного презрительным вниманием; вот, подобно библейскому Моисею, но лишь только словом и жестом, разверзает гору, откуда бьет живительный источник (таких ключей и водопади-ков много в здешних горах). И так картина за картиной, уже не в объеме, как мне ночью привиделись, а будто сплющенные. С нарушенной перспективой и в немногих простейших красках — фон всегда голубой, словно вокруг небеса, и еще — словно подвыцветшие, чуть блеклые кармин и охра. Притом надо сказать, что этот слайд-фильм (где-то слышал такое название) оказался лишенным финала. Последний кадр изображал Французика и над ним па-рящего ангела. От раскинутых ангельских крыл бьют

лучи, пронзая его кисти рук и стопы. Это был патетический аккорд, но не думаю, что конец его жития. Может быть, Французик существует и теперь, так и живет с английскими отметинами.

Но самое любопытное, что многие из этих запечатленных эпизодиков мне прежде были наверняка неизвестны, — точно помню: о них не рассказывали ни наша хозяйка, ни сценарист. Неужели их сам выдумал? Категорически не верю в свое творческое воображение, но другое дело мой сновидческий гений, он-то мог неким образом ухватить самую суть предания, следуя уже обозначенным вехам, проникнуть в его сочный, плодоносный корень (это умеют гении), его домыслить, или, верней, довообразить. А может быть, я действительно приманил легенду и этой ночью мной овладел здешний блуждающий сон. Но не главная ли примета гения видеть такие вот всеобщие сны, а потом их воплощать в каких бы то ни было искусствах?

Ого, вот и настоящая гроза! Грома шикарно раскатываются по ущельям. Курятся дымком пинии на дальних склонах от попавших в них молний. Не обратил внимания, есть ли громоотвод у нас на крыше. Думаю, все-таки он есть, поскольку иначе возведенный на самой верхушке холма (так слегка обидно называл эту вершину бельгиец, я ж предпочитаю — горой, поскольку это понятие не всегда геологическое или, там, географическое, но, бывает, и духовное; случается, легендарные горы физически даже и на пригорок с трудом тянут) домик беззащитен пред небесным электричеством. За пеленой дождя раньше благостный вид приобрел слегка драматичный облик (и, вознесенный на противоположный холм ветряк вдруг

отчего-то замер, будто распятие). Впрочем, для меня скорей, драматургичный. При моем полном доверии к местности, в этой грозе я не почувствовал серьезной угрозы, что-то в ней чуялось театральное, какое-то больше изображение рокового катаклизма. При том что блистательное, — в гениальности здешней природы, ее умение творить красоту уж точно не усомнишься.

По каменистой тропе — единственной дороге к пансиончику — свергается мутный поток. Похоже, на некоторое время мы будем в плену нашей хотя и невысокой, но крутой горки. Гроза была гневной, но короткой, она уже стихла. Видимо, этой вспышкой разрядилось внутреннее напряжение местности, — я всегда в ней чувствовал застенную силу, если можно сказать, грозовой мотив. При том, конечно, не разрушительный, а созидательный (когда сметается ложное, тем утверждается истинное). Еще тянутся ввысь дымки от обожженных пиний, поднимается пар от чисто вымытых ливнем трав и сырых кустарников. Было застывший ветряк, взмахнул своими лопастями.

В окне опять ясная, с виду почти гламурная картинка. Сегодня утром, едва очнувшись от кинематографичных видений, я задумал спуститься в город. Не то чтоб с прямой целью побольше узнать о Французике, но все ж пообщаться, грубо говоря, среде его обитанья. Я бывал там и прежде, сразу почувствовал, что он имеет душу, но только недавно узнал, что ее называют Французиком. Этот неподвластный времени (разве что им потрепанный) городок в любом случае был бы хорош для киносъемок. Он и живописен, и будто упорно отстаивает вечное, отмахиваясь от сиюминутного. (Пригодно ль для сериалов?)

Но придется потерпеть, пока до конца стекнут со склонов ручьи и подсохнет дождевая слякоть. Иначе тут ноги переломаешь.

Как-то надо убить бессмысленные полдня. Только не этими вот заметками. Отпущенный мне на день запас вдохновенья уже кончился. Не стану ж я с тупым усердием бездушно водить по бумаге шариковой ручкой. Хотя, к тому отнюдь не стремясь, я уже немного набил руку. Так что теперь могу писать о чем угодно, — даже и вполне гладко. Тем внимательней надо следить за собой, а то ведь превращусь в графомана. Такому не быть, — тогда б уж лучше остался топ-менеджером.

Запись № 13

Вернулся из города усталый. Не потому, что он, как положено в древности, возведен на холме и мне приходилось тащиться вверх-вниз, к тому ж спотыкаясь о разбитый булыжник, — замостили город еще, наверно, этруски. Дело в другом. Прежде-то мои прогулки в городок были, можно сказать, ознакомительными. Я остро, однако все ж неглубоко чувствую города. Никогда не уподоблялся туристам (их даже презираю), коллекционирующим достопримечательности, но способен прийти в восторг, мгновенно ухватив стиль города, можно сказать, его эстетическую суть. Правильно ли ее назвать только эстетической? Ведь, как мне казалось, схватывал не только внешнее своеобразие каждого, но и его, что ли, общую идею. Меня равно пленял

и уют мелких городков, и грандиозный размах имперских столиц. Но никогда не удавалось надолго сохранить это чувство, которое не любовь, а разве что краткая влюбленность. День-другой, и я уже томился в сперва восхитившем городе, хотелось оттуда поскорее сбежать. Пришла в голову хотя и дурацкая, но довольно точная метафора: любой новый для себя город я будто единым духом осушал до дна, как пьяница четвертинку, потом испытал приятное головокружение и похмелье наутро.

Но сегодня я, будто самый прилежный турист, обшарил все городские закоулки. Городок-то совсем невелик, но коль не только всматриваться, но и вчувствоваться в его мельчайшую подробность, постараться уловить сюжеты его извилистых улочек с их коллизиями и кульминациями, можно себе истерзать всю душу. (Но также и возвыситься, как это было с Французиком.) Не сразу, но уже к полудню, я ощутил музыкальность города. Теперь пытался расслышать его мелодии с их анданте, адажио и модерато, аккордами городских площадей. Можно сказать, что сам будто разыгрывал музыкальные пьески, вольно, по наитию, сворачивая туда, сюда, путь направляя вверх, вниз: одна улочка, другая, третья, солнечная, тенистая, каждая с особым чувством и своей тональностью. Не всегда городская музыка была мне понятной: иногда забредал в таинственные, тревожные тупички, невнятные дворики, выражавшие какие-то, по-моему, очень современные чувства, назвать которые не сумею.

Может, здесь и впрямь существует музыкальная подоплека, то есть город творился веками, как музыкальный опус. Не сознательно, конечно, — однако жителям могла всегда чуваться его стержневая мелодия, и те не фальшивили.

(Если ж все-таки встречались фальшивые, диссонирующие ноты, то не в постройках и привнесенные, — все же необходимая дань государственной власти, до которой тут, казалось, далеко как до луны. Имею в виду установленные на трех площадях бюсты спасителей отечества от каких-то захватчиков, — национальные герои смотрелись угрюмо-спесивыми и были все на одно лицо. Стоило мне наткнуться на эти убогие творения обобщенно-державного стиля, как пронзительная городская мелодия, запнувшись, на миг прерывалась торжественным гудом государственного гимна, который мне показался не музыкальней других сочинений этого жанра, — иль мне, может, вообще претят державные звуки. Но таковую дань государственности, как я заметил, платили все окрестные городки.) Известно, что архитектура — застывшая музыка, но не стоит ли понимать эту избитую формулу в более широком смысле? Может, и любой город окажется именно таковым, если к нему чутко прислушаться, а не разом ухватить его общий смысл; тем бесконечно обеднив, превратить в своего рода геральдическую эмблему. Кстати, здешний городской герб не слишком замысловат: справа лев в багрово-красном поле, слева крест — в лазурном, а над ними — княжеская корона. Лев среди яростного багрянца, допустим, в память о сражении за свободу (не от того ли князька, чья корона до сих пор украшает герб, оставленная в качестве декоративного элемента или, может, в насмешку? Свойственна ли гербам ирония? Мне-то она чувствуется повсюду). А левая часть, уверен, то ль память о Французике, то ль его предвесье — лазурь, как помню, символ чистосердечия.

Конечно, я пытался различить, расслышать в этой городской симфонии иль, может, сюите (наверно, точнее, но не слишком-то разбираюсь в музыкальных жанрах) лейтмотив Французика. То он мне вроде бы слышался, прозрачный, как пастушья свирель, то вдруг терялся. Так, его подхватывая и теряя, я забрел в какой-то городской аппендикс. Надо сказать, что в городке множество тупиков, кривоколенных закоулков, а также с виду бесцельных лестниц, упертых в городскую стену (может быть, когда-то имели оборонное значение). Сужавшаяся улочка, слегка вильнув, клином уперлась в дом как дом, обычный для здешней застройки, чей образ — навеки запечатленное Средневековье. Из этого, если можно сказать, общеготического стиля никак не выбивались и относительно недавние строения (по крайней мере, я их не отличил от других). Несколько домов, разрушенных единственным налетом то ли немецкой, то ли союзнической авиации (видимо, летчик, не пробившись к областному центру, решил избавиться от бомбового груза), думаю, были точно воссозданы в их прежнем облике. Про авианалет мне как-то рассказала наша хозяйка, которая, впрочем, я говорил, не сильна в истории, так что этот уже восполненный ущерб городку мог быть нанесен и, к примеру, Большой Бертой или даже какой-нибудь допотопной бомбардой.

Чем двухэтажный домик, который не палатка, но и не хижина (по здешним меркам где-то между эконом- и бизнес-классом; одна безусловная роскошь — резная дверь, украшенная аляповатыми ангелами, похожими на амуров, в цветочно-лиственном узоре), отличался от всех городских строений, так это медной табличкой справа от единственного окна. До сих пор я в городе не обнаружил ни

одной мемориальной доски как свидетельства, что здесь родилась какая-то приметная личность, или жила и трудилась, или хотя б его разок посетила. А тут пусть и не мемориальный, но все ж какой-то знак исключительности. Моей медицинской латыни хватило, чтоб разобрать гравировку: «Охраняется (сохраняется? опекается?) городской общиной». Заинтересованный, я внимательно разглядел дом со всех четырех сторон. Действительно, самый обычный, немного ветхий, но все ж не развалина. Судя по местами облупленной штукатурке, не то что капитальный, но даже его косметический ремонт проводился еще в прошлом веке, — община-то наверняка бедная. Постарался заглянуть внутрь, хотя знал, что такое подглядыванье в иных странах считается уголовным преступлением. Но в любом случае окно было мутное, какое-то подслеповатое, — вообще не ясно: дом жилой или давно пустующий? Мой интерес понятен, ведь не сомневался, что он каким-то образом связан с Французиком, коль мне служил путеводной нитью тот настойчивый, хотя иногда ускользавший рефрен. (Да и разве Французик, — неважно, реальный или мифический, — не был единственной достопримечательностью городка?)

Что и подтвердилось. Сквозь крепнувший «лейтмотив Французика» я вдруг расслышал какое-то шушуканье сбоку, чуть сверху. Из окна соседнего дома выглядывали мужчина и женщина примерно моих лет, видимо, супружеская пара. Оба меня рассматривали с большим любопытством, тихонько переговариваясь. Подумали, что грабитель? Глядишь, вызовут полицию, или, не знаю, может, тут городская стража? Но нет, с виду приветливы, улыбаются. Видимо, приняли за редкого в этих краях туриста. К тому ж

могли услышать, как я твердил на недавно привязавшийся мотив свое «Французик, Французик» (последние дни себя иногда ловлю на этом). По крайней мере, женщина, махнув рукой в сторону дома с табличкой, раза три кивнула, повторяя: «Тут жил, тут жил», а мужчина указал пальцем на приткнутую к дому сараюшку: «Там он родился, там». Кто родился и жил, я, разумеется, понял.

Однако сейчас уже вовсе не уверен, что глаголы стояли именно в прошедшем времени. Едва понимая местную речь, как разобраться во временах и модальностях? Поди отличи, было ли сказано «жил», «живет», «будет жить» или, допустим, «мог бы жить»; «родился», «родится» или «родился бы». Да это и простейшие варианты: наш-то язык, к глагольным временам экономен (или неразборчив, поскольку к самому-то времени мы как раз вовсе не экономны, легко его упускаем сквозь пальцы, тратим по пустякам, — уже забыл, где вычитал это объяснение), а в некоторых возможна и такая экзотика, как «вот-вот, уже совсем наступающее, в давно прошедшем». Подчас мне кажется, что я угодил в едва ль не ему подобное время, ну, или, допустим, в «давно прошедшее, продолженное вплоть до будущего».

Конечно, я заглянул в сарайчик, оказавшийся не на заборе. Это был скорее не сарай, а хлев, что странно, — в городке, разумеется, никто не держал скотину. Но да, именно хлев, все как положено: загончики для скота, ясли, выложенные сеном, вверху отдушина, дававшее свет незастекленное оконце, в углу — вилы и деревянная лопата. Впрочем, был пустующим, даже, не исключу, декоративным, поскольку не вонял навозом, а пропах сеном и, если принюхаться, чуть благоухал цветами. Сами ясли,

как и деревянные переборки, тут казались довольно свежими, не так давно слаженными, и стены будто свежавыбеленными. Почти целиком, лишь на одной примета старины или даже глубокой древности: в белом контуре — осыпавшаяся фреска (в хлеву? почему, собственно?), где-то величиной два метра на метр, изображавшая снятие с креста. От фигур остались одни лишь контуры, но не потому ли вдруг выявилась экспрессия, необычайная активность действия, тогда как фрески, иконы в здешних церквях благородно цепенеют в вечности, где мирно сосуществуют времена? Может, как раз детали и скрадывают порыв, тайно запечатленный в контуре? Коль это действительно так, я уж наверняка не первооткрыватель. Но если даже мое наблюдение не обогатит историю иль, там, теорию искусства, то лично для меня оно представляет некоторую ценность. Притом поодаль суетящихся абрисов изображен один бездействующий персонаж, столь же, как все, неподробный. Однако в его позе поражала мощь соперничества. Лейтмотив Францулика теперь меня едва ли не оглушал.

Но еще необычней для хлева смотрелись фотографии на стенах — примерно десяток, явно любительских, давних, сильно выцветших. Подробно их, увы, не разглядел: оконце под крышей давало недостаточно света и к тому ж вечерело. Но вот странность: мне там почудились те же сцены, что и в моем кинозрании, хотя и в черно-белом варианте. Что б это значило? Что фильм давно уже снят и я его посмотрел когда-то (юношей был почти киноманом: в кинотеатре «Иллюзион» видел множество старых лент, аппетитно рябящих искрами, какими-то сполохами). Вроде б, нет, — память на давно прошедшее меня еще

не подводила. А может, тут спасаясь от безумия века сего, я подхватил местную бациллу безумия иль бациллу местного безумия? Почему б нет, на этой родине тарантеллы и флагеллантов?

Когда вышел из пристройки, любопытные супруги все еще стояли у окна. Вдруг мужчина сказал: «Мы с ним учились в одной школе» (точно расслышал «уна скуола»), а жена кивнула, подтверждая. Конечно, мог ослышаться или неверно понять. Но — если учились в одной школе с разницей в пяток столетий? Притом что единственное тут школьное здание — слегка перестроенный храм Минервы. Так сообщает путеводитель, который о доме Францулика ни гугу, уж тем более о какой-то сараюшке. (Городу, соответственно, был посвящен один короткий абзац.) Уже мне в спину женщина крикнула: «Покупаете?» Что покупаю: дом, сарайчик, то и другое? Оказывается, приняли не за туриста, а за покупателя? Понятное дело: с какой же стати его так подробно разглядывал? Вообще-то мне по карману и дом, и пристройка — вряд ли в этом нищем городке сильно дорога недвижимость. Но даже мысль купить легенду, миф, трепетное преданье мне показалась дикой. Да нет же, в этот раз наверняка ослышался. От усталости и переизбытка впечатлений у меня и прежде бывали слуховые галлюцинации.

Что же из себя представляет это мелкое строение: какой-то, что ли, музейчик, бывшая или будущая часовня, декорация будущего или уже отснятого фильма, действительно ли место рождения Францулика иль приуроченное для его грядущего рождения, или то, где он мог родиться, если б существовал в действительности, а не как всеобщая надежда? Этими вопросами я задавался,

взбираясь в набежавших сумерках по горной тропе, теперь, подобно местным жителям, запутавшийся во временах (но также и наклонениях), пока не услышал зычный голос Эвы, меня призывавшей на вечернее пьянство, наверно, все-таки надеясь во мне обрести своего Адама.

Запись № 14

Сегодня впервые проспал завтрак. Видимо, спал очень крепко, если уж не добудился повар своим литавровым боем. Сейчас вон стоит под окном, мне грозит пестиком хотя и шуточно, но, разумеется, обижен, — пропустить его поэтический завтрак (равно обед или ужин) тут считается неприличным, даже кощунственным. Но что поделать? Теперь испытываю похмелье, но не от города (см. предыдущую запись), а поскольку вечером перебрал здешнего винца. (Сейчас от него изжога и отрыжка. Дома не стал бы пить эту кислятину. Предпочитаю более крепкие напитки, но в путешествиях всегда перехожу на местные, видимо, соответствующие климату и питанию.) Так я пытался заглушить чувство нереальности, у меня возникшее еще в городке. Тут мне алкоголь всегда помогал, делая чувство ирреальности как бы законным. Было время, оно терзало меня постоянно: будто раскалывалось сознание и откуда-то из глубины, из подкорки перли обрывки снов, мутных видений. В результате оказывался в каком-то двуслойном мире, где сосуществовали мнимость и реальность. Делалось жутковато, однако при этом я не упустил контроль

над своей жизнью: мог болтать с приятелями; культурно говорить, флиртовать; заниматься домашними делами и даже вести ответственные переговоры. Но появлялся холодок ужаса. Это казалось болезнью, а возможно — кто знает? — и было. В конце концов пошел к психоаналитику, — а ведь нет хуже, когда чужой копается в твоих мозгах, — который меня накормил вдоволь всякой инцестуальной чушью, тем дело и кончилось. Потом эта болезнь не болезнь сама собой миновала, — лишь очень изредка возвращалась. Я, разумеется, не психолог, не аналитик, но у меня своя гипотеза. Не оттого ль полусны и виденья, что я будто проживаю не собственную жизнь, когда-то свернул с должного пути на путь, по сути, ложный, внушенный? Вот меня и пытались предостеречь виденья истины, только пугавшие мое искореженное сознание. Не вразумив, они отступились. Примерно так объяснял. А теперь, должно быть, истина меня вновь поманила.

День чуть туманный. Горная вершина прямо напротив окна будто слегка курится дымком, как полупотухший вулкан. Оттого пейзаж немного выцвел, словно потерял свою четкую определенность, какую-то, что ль, благорасположенную к людям внятность. В нем теперь чувствуется недомолвка. (Из тумана памяти выплыло где-то подслушанное слово «сфумато».) Нет, я не усомнился в его чистосердечии, но его мне подсказки не так наверняка простодушны, как сперва показалось. Да я ведь издавна ощущал глубину простоты и тщету сложности. На скамье под грушей собрались все наши постояльцы, даже и мусульманин с чуть, показалось, закопченным лицом; болтают, смеются. Действительно, симпатичные люди. Но это в легком общенье, вне своей повседневности, — наверняка ведь

каждый со своими тараканами в голове. Но, может, они мне лишь показались неприкаемыми художниками? В наших-то краях художник исконно неприкаян, коль даже и успешен. А эти творят легко, не комплексуя перед вечностью, и так же легко, доверчиво делятся плодами своего не такого уж, видимо, требовательного вдохновения. Вот она цивилизация, где выветрился гений, оставив по себе сплошное добродушие.

Интересно, я-то им как вижусь? Цивилизованным европейцем (ведь я достаточно потерялся в международных кругах), или ж в моей европеизированной повадке они чувствуют некий ущерб. Помню, в одной столице, просто кишасей всякими живописными чудаками, маргиналами, немного, разве, менее вонючими, чем на моей родине (имею в виду физическую, а не родину духа), самый из них наимаргиналистый мне вдруг заявил на улице: «Ты, парень, псих на всю голову». Вот оно как! Это я-то псих, всегда старавшийся ничем не выделяться из меня окружающей среды, какой бы то ни было? Но этим можно и гордиться: значит, я все-таки отмечен каким-то глубоко запрятым своеобразием, — маргиналу виднее. И правда, в отличие от моих сожителей, если б я себя вообразил творцом, то сочинил роман с необъятной претензией, какую-нибудь угрюмую, амбициознейшую медитацию с иногда, вероятно, проблесками черного юмора. Отврати меня, благословенный Французик, от подобной мысли и подхвати ж наконец мою руку!

Вот и опять я к нему возвратился. Что, в конце концов, принесла мне прогулка в городе, где история будто разохлась, как старая бочка (прежняя метафора!), и теперь в щелях сквозит миф, предание, анекдот? Конечно, городок

изобилует — его тональности разнообразны, мелодии благозвучны и милосердны, увлекательны сюжеты улиц. В общем-то, всего там довольно, чтоб напитать взыскующую душу Французика или взрастить легенду о нем. Но отличается ли тем городок от любого соседнего? Не упустил ли я как раз важнейшее, его не разобрал своим тугом ухом? Но, возможно, едва ли не любая местность — городская, сельская — имеет шанс породить гиганта. Ведь и там и сям и где угодно истинно чуткой личности удавалось расслышать тихий клич великого призвания. Конечно, и в стране, где я родился, прожил больше полувека, даже чересчур обильной и добром, и злом. Увы, как-то постепенно, незаметно я потерял с ней взаимопонимание. Она переменчива, но я до поры умело подхватывал ее любой новый смысл, применялся к державной риторике, менял не только образ жизни, но и жизненные понятия. До тех самых пор, когда, по моему чувству, она не стала мнимостью почти целиком, едва ли не одной только формой без содержания. По крайней мере, в ее государственном теле я уже не слышал биения сердца. А сам-то, что, не виноват? Нет, злодеем я не стал, хотя искушенья были, — то ль не хватило решимости, то ль, наоборот, хватило предусмотрительности или не позволили ошметки интеллигентских принципов, мне внушенных родителями. Но в существование державы вносил, думаю, зло, а не добро, ее развращая углеводородами (то, что откупался благотворительностью, это было, скорей, лицемерие), пусть я в этой глобальной игре довольно-таки мелкая сошка.

Иногда перечитываю дневник. Как же он далек от вначале задуманного. Стараюсь быть искренним, но душа

моя будто прячется. В результате выходит какая-то литература, все равно — хорошего ли качества, не очень. Форма и тут настигает, думаю, от этого никуда не деться. И все ж постоянно призываю на помощь чистосердечного Францулика, который должен бы стать главным героем моего дневникового повествования, но до сих пор я никак не отвязжусь от своей очень уж настырной личности. Иногда чувствую просто омерзение к этим исписанным листкам именно из-за их поверхностного благообразия; жизнь, всегда корявая в своей непредсказуемости, творческой мощи, тут выглядит какой-то причесанной, — уповал на свой дилетантизм, но, видимо, издавна в самой глубине моей души поселилась литература. Бывает, хочется порвать блокнотик в клочья, но уже говорил, что я человек инерции, привычки, даже отчасти — долга. Так что его испишу до конца. И вот еще боюсь: порви я блокнотик — и от меня вовсе ничего не останется, а он все ж не иллюзия, а свидетельство, хотя и отчасти ложное; строго говоря, документ.

Туман над горой развеялся, солнце достигло зенита, над вершиной колеблется легкое марево. Тут в солнечную погоду краски становятся почти нереально яркими, словно в какой-нибудь детской книжке, — точно, что попадаешь в сказку или преданье. И воздух здесь прозрачен, как нигде, и звуки так далеко разносятся. С перезвоном колоколов сейчас мешается овечье бляенье с окрестных пастбищ. Вдалеке вижу фигурку, восходящую к горному пику (на поросшей лесом горе голый пик торчит, будто лысина), иль она мне мерещится. Туристов, уже говорил, здесь раз-два и обчелся, альпинистов до сих пор не видал, да и горы мелки для серьезных восхождений.

Вдруг я стал созерцателем природы. Сижу перед окном, наверно, часа три и так могу просидеть целый день, то откладывая блокнот в сторону, то делая случайные записи. Задремала моя прежде суетливая мысль, да и вообще повествование моей жизни теперь сладко дремлет. Не чувствую времени, которое, однако, не замерло. Мизерная фигурка уже взобралась на пик: стоит на вершине, распластав руки. Может, виденье, полуденный призрак, вынырнувший из мешкающего Средневековья? Не призывает ли меня к чему-то, не укоряет ли? Не явился ли он по мою душу? На всякий случай перебрал свои грешки. Много стыдных мелочей, но всё именно мелочевка, — не хватило жизненного размаха, чтоб даже согрешить всерьез. Ну, обычное мужское скотство (привет Эве!) по отношению к женам, детям, от которых, как всегда привык, откупался деньгами. Гораздо хуже невосполненная вина перед самыми близкими, теми, кто обрек меня жизни. Но за нее расплатой — постоянная горечь, что примешивается даже к мигу ликующего торжества. Грехи ж перед моим государством (налоги, там, иногда подкуп должностных лиц, как пишут в протоколах; или, наоборот, недодал, кому обещался; еще то-сё), которое больше меня воровато, и поминать не стоит, хотя за них-то можно как раз таки расплатиться по полному счету.

И хватит об этом. Не для того завел дневник, чтоб расковыривать болячки. Его начиная, смотрел только в будущее, хотя знал, как навязчиво прошлое, будто дерьмо, прилипает к подошвам. Но вскоре уже понял его цель — уловить здешнего Францулика, неважно, как ныне живущего человека иль как веянье, предчувствие, обещанье. Вовсе не для того, чтоб от него услышать новое слово, какое-нибудь

поучение, — тем более не чтобы позабавиться его чудачествами. Чую, что из этой криницы можно хлебнуть глоток забытой, нами скопом оболганной истины, без которого мир попросту захлебнется в своей блевотине. (А я уж точно.) Сам не знаю, откуда у меня такая уверенность, но себе привык доверять... Какой-то бесцельный день вялых размышлений. Кстати, человек (виденье?) на горе так и стоял до самого заката, не меняя позы, пока его не съели поздние сумерки (опять откуда-то выплыло словечко «сфумато»). Может, это и есть мое сегодняшнее обретенье. Ведь лишь много времени спустя можно понять, какой день важный, какой пустопорожний.

Запись № 15

Пишу уже ночью, во мраке уютно трещат цикады или, не знаю, какие-то местные кузнечики. Рядом мурлыкает черный котенок, — кому-то из двух я полюбился, то ли Джотто, то ль Чимабуэ, по крайней мере, своим жильем он выбрал мою комнату. Снаружи темень, только падают звезды, никогда и нигде еще не видал столь щедрых звездопадов. Мои соседи давно угомонились, а я не могу заснуть, хотя прежде не страдал бессонницей. Здесь и вообще тотчас проваливался в мягкий, будто ватный, обволакивающий сон. Прошедший день уж точно не назвать пустопорожним. Отправился утром на свою обычную прогулку, но, вопреки обычаю, сам даже не знаю, почему (разве что сбил с толку вчерашний полуденный призрак) теперь изменил

направление: от развилки, где всегда сворачивал к водопаду, избрал еще не хоженный путь. Путь как путь — полузаглохшая, заросшая травой, усыпанная камнями дорога или, скорей, дорожка. Тут было много таких брошенных троп, несмотря на традиционность уклада, видимо, за века довольно часто менялись привычные пути здешних жителей. Заглохшие дороги во мне всегда рождают острое чувство — смесь какой-то беспредметной жалости и ностальгии. Тропа для прогулок была не слишком удобной, тенистая, мрачная, она местами так заросла кустарником, что сквозь него продирался. Но мне и в голову не пришло повернуть назад, — тому наверняка виной мое инертное упорство. Не сказать что дивный моцион. Ко мне еще прибулдился какой-то всклокоченный пес, то чуть отставая, то забегаая вперед. Собака ли, а может, волк? Зверь не лаял, а мрачно подвывал. Казалось, что я забреду в какую-то невероятную глушь. Но нет, моя тропа вдруг уткнулась в асфальт. И прямо напротив — стрелка дорожного указателя: «Церквушка» (или «церковка»? — по крайней мере, с уменьшительным суффиксом). Вот, может быть, и разгадка пути, его тайная приманка.

Свернув в направлении стрелки, я думал действительно вскоре увидеть маленькую церковь, часовню, но за поворотом мне вдруг открылся огромный, помпезный храм, новодел, думаю, столетней давности, вовсе не в духе здешней церковной архитектуры, возвышенной и деликатной, точно вписанной в природу. Это же был целый каменный город. Заносчиво-державный, он будто подавлял окрестности, горделиво спорил с горами, даже будто и с небом. Вот так церквушка или церковка! И внутри тоже роскошь — бронза, мрамор, позолоченные резные кафедры,

библейские сюжеты на стенах, плафонах, выписанные умело и с размахом, однако в тут чужеродной, что ли, немецкой, чересчур экзальтированной манере. Все, может, и красиво, однако победной, чуждой этой местности красотой. Но указатель не обманул: в глубине пустынного собора скромно притулилось трогательное строенье из природных, необработанных камней, чем тут усеяны дороги.

Вот она и цель пути, мне подсказанная внутренним чувством. Конечно, это часовня, что Французик когда-то возродил своими руками. Там-то как раз никаких украшений, только его портрет в полный рост (может, икона?) на деревянной доске: тоже скромный человек, то ль в рясе, то ль каком-то странном балахоне, даже безликий, по крайней мере, без особых примет, с чуть, кажется, растерянным видом. Конечно, это он: так я себе и представлял нам теперь необходимое величье. Часовня, плод искреннего труда, заключена в панцирь, словно это сухая корка, нарощая на его стигматы, — кажется, так называют ангельские отметины. (Как всегда, пришла в голову дурацкая метафора: бывало, закажешь в ресторане омара, а в пафосной скорлупе еды окажется с гулькин нос. Здесь то же, если брать только размеры.) Не думаю, что какие-то власти (как минимум региональные, или же храм воздвигнут на пожертвование какого-нибудь миллиардера-патриота из бывших местных) руководствовались лучшим намереньем — оберечь и сбереечь беззащитную крупицу духа. Скорей отгрохали эту махину для привлечения туристов, которые, к счастью, пока сюда не торопятся. Но для меня она будто наглядный пример, даже символ спонтанного формообразования. Тут меня настигла острая жалость к Французику: что этот храм, как не предательство? И сколько раз его наверняка

предавали, как водится, ученики, облекая формами его искренний путь! Но все ж трепетная легенда до конца не убита, не похоронена в этом столь импозантном саркофаге, — мне уже пришлось убедиться, что она тут жива, и вскоре еще раз убедился.

Недалеке от храма, на излучке пустынного шоссе, стоял ресторанчик, вероятно, тоже приготовленный для будущих туристов, — на здешнюю малоимущую клиентуру надежда плохая. (Даже, думал, и название у него туристическое, что-то вроде «У Французика», оказалось — «Джинстрель», как называется тот самый желтый кустарник, которого нигде больше не видал, кроме как здесь.) Конечно, в средневековом стиле, — а может, действительно бывший замок мелкого синьора, который — по-моему, уже говорил — странствующий рыцарь мог запросто перепутать с корчмой (как мы знаем, случалось и наоборот). Харчевня или все равно какой пункт питания, мне была кстати: пришло обеденное время, а мой организм работает как часы, то есть привычки укореняются даже на физическом уровне. В темноватом зале немногие посетители (где-то, наверно, пяток), — судя по их одежде, местные, — меня встретили приветственным кличем. Подумал: с чего бы? — может, решили: вот наконец и турист? Но нет: они приветствовали драного пса, который, дождавшись меня у храма, так и не отставал ни на шаг, — трудно сказать, чем я ему приглянулся. (Меня и вообще любят животные непонятно за что.) Здесь его хорошо знали — кидали косточки, называли «братец волк» («фрателло лупо», как не понять? что ли, тот самый людоед, вразумленный Французиком, или его дальний потомок? или ж с тех пор укоренился обычай так называть волкообразных собак?)

Меня заметили, наигравшись с волком, когда я уже доедал склизкие макароны, которые вообще-то терпеть не могу, — но кроме них ресторанчик предлагал только пиццу, уже от вида которой меня тошнит. Стали шептаться: Французик, Французик. Коль угодил в сказку, легенду, даже мысль, что меня приняли за Французика, не выглядела такой уж дикой. Но оказалось, что слухи в этой провинции разносятся с невиданной быстротой. Былые однокашники Французика (см. запись № 13) уже раззвонили, что какой-то чудак готов купить его дом. Под этот шепоток за мой столик присел мужчина в черном костюме и белой рубашке с траурным же галстуком. По скорбному наряду и плаксиво-торжественному выраженью лица я принял его за гробовщика. Выяснилось, нотариус, — он дал мне визитку. (Понятно, что грустный, работенки тут для него мало.) Английским он владел недостаточно, а местный я только чуть понимал, но, конечно, сообразил, о чем речь. Пока нотариус шикарно раскатывал свои треченто-кватроченто-чинквеченто (звучит как музыка, как эстетика, а всего-то числа, цена покупки в тысячах евро или долларов) и мне подсовывал какие-то прайс-листы, я только твердил «ноло, ноло», хотя было б забавно сбить цену с чинквеченто до треченто. Наконец он понял, что сделке не состояться. Я решил уточнить напоследок: «Верно, что там родился Французик?» Потерявший ко мне интерес делец, рассеянно ответил на инглише: «Если даже и нет, мы верим, что родится». Вот и пойми их.

Владелец кабачка указал короткий путь к моему хостелу. Сколько плутал, а тот оказался в двух шагах, если идти верной дорогой. Все, теперь лягу спать, уже в окне розовеет

верхушка горы и на ближней ферме робко вякнул ранний петух. Запечатлел как смог столь насыщенный для меня день, значит, и эта ночь для меня не пропала.

Запись № 16

Сегодня вновь неприкаянные творцы делились плодами вдохновенья. Я, как обычно, был только слушателем и зрителем, хотя последнее время наша милая хозяйка все настойчивей меня подбивала тоже выступить. Ненавязчиво, с улыбкой, но я догадывался, что мое затаенное или утаенное творчество впрямь возбуждает ее любопытство, — может, и большее, чем сюрприз, который нам посулил магаметанин. Пожалуй, смог бы, — в смысле, что мне есть чем поделиться. Я не о том, чтобы зачитать вслух вот эти листки, которые приблизительный, неточный след во мне зреющего мыслеобраза или даже не знаю, как определить. Когда в анкетке назвался художником, себя чувствовал немного шарлатаном, но во мне действительно нечто происходит, идет какой-то процесс, который можно бы назвать творческим. Вызревает то, что я б поименовал «Мечтой о Французике» — цельный образ местной (притом, по моим-то понятиям, эпохального значения) легенды, но не как ее повторенье: уверен, что образ не искаженный, но будто мною уже природненный, весь опутанный моими надеждами, чаяньями и сомнениями, пронизанный или, скажу, согретый, моей то вспыхивающей, то словно гаснущей мыслью. Но эта пока только зреющая фантазия

(так я сначала ее называл, но «мечта» вернее), слишком интимна, невыразима письмом, а уж тем более устно. Что ж касается девушки, так деликатно администрирующей культурой, то наверняка она личность куда более чуткая, чем сперва кажется. Как-то поняла, наверно, мою мечту. Иль, может, и хотела нас всех заразить мечтой о Французике. Если так, то ей хотя б отчасти удалось.

К примеру, испанец не отказался от намеренья сочинить долгоиграющий сценарий о Французике. Именно сегодня нам пересказал одну серию будущего телегиганта. Еще, как я понял, не написанную, а только задуманную. Видимо, было нечто вроде первой прикидки, поскольку начал он не с рождения героя, не с его прозрения, а с где-то, видимо, середины биографии. Я-то не сценарист, даже не компетентный зритель, но и так понятно, что из всей жизни Французика испанец для начала выбрал самый наверняка эффектный, наиболее сценичный эпизод — его попытку обратить в ту веру, что он считал истинной, какого-то африканского тирана, иные из которых за века не сменили ни образа жизни, ни одежды, ни повадки, — поэтому не ясно, был ли это султан, президент, премьер, партийный лидер или, может, полевой командир. Историю испанец, конечно, не сам выдумал, поскольку наш повар, иногда выглядывая из кухни, ее дополнял подробностями.

Тут тебе все атрибуты приключенческого кино: путешествие в Африку на парусном кораблике, пиратский набег, дорога пустыней, кишашей хищным зверьем и скорпионами (или не знаю, какими гадами). Наконец кульминация — диспут о вере с полевым султаном. Даже не называть диспутом, поскольку Французик опять предпочел

слову поступок: призвал служителей здешнего культа, чем тратить слова, отдаться Божьему суду: совместно пойти на «испытанье огнем», так доказав приверженность своей истине. Но те, коль верить легенде, уклонились. Султан, понятно, не сменил веру, но благородно отпустил Французика с честью, выдав ему охранную грамоту. Видно, в нем ощутил нечто особое. Тоже, наверно, устал от фарисейских форм и стосковался по чистосердечию. Тем более что, как уточнил бельгиец, он был человеком образованным, вроде даже доктором философии одного из европейских университетов, то есть прогрессивно мыслящим.

Наш мусульманин, покинув свою лабораторию в сарае, тихо подошел к нам. Я это заметил, когда он бормотнул прямо над моим ухом: «Ложь, я б точно не отказался, — и помолчав: — Многие на это пошли» (тут, кажется, не употребил сослагательного наклонения). Чем-то он вызывает уважение. Видимо, человек впрямь готовый к решительному поступку. Могу ошибаться, хотя неплохо разбираюсь в людях, но мне в нем чуется именно что последняя решимость. Не исключено, злая. Но если и так, то все равно эта готовность его роднит с Французиком при, конечно, полной противоположности методов. (А цель не одна ль и та же?) Мы-то все ни рыба ни мясо.

Однако демонстрация талантов на этом не кончилась. Японка продекламировала очередной десяток хокку. Все, на мой вкус, ерундовые, кроме одного: «Он и тут и там, / Его никто не видел / Но все уверены, что он есть». Еще доказательство: у нас всех тут единая мечта. Что и японка ей причастна, я даже подумать не мог. Дело не только в том, что всех, кроме себя, привык считать бесчувственными

дураками (почему ж сам-то остался в дураках?), но все-таки иная цивилизация, со своими проблемами. Да и японка мне действительно казалась немного придурковатой со своей назойливой вежливостью, — культурное отличие вообще часто принимают за глупость. А современность, наверно, и впрямь глобальна.

Когда перекуривал с испанцем под грушей, тот спросил: «Что, не понравилось, ерунда?» Врать без толку (иное дело, с понятной целью) я плохо умею, оттого неопределенно повел плечами: был даже удивлен, как легко можно переиначить дивную, простодушную сказку в телевизионную попку. «Чепуха, конечно», — кивнул сценарист. — А знаешь, какая из легенд о Французике главная, проникновеннейшая?» — «Как он проповедовал птицам? — ответил ему, действительно глубоко тронутый этим преданьем. — Или ты про ангельские клейма?» — «Они хороши, но вот представь: Французик с каким-то своим фрателло идут по дороге. Зимняя ночь, холод, оба одеты только в балахоны из рожи, в сандалиях на босу ногу. А зимы тут, поверь мне, я знаю, сырые, промозглые. По слякоти бредут к монастырю, где их ожидают тепло и пища. Фрателло спрашивает: “Французик, а что такое совершенная радость?” — “Если бы ты умел творить любые чудеса, даже и воскрешать мертвых, это не есть совершенная радость”, — сказал он. Некоторое время шли молча, потом еще сказал: “Если тебе будут доступны все знания, даже язык ангелов, и это не совершенная радость”. Опять идут молча, затем: “Если бы у тебя был дар проповедника, способного обратить всех неверных, и это не совершенная радость”. — “Но, учитель, что же тогда совершенная радость?” — “Мы скоро поступимся в монастырские ворота, и если сторож нас прогонит

с бранью и побоями, как надоедливых бродяг, а мы вновь отправимся в путь с весельем и добрым чувством, вот это будет совершенная радость”. Но такая история разве ж для телевидения? Себе представляю: темень, мокрый снег, хлюпанье жидкой грязи и полусшепот из темноты. Тут нужен гений режиссуры, а я пишу для ремесленников. Да и где они теперь, гении?» (А я что говорил? См. запись № 11.)

Согласен, пронзительная легенда, но не скажу, что она меня потрясла. Французик моей мечты точно так и должен был ответить. Но каков испанец! Вот уж не думал, что его проймет эта счастливая аскеза. Впрочем, как я могу судить об их духовной традиции? Что знаю о его стране, кроме инквизиции, конкисты и реконкисты, да еще немного о кровавой смуте тридцатых годов. Если приглядеться, в нем есть нечто веласкесовское. Может, это вообще современный, какой-то извращенный тип неудавшегося Дон Кихота хотя и практичного, даже хитроватого, но не без героических фантазий.

Сценарист меня и еще раз удивил. Закончив свою историю, он вдруг напомнил: «У вас тоже был такой, писатель». Я сперва не понял: «Да, его и называли Французом». «Нет же, бородастый, ваш пророк». Сразу и не сообразишь, кого именно из наших бородачей-пророков имел в виду. Но стало ясно, когда испанец добавил: «У него-то не получилось. Ушел, чтоб умереть, а не жить. Сейчас мог быть другой мир». Честно говоря, такая мысль мне раньше не приходила. Не знаю, прав ли он насчет другого мира, но и впрямь явное сходство: великий бородач был враг любых мнимостей и тоже пытался очистить от скверны благодатное предание (так усердствовал, что, пожалуй, его

стер в порошок), как и Французик, — не заключить какой-то новый завет, а возобновить прежний. Но разница в том, что он был велик и голос его громоподобен, а тот, другой, мал и тиха его проповедь. Бородатому титану не удалось зачать новую эпоху силой мысли и поучением, а удалось Французику кротостью и личным примером. Но и он вряд ли упасет человечество от ему назначенных бед. (Опять запутался во временах, даже не стараясь выпутаться.)

Признать, в ранней юности, я был увлечен, хоть и на очень краткое время, гуманным учением нашего пророка. Но как ему следовать? Если кругом грубость и хамство, как же не противляться злу насилем? Коль бьют в рыло, приходится отвечать, а то вовсе тебя изничтожат. Но, учитывая тайно во мне вызревавшее формоборчество, особенно меня тогда восхищало его страстное разоблачение любой фальши, срывание масок. Когда ж ступил на путь социального лицедейства, я придумал довольно забавный, по крайней мере, наглядный аргумент против чересчур уж страстного разоблачительства. Берем, например, диван, срываем с него обшивку и, указывая на грязную паклю и заржавевшие пружины, назидательно возглашаем: «Глядите, что такое диван *на самом деле*, какая мерзость!» А так же ведь и с людьми, с институциями, с любыми установлениями. Любого человека выверни наизнанку, и что увидишь? Слизь, кишки, смрадный ливер. Вообще-то разумный аргумент, но ведь человек — не диван, кроме ливера в нем есть еще и душа, как ее ни понимай. И все-таки я привел испанцу этот мой давний аргумент, для вящей наглядности заменив диван уютным вольтеровским креслом, стоявшим в гостиной нашего хостела. Тот посмеялся, и мы разошлись по комнатам.

Опять сижу возле окна и предо мной сладостный вид. Удивительно, что не устаю им любоваться. Уже много лет, как мне все мгновенно приедается — люди, книги, города, развлечения, любые жизненные ситуации, тем более пейзажи. Но этот разнообразен, чуток к погоде, ко времени суток. Совсем не занудный, всегда разный, в зависимости от освещения выражает все нюансы чувства. Иногда смотрится чуть суровее (нет, не то слово — скорей, серьезней, вдумчивее), чем обычно, но никогда в нем не чувствую безнадежность. Черная фигурка на скале иногда опять появляется (иль, может, это у меня теперь бельмо в глазу?), но не мрачная. Меня будто куда-то манит, то ль призывая к восхождению, то ль заманивая в пропасть. Но пропасти ведь тоже бывают разные: колодезь духа разве ж губителен?

Три дня ничего не записывал. За это время, вопреки сложившимся привычкам и распорядку дня, я успел посетить все места тут, хоть как-то связанные с Французиком: в конце концов пустился в погоню за мечтой. Карту памятных мест мне вычертили финны, на велосипедах исколесившие округу, и к тому ж любезно одолжили свой байк. (Надо сказать, что в их фотках, прежде бездушно красивых, словно появилась душа: теперь там сквозил романтический дух «мечты о...».) Побывал в монастырях и церквях как-то причастных легенде, вкатил тяжеленный байк на гору, где Французик был пронзен ангельскими лучами. По пути останавливался в корчмах, ресторанчиках, пиццериях и тавернах, везде расспрашивая о Французике, — кое-как,

разноязычными словами и общепонятными жестами; странным образом, мы друг друга понимали. Рассказывали охотно, причем иногда хитро подмигивая, уверенные, что мой интерес все ж преследует коммерческую цель. (Не войду ль и я в местный фольклор как чужак-иностранец, задумавший купить здешнее предание? Разумеется, меня тут приняли за американца: кто еще дерзнет на такую покупку? Думаю, неслучайно мне там и сям встречался на пути траурный нотариус, торжественный, как ангел смерти.)

Не потому ль, в рассказчиках мне чудилось некоторое лукавство? То ль они что-то недоговаривали, то ль, наоборот, выдумывали. Как и в рассказах нашей хозяйки было трудно понять, что ж такое Французик: слух? сплетня? миф? житие? И неизбежная путаница во временах. Иногда он будто отодвигался в глубину веков, то казалось, вот-вот появится в дверях в своей накидке и сандалиях. Употреблялось вперемешку давно прошедшее с будущим (отыскав на книжной полке в нашей гостиной учебник местного языка, я все-таки чуть разобрался в грамматике). Не знаю, ждут ли местные его второго пришествия или это вековечный образ, именно кочующий по векам, принимая всевозможные облики, воплощаясь в разных лицах, будто постоянно возвращая стремительно ускользающей современности вневременное предание.

Его якобы однокашников я повстречал целую кучу, встречались и соратники по ритуальным битвам с соседями (эти уж точно врали: обычай наверняка умер, когда те еще не родились). Не скажу, чтоб их рассказы чем-то обогатили мою мечту о Французике, мало отличаясь

от повсеместных школярских или же дембельских баек. Но любопытным было их представление о его юных годах: возникал образ обыкновенного паренька, не отмеченного ни особыми талантами, ни, наоборот, девиантным поведением. (И мне точно также виделись его ранние годы.) Но лишь речь заходила о зрелости, годах, последовавших за его прозрением (просветлением? или не знаю, как это назвать), сразу начиналось буйство фантазии. У меня просто голова закружилась от обилия им совершенных чудес, коих рассказчик был, конечно, свидетелем. (Подчас казалось, что мне его рекламируют как умелого иллюзиониста.) Не стану их перечислять: нынешние фокусники творят чудеса и похлеще. Мне-то милей Французик безо всяких чудес. Какая все-таки нелепость изображать иллюзионистом великого борца с глобальной иллюзией. Но, возможно, это в угоду «американцу», которые, как известно, падки на диковинные зрелища. А я, коль бы встретил Французика, не стал у него выпрашивать чуда, себе оставив неторопливое вызревание мысли и чувства, — пусть даже от них не дождусь плодов.

Конечно, я попытался распутать кудель времен (не дурная ли привычка?). Сперва ходил вокруг да около, потом стал допытываться впрямую: так где ж он сейчас этот ваш Французик? или где похоронен? Тут не было общего мнения, полный разброд. Как место жительства перебирали окрестные монастыри или ж уверяли, что сами видели частицы его мощей во многих церквях по всей стране — кто ноготь, кто фалангу пальца, кто ступню, кто ногу (руку) целиком. Если верить каждому, то священных деталей набиралось не на одно даже, а на два-три тела. С мощами и реликвиями часто бывает путаница, но, может, дурили

сознательно, издеваясь над иноземным торгашом? Адрес музея восковых фигур в ближнем городе мне уж точно указали на смех. Музейчик типично провинциальный, совсем небольшой: два кровавых императора, три борца за свободу, чьи бюсты я тут видел на площадях, одна знаменитая отравительница. И среди них аляповатый, кое-как раскрашенный Французик, маленький, робко улыбающийся человек, вразумляет волка-людоеда, действительно похожего на ту приبلудную псину. Казалось бы, форма без содержания, просто муляж, но все ж не до конца бездушный. Может, тому причиной наивная искренность его создателей, что я почувствовал от него сквозящий дух извечной новизны и вновь ощутил свежесть нами поруганных истин. И пахла фигура не воском, не музейной пылью, а луговыми цветами. По крайней мере, так для меня, плененного его легендой.

В монастырях, конечно, не отыскал Французика. Не слишком и надеялся: скромнейший, он и должен быть незаметен, избегать чужого, пусть даже не праздного, любопытства. Да и знал, что тот не сидел сиднем, а вечно странствовал. В здешних скитах мне чудилось, что он лишь недавно отлучился, и ушел не навек, а еще вернется. Но — когда? Только раз мне почудилось, что я все-таки уловил Французика. Там же, где он был когда-то отмечен ангелом, стоял человек странно похожий силуэтом на мое горное виденье. В лучах, рассекавших листву, будто небесные стрелы, он вдохновенно выпевал стихи. Тут бы никто, ни испанец, ни финны, ни даже японка, не усомнились бы, что их сочинил Французик. Его гимн славил Господа за солнце, воду, ветер, короче, за все блага и радости жизни. Я подумал: «Неужель не восславит Его и за смерть, чуждую мнимостям,

последнюю, достовернейшую из всех наших истин?» И тут прозвучало: «Laudatus sis, mi Domine, propter sogetem mortem corporalem»*. Моих знаний хватило понять, что смерть он назвал сестрой. Воспитанный в атеизме, крестившийся больше по моде, я тут себя почувствовал будто накануне мироздания. (Проклятая скудость моей, а возможно, и вообще людской речи, но более верных слов не подберу, чтоб выразить чувство. Я писал, что эта местность богата ракурсами, — так это именно тот, с которого жизнь выносима.) Ясно, что был не Французик, а, оказалось, студент-богослов, взявший темой диплома местночтимых святых. Он мне объяснил, пока мы сходили с горы, что ищет вдохновенья, на всех здешних вершинах декламируя вслух «Гимн брату Солнцу» (так назвал его). Записал мне в блокнот величание смерти...

Ну вот и все. Пора мне заканчивать литературные упражнения. Сюжет не то чтоб до конца иссяк, но уже не случайно запнулся. Очередная глава моей жизни дописана, и каковы ж обретенья? Не стал покупать его дом, — к чему мне косная недвижимость? — но отсюда увезу свою фантазию иль мечту о Французике, который живет во всех временах, а также и наклонениях. Она все-таки вызрела, я даже наавтра обещал ей поделиться как творчеством, со своими неприкаянными друзьями по жизни. Но теперь понял, что не решусь ее разделить с кем-либо. За эту невольную ложь, чистосердечный Французик меня, конечно же, не осудил бы, поскольку и никому не судья.

* Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу Смерть телесную (лат.). — «Гимн брату Солнцу, или **Хвалы Творений**» св. Франциска Ассизского.

Пишу на вокзале, ожидая утреннего поезда. Слова теснятся на последней страничке блокнота. Намедни перечитал дневник. Удовлетворенно отметил, что был старателен, добросовестен и, сколь можно, искрен, оттого удалось с некоторой все ж достоверностью запечатлеть свои дни. Надеюсь, что и сумел хоть немного передать аромат легенды, хотя этот чистый родник вряд ли дается любой письменности. По крайнем мере, я-то чувствую исходящей от блокнотика легкий розовый аромат (правда, тут он меня всегда преследует). Потому, сперва решив его оставить на вокзальной скамейке, все-таки захвачу с собой как память.

Я ушел из хостела ночью, тишком, когда все уже спали, попросту сбежал, — лишь на прощанье погладив котенка, который грустно мявкнул. Не только потому, что не хотел делиться моей созревшей мечтой. Но я вообще терпеть не могу прощаний. Как стремительно приобретаю привычки, так же быстро готов от них отказаться. Стоит закончиться этапу существования, я расстаюсь напрочь, единым махом, с людьми, городами, местностями и обстоятельствами. Мой дневник выглядит тем достоверней, что если б писал роман или повесть, то не упустил бы целую связку сюжетных возможностей, включая и криминальные. Это правда, что я не заслужил настоящих врагов, но все ж многим досадил, на пути к жизненному успеху кое-кому оттоптал ноги. А в моей среде нравы жесткие и народ мстительный, — могли б и здесь добраться. Не знаю, что меня теперь ждет на родине. Впрочем, отмажусь, как не раз бывало.

Я упустил не только романские, но, в погоне за мечтой, и жизненные сюжеты: не стал для страждущей Эвы хотя б мимолетным Адамом (перед уходом, пробравшись в ее комнату, я зачем-то оставил ей в дар чуть подгнившее яблоко); не попытался соблазнить (для меня это слово звучит чересчур церемонно, но более грубого девушка не заслуживает) очаровательную хозяйку, — в прежние времена такое было б невозможно; пропустил мимо ушей поэтические творенья бельгийца (может, он и впрямь талант?); на полслове прервал беседу с умным испанцем; толком не заглянул в душу сокровенным финнам, не говоря уж о японке, которую наверняка несправедливо записал в дурочки. (Ну вот, начал дневник с оправданий, ими же и заканчиваю. Видимо, такова натура, совестливая, но, должно быть, в силу инертности, неисправимая.)

А уж таинственный мусульманин и вовсе мог стать чуть не главным героем. Был миг, мне показалось, что этот сюжет сам собой разрешился. Когда я во тьме крошечной, ориентируясь по звездам (казалось, их не должно б остаться после таких звездопадов), направлялся к станции, вдруг за моей спиной грянул воистину адский взрыв. Сперва, в своем эсхатологическом настрое, я подумал, что пришел конец света. Потом, что басурман подорвался в сарае своей взрывчаткой, — вероятно, с нашим пансиончиком вместе. Но тут все небо расцвело огнями — с пронзительным свистом взлетали ракеты, сыпались искры, рассыпались шутихи, в небесах крутились огненные колеса. Так вот его сюрприз! Действительно грандиозное файер-шоу, ставшее для меня прощальным салютом.

Уже поезд. Со мной перезвоном прощаются ранние колокола. Прощай и ты, Французик, которому одним только простосердечием удалось отменить уже всем опостылевшую эпоху. Или когда-нибудь это удастся. Может, я сюда еще и вернусь на другом жизненном витке, кто ж его знает?

**Блокнот из кожи,
с золотым обрезом**

Запись № 1

Никак не думал, что меня вновь потянет писать. Тот порыв к бумагомаранию, мне навеянный благословенной местностью, которую назвал родиной своего духа, так же неожиданно иссяк, как нежданно явился. Это, казалось, было ярким отступлением в скобках или какой-то удивительной вставкой в довольно скучном, признаться, хотя и во многом назидательном, романе моей жизни. Романом воспитания его не назовешь, ибо его герой вовсе не копит мудрость. Скорей, подобьем плутовского романа, поскольку мне, человеку, в общем-то, по природе чисто-сердечному, пришлось научиться и хитрить, и вилять, и дурить людей, следуя подчас прихотливым извивам своей углеводородной биографии. Но еще точнее я б его определил как роман разочарования. Не знаю, как в литературе, но в жизни это, наверно, самый частый жанр.

Разумеется, я не забыл Французика, даже более того, этот едва уловимый образ (сон? мечта? надежда?) с тех пор хранится как драгоценная залежь, в самых интимных глубинах моей памяти. Именно интимных, какими нет ни желания, ни нужды с кем-либо делиться. Произнес это заветное имя, и как-то полегчало на душе и рука бойчей заскользила по блокнотному листку. Уверен, что именно эта было пригасшая мечта, иль надежда, вдруг очнувшись, меня вновь побудила к письму. Впрочем, должен признать, это довольно увлекательное занятие, особенно графомания, никому ничем не обязанная, творящая безответственные миры, устроенные вкривь и вкось, но тем

самым и обаятельные, как детский рисунок. Вот и я, графман, обновляю блокнотик, не копеечный, как тот первый, а из наверняка элитной, дорогой кожи, с золотым обрезаем — льстивый подарок подчиненных на какой-то праздник. Впрочем, это вовсе не добавляет ответственности.

Честно говоря, вернувшись из того путешествия, я испытал вперемешку с грустью скороспелой ностальгии еще и облегчение. Ведь, признаться, не выношу слишком длительного накала чувства и мысли, как и упоения великими мнимостями, которые дарит искусство. Поэтому у меня даже и мысли не было остаться навсегда в своем «парадизо», лишь себя хотел освежить новым чувством. К тому ж, запутавшись во временах, чем обильно иноязычье, со всякими их сослагательными в давно прошедшем или прошедшими в будущем ненаступившем, я даже испытал удовлетворение, вновь очутившись в своей привычной триаде настоящего, прошлого и будущего, пусть даже прошлое горчит, настоящее не вдохновляет, а будущее не сулит радости. Зато все здесь, в родном краю, который люблю не страстно, но глубоко, как, к примеру, любил свою престарелую бабушку, все обжитое, обчувствованное, если можно так выразиться, вдоль и поперек. Прежде-то я и вовсе не умел путешествовать: будто сам я так и оставался на месте, в обрамлении привычного, а перемещался в пространстве мой, что ли, астральный двойник в качестве чуть тревожного наблюдателя чужой жизни. (Наверно, следствие моей телесной инертности при некоторой живости ума и попросту неугомонности воображения.) Еще б не тревожного, коль все чуждое — язык, обычаи, нравы, само устройство жизненного пространства, где так легко сделать неверный шаг. И тогда если и не катастрофа,

так позор. Дома же всегда вписан в привычный абрис. Иль, проще сказать, тебе вольготно, как лягушке в родном болоте.

Вернувшись из моего «парадизо», еще исполненный мечтой о Французике, я был поражен, сколь неизменной осталась здешняя жизнь. Та же самая довольно унылая, приевшаяся картинка, ни даже тихой вести, ни самой мельчайшей приметы обновления эпохи. И еще разочарование: я вновь убедился, насколько незначителен даже в том достаточно узком поле жизни, где обитаю. Мои друзья вроде даже и не заметили моего отсутствия. Я-то вернулся из удивительного пространства совершенных смыслов, для них же миновал обычный трудовой рутинный месяц. Но еще обидней, что не заметили враги, которых я полагал вечно дьячками. (Истинно, истинно я так ничтожен, что и не заслужил настоящих врагов.) Я-то себе воображал детективные сюжеты с погонями и перестрелками в духе грозных девяностых. Разумеется, жутковато было, но я взращивал в себе героический кураж, да и не так уж цепляюсь за жизнь, теперь клонящуюся к закату. Я ж в душе книжный романтик: почему б, думал, не завершить существование криминально-героическим аккордом? Хотя все-таки надеялся, что пронесет. Так в результате и вышло, для своих якобы врагов я, видимо, оказался невеликой досадой. А вот подчиненные, как сейчас называют, офисный планктон, мое отсутствие, конечно, заметили. Ясно, что без начальства вольней жить. Теперь спуют с холуйскими улыбочками, а небось думали: хоть бы он пропал навсегда. Не осуждаю, раньше и я в таких случаях вспоминал старую поговорку: «Была бы шея, хомут найдется».

Вот сейчас подумал, отчего всегда себя ощущал личностью исключительной, если и не замечательной, то по меньшей мере примечательной? Это было всегда глубочайшим моим убеждением, настолько твердым, что не требовало доказательств, которых, признаться, и не было. Не в том ли дело, что, единственный, притом поздний ребенок в семье, я в детстве был окружен даже чрезмерной любовью родных душ, граничившей с поклонением? При такой любвеобильности родных я им, кажется, виделся даром Божиим, каким-то чудом, осчастливившим вполне скромную семью самим фактом своего рождения. Подозреваю, что мое довольно умеренное вундеркиндство (сочинял стишки, слегка музицировал на пианино по слуху, почти с младенчества озадачивал старших «взрослыми» вопросами) им виделось зачатком выдающихся талантов. Стыдно, стыдно, что я так и не оправдал их невысказанных из деликатности надежд, но все они давно ушли, один за другим, тем испещрив мою душу рубцами и шрамами, зато сколько у меня сейчас небесных заступников. Но в этой-то жизни мне теперь отчитываться не перед кем, кроме своей совести, которая, прежде снисходительная, под старость делается все ворчливей. В общем-то, могу сказать, что без этого внушенного чувства своей ценности вопреки любым разочарованиям, моя жизнь давно бы сошла на нет — приелась бы до чертиков, окончательно рассыпалась в труху разрозненных фактов. Да и само право на жизнь мне пришлось бы бесконечно подтверждать и доказывать. Ну и хватит об этом. Приму свою значительность в жизни за аксиому, заодно подтверждающую мое право писать, то есть так или иначе запечатлевать свое существование, хотя б только для себя лично. (Начертал

с маху, что никому не подотчетен, но ведь теперь пишу нечто подобное отчету. Кому? Допустим, молчаливому и пускай равнодушному Созерцателю Нашей Жизни. Если не предположить Его, можно и вовсе заплутать среди своей душевной мути — постыдных страстей и бессильных порывов к добру и милосердию.)

Сейчас вспоминаю, каким трепетным я вернулся из овечьей Французиком местности, и подхваченный там мотивчик мне слышался еще долго-долго. Даже попытался о ней рассказать знакомым, понимая, что без толку, но чувства распирали, надо было поделиться хоть с кем-то. Да еще мой с недавних пор невротический страх потерять прошлое, причина которого — возникшее недоверие к своей памяти. Теперь, с годами ослабевшая, она способна подменить факт вымыслом или перепутать что-нибудь важное, — значит, надежнее будет хоть с кем-нибудь ею поделиться. (Честно говоря, я иногда и вовсе терял уверенность в собственном существовании.) И к тому же тема «как я провел отпуск» считается в моем кругу благопристойной, респектабельной и, можно сказать, коммуникативной, то есть весьма пригодной, чтоб от нечего делать почесать языки, — а я всегда был озабочен социальной мимикрией. Ну и что получилось в моем пересказе? Жалкий лепет, набор банальностей! Да и как передать аромат цветущих роз, переключку горных колоколов, благородную простоту старинных часовен, не дидактичность, а, наоборот, проникновенность легенды, и в первую очередь — зыбкое предчувствие обновляющегося мира? Короче говоря, лишний раз убедился, что из меня никакой проповедник, — хотя профессия меня научила излагать мысль кратко и внятно, однако совсем не умею воспламенить

сердца. В целом вынужден признать, что я человек с довольно бездарной речью, крепко «приработанный» к повседневности, — кажется, лучше всего мне удаются похабные анекдоты. Но тут виной не только бедность моей речи: как удивишь людей, объездивших «весь мир» и теперь жаждущих какой-то невероятной, изощренной, экзотики, подобно филателистам, гоняющимися за униками?

Откладываю блокнот. Мне уже два раза подмигнул распорядитель, значит, теперь моя очередь произнести здравицу в честь юбиляра. Дело привычное: у меня уже давно заготовлена речь из штампованных славословий, равно подходящая для всех похорон и юбилеев, лишь меняя имя-отчество. В таком пустозвонстве я уже обрел достаточный опыт.

Запись № 2

Может быть, с похмелья (следствие вчерашнего юбилея, которые теперь как никогда обнажают душу), у меня возникла горделивая мысль: а может, я действительно писатель? (Надо сказать, что у меня с похмелья приходят как раз самые трезвые мысли.) Не в том смысле, что беллетрист. Как раз антибеллетрист: рассказывать байки мне вовсе неинтересно, да они, кажется, все уже рассказаны и пересказаны многократно. И, так сказать, материальные события моей жизни не рожают вдохновенья. Попытался вести дневник, чтобы взять на учет каждый свой прожитый день, чтобы не потерять ни единого, их нанизав

на ниточку, словно бусины, подобьем ожерелья. Но, видимо, не отыскал прочной, путеводной нити. Так они и остались бессмысленной грудой фактов сомнительной ценности. (А не в том ли еще дело, что каждый мой день уродлив, и вышло б нечто вроде ожерелья из кариесных зубов на груди какого-нибудь людоедского царька? Да и необходим ли дневник для учета прожитых дней? Довольно было б страницу за страницей переписать мой органайзер делового человека.) Чтоб стать бытописателем, у меня недостаточно зоркий глаз, все-таки малая увлеченность жизнью, а главное — презрение к деталям.

Но зато подоплека моих литературных позывов глубинная, самая что ни на есть исконная — бегство от наступающей реальности. Имею в виду не мелкие неприятности, заботы и заморочки вечно тревожного существования. А ту реальность, которой всегда предстоим. Да, именно ту самую, нам грозящую острым лезвием косы. Ту, что рано или поздно ухватит за шкуру любого Анику-воина среди таинственных полей так нами и не познанной жизни. Уверен, что это и есть единственный стимул подлинной литературы (кроме, разумеется, необходимой писателю доли эксгибиционизма), если она не просто «литература»: попытка растворить алчное время в вечности запечатленного мира, каким бы тот ни был кривобоким.

Знаю, что смерть не тема для беседы. Когда мне случилось заводить о ней разговор с ближайшими друзьями, те либо смущенно посмеивались, либо с показной бодростью меня хлопали по плечу: мол, не ной, старик, еще поскрипим. Или же отделивались каким-нибудь еврейским анекдотом. Звучало бодро. Причем я вовсе не хотел им испортить настроение своим неожиданным *memento mori*,

но, признаю, в этом была и провокация: мне отчего-то требовалось, чтобы эти люди, укорененные в жизни куда прочней меня, тоже поверили свое бытованье этой неизбежной реальностью и чтобы ужас хоть бы на миг озарил их самодовольные лица. Нет, я все-таки не люблю людей, вопреки своей прохладной филантропии. Ведь только в себе признаю тонкую, ранимую душу, взыскующую небесных гармоний, а коллеги мне и вовсе видятся тупыми свиньями, заживевшими от углеводов. Но так ли уж они прочны, так ли самодовольны, эти прежние интеллигенты типа «возьмемся за руки, друзья»? Под слоем жира, как в прямом смысле, так и метафорическом, у них почти наверняка таится трепетная душа, робеющая и жизни и смерти, — это мой наверняка грех, что лишь себя чувствую внутренней личностью, в других невольно предполагая лишь только поверхность. С какой стати они должны передо мной распахиваться? Да и сам я на общих фото ничем от них не отличаюсь, тоже свинья-свиньей с нахальной физиономией супермена.

Как трактуют смерть различные веры, верованья и поверья, я знал еще едва ль не подростком, замусолив купленный у спекулянтов за ползарплаты двухтомный словарь «Мифы народов мира» — мечту тогдашнего интеллигента, в ту пору, так сказать, врата духовности. Но это чтение меня лишь укрепило в моем природном агностицизме. На мой вкус (верней, на мое чувство) религии мира оказались чересчур утешительны, включая пессимистичнейший буддизм: даже перспектива загробных мук и утомительной чреды бессмысленных рождений для меня отрадней предстояния мраку кромешному. А разве не так?

Примерно в ту же пору с еще не растраченным любопытством я вгрызался в пропахшие пылью и ученостью тома «Философского наследия», тоже приманку для тогдашних неофитов интеллектуализма (страна была дикая, притом алкала истины). Но для великих умов смерть всегда становилась даже не запинкой мысли, а полным ее провалом. Она (мысль, имею в виду) будто взвихрялась вокруг этой коварной пустоты (разумеется, не полынни духа, а черного колодца, смердящей тленом могильной ямы), обретала опасную мощь в тщетных попытках вернуться от неизбежного. Короче говоря, сплошные разочарования! Стоит ангелу смерти взмахнуть крылом, тут уж равно бессильны и мудрец, и простец. А я между ними где-то посередке.

Сознав в еще нежном возрасте становленья личности, что мне конечную истину никто не поднесет на блюдце, я все-таки сохранил интеллигентское уваженье к учености. В фантастические девяностые, время, подобное волшебной сказке (именно исконной, не приглаженной европейскими гуманистами-просветителями, то есть сочетавшей древний ужас с исполнением, казалось, невозможного), слегка разбогатев на пошиве зимних курток, я спонсировал один высоколобый журнальчик, сочетавший некоторую резвость мысли с тогда модным ерничеством (называлось постмодернизмом, как мне снисходительно объяснил редактор; ну, умникам видней, что там наступает после нового). Его издавал мой одноклассник и товарищ по юношеским беспутствам, безделью и разному мелкому свинству. В юные годы я был уверен, что у него в голове ничего и быть не может, кроме пьянки и баб. А вот однако ж. Видимо, он, как и я, обладал

стыдливой и сокровенной душой. Из-за этой внутренней застенчивости мы с ним, можно сказать, так и не встретились, — общаясь чуть не ежедневно, как-то разминувшись в мысли и чувстве. Кстати, он оказался недурным писателем. Я не без интереса старался воспринять его угрюмые, эгоцентричные, заносчивые, но притом вдохновенные медитации, хотя ни одну его книгу, признаться, не дочитал до конца. Кажется, они и не были для этого предназначены.

Короче говоря, в эпоху осуществленных утопий, я помог старому другу исполнить его собственную. Тогда я был щедр, готов любого облагодетельствовать, никому не отказывал в подайнье, поскольку еще стыдился богатства, хотя б и весьма относительного. Жертвовал средства на борьбу со СПИДом, на обустройство беженцев из ближнего зарубежья, на то на сё да и просто подавал всяким жуликам, кто попросит. Расставаясь с деньгами, испытывал приятное чувство служения человечеству, а также и превосходства над людьми менее удачливыми (интеллигенция в ту пору и вовсе скисла). Воспитанный родными в презрении к материальному, я к тому ж этим старался, «облагородить» деньги, придать дензнакам, так сказать, этическую ценность. Помню, дружески глумился над благонамеренными, но и беспомощными интеллигентами: что толку в ваших благих намерениях при отсутствии средств, хотя бы материальных? Возьмем простейшее: шкаф подвинуть — нет сил, телевизор, к примеру, починить или, там, телефон — нет умения, просто гвоздь забить в стенку — и то не хватает навыка, помочь нуждающемуся — так самим жрать нечего. Мол, какое-то, выходит, виртуальное благородство! Конечно, с моей стороны

тут не без подлости: обнищавшие интеллигенты были вынуждены терпеть это ласковое глумление, в душе понятно куда меня посылая.

А журналчик на короткое время вошел в моду, видно, попал в резонанс той расхристанной эпохе, исполненной черного юмора. Благодаря ему, на каких-то презентациях и симпозиумах я познакомился с самыми отпетыми тогдашними умниками, потрепанными и горделивыми, упоенными собственным мышлением, к которому были по-детски доверчивы, потому неспособными услышать другого. Однако напополам с презреньем я чувствовал и некое благоговенье пред бескорыстьем их мысли и непрактичностью интересов.

Все это давняя история. Те звонкие времена нечувствительно откатились в прошлое, и мой друг, не стяжав литературной славы, запропал в очень дальнем зарубежье, где, по непроверенным слухам, либо профессорствует в каком-то университете, либо развозит пиццу, либо трудится лесорубом в озерном крае (всё занятия его достойные с разных сторон). О нем, как и об умном журналчике, я давно позабыл среди суеты моих дней, но вспомнил совсем недавно, задумав некую интеллектуальную каверзу или, может быть, провокацию. То есть под эгидой своего Благотворительного фонда поддержки наук, искусств, книгоиздания и народных ремесел, который, несмотря на громкое наименование в последнее время больше бездействует по причине как моего личного, так и всеобщего финансового кризиса, провести научную конференцию с темой возглашенной четко и внятно, как мене-текел: «Смерть!» (именно так, с восклицательным знаком). Нынешним мыслителям уж от нее не отмахнуться, как моим немудрящим

лжедрузьям и коллегам. Вот я и полюбуюсь современным стилем уверток от абсолютной реальности, погляжу, не смахнет ли крыло черного ангела самодовольства хотя б с их вдумчивых лиц. И все ж, так и не изжив природного оптимизма, надеюсь, что их коллективный разум мне окажется подмогой в моей личной тягбе с этой последней, разумеется, неотвратной реальностью.

К чести ученых умников, мой вызов приняли все до единого. Некоторые, наверно, в память о моем журнальчике, где им когда-то впервые удалось высказать орби и урби свои маргинальные, дерзкие в ту пору соображения, теперь ставшие почти догмой. Но не исключено, что среди них попадались также и настоящие романтики мысли, сознательно отважившиеся на это истинно роковое испытание интеллекта.

Ну а пока и хватит о смерти, кыш до поры, траурный ангел! Она ведь тайная подоплека литературы, а когда выныривает на поверхность, письмо обращается нытьем и пустопорожным ковыряньем болячек. Мерзкая погода, вот и пасмурно на душе, а я все более подвержен климатическим перепадам. В окне сырой, угнетающий душу, невдохновенный ландшафт, скучный урбанистический кубизм престижной городской окраины, без легенды, символики духа. Все тут грубо и зримо, плоско и однозначно, безо всякой, разумеется, глубины, какой-либо метафоры, тем более метафизики. Не лакомство для души, а только для нее растрava. Лишь иногда в заоконной унылой хмари, как с палимпсеста начинают сквозить мной покинутые взгорья, поросшие желтым кустарником, имя которого звучит также музыкально, как наименование «свирель». А в каком-то облаке я вдруг

прозревал контур Францулика, — именно контур, как на осыпавшейся фреске, меня поразившей своей разоблаченной экспрессией.

Откладываю блокнот, ибо призывают дела, или, точнее, обязанности — и то и другое в кавычках, разумеется. Уже опаздываю на заседание какой-то там либеральной платформы, что посещаю только для, так сказать, поддержания связей, вовсе не будучи либералом да и вообще ни имея твердых политических взглядов, которые нынче непозволительная роскошь. Да если б даже имел, все равно испытываю отвращение к всевластной на любых зицунгах бюрократической скуке, а государственных либералов искренне презираю. Уверен, что и они меня. Кажется, мы все там гнушаемся друг другом за трусливый конформизм и приспособленчество, оттого и перемигиваемся с кривыми стыдливо-заговорщицкими ухмылками.

Запись № 3

Сегодня утром напоминание о Француике — сразу два письма в моем электронном ящике, где редко нахожу что-то путное; как правило, набит под завязку информационным мусором: рекламой понятное дело, политическими декларациями и всякого рода попрошайничеством. Очередное доказательство (конечно, имею в виду эти приятные мне послания, а не мусор) в высшем смысле этичности современных средств связи. Кажется, богословы всех

конфессий в этом не уверены, как и я сам, человек консервативный, подозрительный к любым новшествам. Я ж не виноват, что люди всегда норовят обратить любое техническое изобретение или, к примеру, гуманную идею в самую непристойную, изощренную пакость. Но все ж и в том и другом, бывает, теплится хоть малая искорка благодати.

Послания тем более мне важные, что я иногда начал сомневаться: впрямь ли побывал в «парадизо» или он мне пригрелся как соблазнительный образ моей индивидуальной утопии, — и я чувствовал, что во мне угасает легенда. Во-первых, я получил весьма лаконичное письмишко от польки с трудной судьбой: «Где ж ты был, Адам? Твоя Эва», — и в конце дурашливый смайлик. Так я верно почувал, что немного входил в ее женские планы? Или это не игривый намек, а тут какое-то глубинное и даже эзотерическое лукавство? Ведь талантливая художница, как я однажды убедился, в своем творчестве вовсе не простодушна. Во-вторых же, японка меня одарила своим кратким стихком (вообще-то их было несколько, но только один заслуживал внимания): «The stranger was eat by a night. / When the morning came, we discovered / That this view missed something». Что в моем переводе с ее бедноватого и малограмотного английского звучит, как: «Незнакомец растворился в ночи. / И мы заметили поутру, / Что теперь в пейзаже нехватка». Первая строка, конечно, навеяна американским хитом, но кто ж такой в данном случае этот незнакомец (странник, иностранец)? Тут не намек ли на мой ночной побег из горного хостела под громовые раскаты прощального фейерверка? В японке я уж точно не замечал никакой

игривости, но разве способен понять иноприродное выражение чувства? И все-таки с моей стороны было бы почти безумной гордыней думать, что я важная потеря для того дивного пейзажа. Скорей я там себя чувствовал излишней подробностью, к которым сам-то всегда невнимателен.

Я плохой разгадчик женских душ, но обе эти весточки так или иначе свидетельствовали, что и я не забыт своими, казалось, случайными соседками по горной гостинце. Что между нами сохранилось некое братство, или, верней, в данном случае сестринство; а главное, что они, как и я, не расстались с мечтой о Французике, туманно-таинственной и манящей, как сладкое сновиденье. (Вот какие изысканные, непривычные мне, вовсе не искушенному в грамматике и лексике чувства, слова вдруг подвернулись под мою торопливую руку, стоило помянуть Французика.) Он ведь и странник, и иностранец, и незнакомец, и, пожалуй, призрак, таящийся в ночи.

Что же до остальных обитателей пансиончика, то вдумчивый испанец так и не подал о себе ни единой вестки. Это жаль: мне казалось, что мы с ним понимаем друг друга и равно увлечены легендой, пусть он и отчасти меркантильно. Пиротехник, мне показалось, разок мелькнул на телеэкране в сводках о европейском теракте. Не уверен, конечно: эти бородачи для меня все на одно лицо. Не думаю, что это был наш мусульманин, видно, попросту слегка всколыхнулась моя тогдашняя тревога, рожденная его странным и опасным занятием. А вот финская чета меня уж точно не забыла, присылала время от времени свои фотоснимки. Но их панорамы теперь казались бездушно, обобщенно красивыми, в том смысле что мало отличались

от навязшего туристического гламура. (Может, и сделаны для какого-то путеводителя.) Романтический городок, где время спорило с вечностью, на этих фотках потерял свою проникновенную, лирическую музыкальность. А что остается от той местности без мелодии Французика? Прелестную хозяйку я поздравлял со всеми праздниками, и церковными, и гражданскими; поздравил и с «шахматным» Днем независимости от неведомых, уже позабытых захватчиков. В ответ получал только рекламные картинки с изображением удивительных взгорий, где, правда, будто намек, всегда маячила едва заметная фигурка в плаще из грубой мешковины. Для нее, возможно, все мы были обычными постояльцами, одними из многих. Но для меня-то девушка, в которой я задним числом прозрел чуть грубоватый облик Мадонны из местных часовен, навсегда осталась хранительницей спасительной легенды.

Вернувшись из своего путешествия, еще исполненный легендой (можно сказать, что я Французика захватил с собой, и его мелодия, инфантильная, дурашливая, первые дни была неотвязна), я старался разглядеть в нашем рутинном, осеннем по чувству универсуме хоть крупичку новой искренности, пусть малейшую приметку обновления почти сошедшей на нет, дрящейся лишь какой-то дурной инерцией жизни. Надеялся учуять хотя б легкое веянье новизны; сквозь углеродородный смрад мегаполиса, пытался учуять аромат обновленной истины. Любые намеки жизни был готов принять за свидетельство наступающих перемен. Увы, эти намеки оказывались блефом, и жизнь будто окоснела в своем безумии. Но сейчас подумал: а не наоборот ли? не загоняет ли она сама себя в угол, чтоб

уже точно не избежать обновления? Однако для нынешних поколений это больше напоминает коллективное стремление к суициду. Притом чуть не девяносто процентов населения, подобно забеременевшей гимназистке, уверены, что беда неким волшебным образом сама собой рассосется.

Подчас мне приходят жутковатые мысли: может, порыв новой искренности уже и загублен ее отчуждением, иль упование оказалось тщетным: Французик не родился и никогда не родится — или ж он так навсегда и останется местным преданием, лишь возможной приманкой для туристов? Иногда пытаюсь как бы домыслить легенду, которую знаю фрагментарно и незавершенно, попросту исходя из здравого смысла. (Из чего ж еще? Мысль моя неглубока, но здравый смысл безотказен.) Ну вот представим себе: существует такая неформатная личность, да еще со своими фрателли. Это непонятное братство, без каких-либо, скажем, организационных форм и догматики, никого не укоряя, все-таки воплощенный укор разнообразно перевранной реальности. (Еще отметим, что его бессребреничество грозит подрывом экономики, лишая стимула к созидательному труду. Сам-то я был воспитан в интеллигентском презрении к материальному, но в моей нынешней среде бессребреничество считают отговоркой лентяев и неудачников.)

Такая личность всегда и надежда, и тревога, но, скорей, покажется разрушителем, чем созидателем, чем-то вроде анархиста духа, опасного для каких бы то ни было институций, притом вовсе не предлагающего никаких догм, то есть материала, пригодного для созидания иной, пусть даже самой непривычной, конфигурации.

Французик предлагает лишь себя, свое застенчивое подвижничество. Если это и материал, то пригодный разве что для созидания собственной души, что дело все ж неопределенное, чисто индивидуальное, к тому же слишком для нас всех кропотливое. Да и как обойтись без приличной, даже изрядной дозы лжи, что необходимый цемент, скрепляющий кирпичики нашего мироздания? К тому же и церковь (допустим, в самом широчайшем понимании, как любая формализация духа) не сочтет ли столь упертую ортодоксальность себе укором или даже опасным видом ереси? Тем более опасным, что ни к чему не придерешься.

И вот тут из хаоса моих не слишком глубокомысленных, довольно плоских размышлений — тут никаких иллюзий — притом еще и с противоречиями на каждом шагу по причине невысокой умственной квалификации, избытка эмоций и отсутствия твердых убеждений, выплыло словечко «предательство» и с тех пор в моем сознании присоседилось к этому человеку в грубой власянице. Ну, разумеется, где ученики — там и предательство (в пропорции, как мы знаем, один к двенадцати), где формоборчество — там и месть, или, лучше сказать, реванш, неизбывно становящихся форм. Понимаю, что если мне вернется сон о Французике, так он будет печален. А пока отложу блокнотик: уже светает, дрянное предутреннее время, когда просыпаются детские страхи и мелкие грешки, будто бесенята, пощипывают твою обнаженную душу. Всегда стараюсь отогнать их молитвой, но сейчас не помогло.

Наконец-то зима, а то слякотная, промозглая городская осень уже порядком истерзала мне душу. Повторю, что стал проницаем для погоды, износившаяся кожа уже не спасает от вселенского холода. Да, мне сделалось холодновато в мире, — я еще и разучился жить повседневностью, лишь только некий жизненный навык, с годами выработанная телесно-умственная дисциплина позволяет мне кое-как держаться на плаву. А теперь незамаранный снежок дивно украсил местность, стыдливо прикрыв похабную наготу нашей скудной окраины. Я с детства любил зиму, — хотя и воспитанного в атеизме, у меня всегда теплилось предчувствие нежной, истинно детской рождественской сказки. Не знаю, откуда взялось, — возможно, ее тайком заронила моя богомольная, по материнским рассказам, бабушка, которую припоминаю с трудом, несмотря на свою раннюю память, поскольку та умерла, когда мне и трех не было, — но так и живу в упованье на рождественскую сказку.

И все ж, вопреки зимнему успокоению души, словечко «предательство» все крутится-вертится у меня в голове, как, наверно, ключ к легенде, которую пытаюсь домыслить. Или, верней, тихо настойчивое преданье будто само стремится себя досказать, сопрягая разные времена и все наклоения. Стоит мне чуть возбудить фантазию, и почти вижу, как робкий нищеврод шествует (нет, скорей, именно бредет или даже, по старости лет, ковыляет со своим посохом) среди изысканных взгорий, которые и мне стали родными. Чтоб довершить идиллию, мне

должна б слышаться колокольная переключка. Но вместо нее доносится рев возбужденных толп, чей восторг всегда готов смениться бесцельным буйством. Бедный, бедный Французик, которого теперь я представил не сокровенным, чисто местным преданием, а суперстар и всеобщим упованием! С ним уже не двенадцать избранных, а сто, тысяча раз по двенадцать приблудившихся. Посчитай, в известной пропорции, сколько выйдет предателей. Впрочем, не их вина, этих, если можно сказать, невольных агентов зла: наша цивилизация, как наверняка и любая, сама собой все перевернет, поставит с ног на голову, какой ни на есть возвышенный порыв облечет дурной, в лучшем случае пошлой, а скорей зловещей оболочкой. А гению злодейства остается только лишь с удовлетворением потирать свои когтистые лапы.

Так вот: представляю себе ложный апофеоз Французика, весьма отличный от явления ангела, ему пронзившего все четыре конечности. Вижу, как уже состарившийся скромнейший пророк, бредет-ковыляет меж полей и виноградников благодатного края, будто и не заметив его преследующего живописного сброда: там ряженые в грубых плащах и теперь модных сандалиях, молодежь в цветастых майках с изображением сердца и надписью «Я — Французик», — и, конечно, конная полиция для поддержания порядка. (Если он и учредил эпоху, то сам поразился детской жестокости этого обновленного мира.) Но среди них, уверен, не только любопытствующие, но также и одержимые с оголтело горящим взором. Что люди ждут от него? Наверняка чуда или, может быть, поучения, чудесных слов, что прозвучат несомненной истиной, какую-то сияющую, сверкающую всеми

гранями, формулу типа заклинания или мантры, пригодную на все случаи жизни, которая отведет любые напасти. Он и впрямь пытается что-то сказать, толпа восторженно вопит, свистит, улюлюкает, орет по-ослиному, мычит, кукарекает, хрюкает, квакает, воеет и рукоплещет, хотя вряд ли кто сумел расслышать его совсем даже не трубный голос. Да и благо! Было б сплошное разочарование, ибо простец не изошрен в плетенье слов, а лишь проникновенен.

Тут, конечно, и пресса, как без нее? При тамошней неопределенности времен и, учитывая неукоснительность законов людского существования, она не кажется анахронизмом в этих исполненной вечной красоты просторах, пусть хотя бы как метафора легкокрылой молвы. Блещут фотовспышки, стрекочут телекамеры. Любители селфи норовят сфоткаться со знаменитостью. Сомнительные энтузиасты духа устраивают шалаши из веток или раскидывают походные палатки. Вытоптана трава, загублен соседний виноградник, просто нашествие варваров, к которым здешний край издавна привычен. Можно представить, какой тут вскоре будет смрад, взамен всегда сопутствовавшего проповеднику цветочного благоухания, и к тому же разор, коль не озаботились установить мусорные контейнеры и биотуалеты.

Такое мне явилось безотрадное, можно сказать, вневременное виденье. Мной оставленная в той упоительной местности легенда вызревает согласно суровым законам действительности. Но и я все-таки надеюсь на чудо. Вдруг да Французик одним лишь мановеньем руки рассеет толпу оголтелых и любопытствующих, как и возродит к жизни поруганный виноградник, что под осень

одарит хозяина не меньше чем двадцатью мерами превосходного вина; и вновь зазеленеет вытоптанный луг. Пове-рю, что так и есть, было, будет иль, по крайней мере, могло бы случиться.

Сейчас вспомнил к месту или не к месту любопытнейшую бль, которую где-то вычитал в давние годы, стран-ный исторический казус, подобье назидательной притчи. В некие дремучие века (не помню, когда именно, да и не так важно) один еврей себя объявил мессией. Не думаю, чтобы жулик, скорей, был в этом искренне убежден, — его с малолетства наверняка преследовали видения сла-вы. И поскольку к тому же точно совпали цифры иудей-ской сакральной арифметики, многие тогда уверовали, началось мессианское движение, что в итоге обозлило ту-рецкого султана, на землях которого проповедовал само-названный мессия. Султан поступил мудро; ввергнув пророка в узилище, ему предложил свободный выбор: либо он примет ислам, тем похерив свое мессианство, либо — казнь. Еврей предпочел первое, так и оставшись именно что историческим курьезом, третьестепенным персонажем истории, неудачливым лжемессией. Но, а вот думаю, если б он избрал мученичество, предпочел казнь (знаем, что османские владыки не бросают слов на ветер)? Какой бы наверняка родился животворящий, судьбоносный миф о его воскресении, сочинили б свя-щенные книги, может, наш исторический путь избе-жал бы многих трагедий. Или он и впрямь бы воскрес, став завершеньем истории, сделавшись истинным Мес-сией, этот, как выяснилось, слабак, которому была вруче-на судьба поколений. Стал он разве что назиданием для тех немногих, кто о нем что-либо слышал. Может, это

был и не единственный лжемессия, кому был предостав-лен столь грандиозный, нечеловеческий выбор, притом уклонившийся от рокового поступка. А возможно, он все-го только искус для наших доверчивых и безалаберных душ или, скажем, наглядное изобличенье гордыни, само-надеянности и опасных иллюзий...

Здесь пора отложить блокнот и шариковое стило, по-скольку я вторгся или даже грубо вломился в какие-то для меня запредельные сферы чувства и мысли, куда ступить полноправным хозяином доступно лишь гению. Мне ль рассуждать об альтернативах цивилизации, о чужом вели-чье, коль теперь стал путаться даже и в своих мелких делах, постепенно теряя былое проворство ума? За окном снежит, там уже вечереет, уютно загораются окна. Отдохни ж нако-нец, мой скорбный, скорбящий разум.

Запись № 5

Не писал несколько дней, хотя рука буквально зудела, успевшая приработаться к графоманству (говорил же, что я человек привычки, и это на всю жизнь). Но было не до того, неделю провел в суете и пьяном угаре: пришлось с купецким размахом отпраздновать собственный юби-лей, — ноблесс оближ, как говорится, и для успеха в делах надо пустить пыль в глаза, подтвердив свою в широком смысле кредитоспособность, которая нынче сомнительна. Давно уже терпеть не могу свои дни рождения, ведущие грустный подсчет мною прожитых лет. Тем паче юбилей,

поскольку не в силах избавиться от магии этих круглых чисел. Однако, признать, вдруг почти полюбил юбилейные славословия, хотя в них всегда чую репетицию похорон. Пускай эти величания всего только словесный жанр, пусть неискренни, но зато словно подтверждают реальность и даже своего рода значительность моего существования. Ведь иначе приходит даже парадоксальная мысль: а сам я, не собственная же иллюзия или, допустим, жертва некоего демона-иллюзиониста? Хотя, если подумать, на хрен я сдался неважно какого полета демону, что испытуют (даже калечат) души того достойные, то есть величественные, бездонные, а не мелкотравчатые душонки вроде моей? Но ведь может ко мне приблудиться некий бесенок-путаник, хитроумный бес-фальсификатор, который дурит всех кого ни попадя.

Конечно, безумная мысль! (А не сам ли я и есть фальсификатор, на этих страницах себя подменяя не слишком-то похожим литературным образом? Ну что ж, значит, использую главную привилегию писателя.) Не близко ли уже старческое слабоумие? Пока вроде не совсем по возрасту, но, иншалла, как сказал бы мусульманский пиротехник, наступит время, когда моя жизнь станет поистине волшебной, или кто-то ее назовет сюрреалистическим бредом: скисшие от долголетия мозги переиначат действительность не хуже любого путаника-иллюзиониста или авангардного художника-provokatora. Знаю, наблюдал своих родственников в предельных летах — с ужасом, поскольку родное у них оборачивалось чуждым и отчужденным, но и слегка завидовал их бытию, способному обращаться вольно с временами, местностями, лицами, прихотливо играть в кубики мироздания.

Это подчас напоминало вдохновенный театр абсурда (будь я драматургом, включил диктофон, и вышла б абсурдная пьеса без единой помарки). Вот и жизненный круг: от своевольства детской наивности до прихотливости старческого маразма. Две эпохи существования, когда даже полный творческий импотент становится отчасти демиургом. Даже не знаю, что лучше: завершить до конца этот круг или его оставить незамкнутым? Но вот еще думаю: не грядет ли прямо завтра, спозаранок или пополудни, пересменка эпох, время открытой трагедии и низверженья любого закона, — тогда и покуролесим всласть, даже расплатившись кровью. Вполне возможно, коль такое чувство, что весь мир сбрендил, мечется в родовых муках или предсмертной агонии.

Ладно, подождем, поглядим, ждатель-то осталось не так долго. А пока — стыжусь, стыжусь! — еще недавно равнодушно-ироничный к чинам, званиям, погонам, лампасам, любым наградам, каким ни на есть регалиям, я стал дорожить нечистосердечными свидетельствами довольно-таки равнодушных свидетелей моей жизни. И еще позорней — именно государственно-бюрократические доказательства моей кое-какой все же ценности мне теперь особо дороги. Не знаю, в чем причина. Может быть, тут инфантильно-старческая (круг уже начал смыкаться?) неуверенность в себе, какое-то, что ль, сыновне-патерналистское чувство, или не знаю, как обозвать: поиск защиты у абсолютной, внеличностной силы.

Государство, разумеется, куда более надежный гарант теперь готовой ускользнуть реальности, чем какое-либо частное лицо или же мнение, пусть даже, условно говоря, общественное. (А где ж присущее мне формоборство?)

Вроде бы тут противоречие. Но, коль формы пока существуют, в моем характере предпочесть самую из них косную, неприглядную и с виду несокрушимую, — однако помним, что чем тверже материал, тем он более хрупок.) Хоть и стыдно, но все же греет сердце, что отмечены мои заслуги перед отечеством, пускай и третьестепенные. На большее не рассчитывал: по бюрократическому счету награда довольно-таки справедливая. Кто-то из давних друзей меня с ней поздравил саркастически, кто-то и вообще обвинил в потаканье властям и предательстве юношеских идеалов (отчасти, наверняка, зависть). Они все из породы доморощенных любомудров, историософов, экономистов, военных стратегов и социологов. И разумеется, политиков. А по мне-то политика дерьмо всегда и везде! Это я прочно усвоил еще с юных лет и сохранил в том уверенность именно как последний ошметок своих юношеских идеалов...

Уже дня два, как упорно ломит плечо, давно саднит поясница, где, предполагаю, почки, что-то вдруг кольнет, стрельнет; беспричинно заколотится сердце. (Доживу ль вообще до новых времен? Хватит ли сил покурлесить в разъявшее эпохи безвременье?) Я слаб в человеческой анатомии, своей личной тем более, ее всегда игнорировал. Что когда-то из-под палки выучил в медицинском, давно уже позабыл. В самом названье «тело» мне с тех пор чудится нечто похоронное, будто слышу, пугавший в детстве, разудалый, вовсе не торжественный и даже почти не грустный, скорей тоскливый хрип траурного марша в исполнении непроставшихся лабухов; от него, этого похоронного слова, кажется, несет смрадом больничного морга и сладковато-мерзким формалиновым запахом препарированных трупов. Видно,

еще в институте я проникся отвращением к медицине. И врачам перестал доверять, памятуя своих тогдашних друзей-медиков, циничных и беспардонных зубоскалов, любителей черного юмора (друзей, конечно, подбирал по себе). И к тому ж до недавних пор моя плоть оставалась миролюбиво-нетребовательной, очень редко о себе напоминала. Но теперь догадываюсь, что она вскоре будет самым главным и жестким (жестоким, верней) моим оппонентом в диалоге куда более роковым, чем мои вечные перебранки со своим прихотливым сознанием или, там, подсознанием, что время от времени преподносит любопытные сюрпризы. Такой вот объявился неожиданный враг... Ох и неожиданный, смешно сказать! Сам виноват: предусмотрительный в мелочах и полный ротозей в делах судьбоносных, никогда не учитывал возрастные этапы, взросленье-старенье, с их особыми целями, задачами, возможностями, а теперь все больше ограничениями, что надо было б учитывать наперед. Даже удивительная беспечность пред, казалось, самоочевидным.

Ладно, учесть приходится, или сама жизнь заставит, но кой толк страдать наперед? Надеюсь, от моей шагреневой кожи остался еще довольно приличный лоскут. Сейчас лучше подумать о жизни, не о погибели, которой не избежать, как ловко ни выкручивайся. Это очень даже непросто: жизнь, как птичка, сейчас норовит упорхнуть с ладони, там склевав ей поднесенные крошки. (Невольнo попавшая под руку изящная фраза. Не память ли о птицах, внимающих проповеди, иль о горлицах, не ставших голубиным паштетом? В любом случае, не буду ее вымарывать, ибо в ней что-то есть.) Стараясь уловить веянье новой реальности, я жду каких-то благотворных,

нежных примет, а не ошибка ли это? Может, повсюду гремящие военные марши наполоам с едва заметным хрустом обескровленных форм (да и сам я уже не так полнокровен, как прежде, когда был открыт природе, художествам и просто живому чувству), потерявших свой недавно казавшийся очевидным смысл, и есть мелодия новой эпохи? Новый мир не всегда ль новая жестокость? И лишь когда схлынет новорожденное безумие, тогда и станет различим, слышен всем и каждому, внятней, чистосердечный мотив Французика. О своем времени, разумеется, трудно судить, коль мы сами внутри него, им объята, — оно прет изо всех дыр, скважин и прорех, подпирает с каждого бока и все мы, властительные, безвластные и безразличные, равно его жертвы. Кто знает, не обнаружит ли будущее под завалами всего теперешнего дерьма, пустословья и разнообразного хлама тайный расцвет, небывалый ракурс, скажем, культуры и мысли, что историки назовут ренессансом или, дабы не повторяться, найдут какой-либо достойный синоним?

Вдруг из глубины памяти, много разного сберегающей про запас, выплыл смурной Дант со знаменитой гравьюры. По-моему, с него и числится предшествующий Ренессанс. Но можно представить, как он был одинок, этот всеобщий изгой, одаривший мир новым Адом, Чистилищем, Раем в своей пока еще никем не признанной эпохе. Он-то, должно быть, расслышал зов какого-нибудь Французика, бывшего, будущего или только возможного. Вот и получилось, что Дант уже существует, а вокруг него ему чужой мир, пока не стряхнувший свои прежние грезы. Еще б ему не быть скорбным (имею в виду не мир, а флорентийского одиночку, а тот мир еще себя не понял)! Кто знает, не родился ли уже и теперь чуткий творец с его

вита нова, тайком сумевший переустроить наш великий и могучий, его открыв, коль можно выразиться, содержаниям будущего или будущим содержаниям? Но теперь погрязший в иллюзиях мир его не удостоит и гонений: не только на него не оглянется, но в него даже не плюнет.

Ну вот, опять моя безответственность графомана! Сужу о том, в чем ни рожна не смыслю. Как легко, наверно, любому писаке себя вообразить чуть ли не Дантом, — тайная мысль каждого: а может, я гений? И все-таки нагло скажу, что у нас с ним есть общее: дар уловить тихий мотив новой искренности. Так ли уж нагло? Где-то читал, что разница меж мельчайшим и величайшим всего процентов десять, остальные же девяносто — природное, национальное, гендерное, расовое, культурное и общечеловеческое, да еще можно иногда прибавить некоторое личностное сходство. Ну пускай даже не десять, а пятнадцать, все равно выходит не так много.

Тут и спрячу стило за пазуху, а блокнот в боковой карман. Наконец-то двинулась автомобильная пробка. Хамство везде и во всем: куда смотрят городские власти? на что, в конце концов, они тратят наши налоги? Не иначе как на благоустройство городских парков, где я никогда не бываю. А не лучше позаботиться о транспортных развязках? Однако нет худа без добра: уж сколько мне за этот всего только час пришло светлых мыслей и глубоких прозрений! Говорю иронически, но почему бы нет? Умножай на листе закорючки, и невольно сболтнешь что-нибудь умное или, может быть, прозорливое. Любой алфавит обладает собственной силой. Говорят, и свинья, роясь в шрифте, рано или поздно сложит сонет Шекспира. Правда, для этого она должна быть бессмертной.

Запись № 6

Только вчера поминал испанца, одного лишь достойного собеседника среди неприкаянных творцов нашего хостела. В остальных я замечал только показное радушие цивилизованных личностей, а наши с ним беседы во время общих перекуров обозначили, мне казалось, душевное родство, близость интересов, сходство миропонимания. Разумеется, я каждого из них додумывал, домысливал, обобщал, можно сказать, препарировал, как отчасти литературных героев моей дневниковой повести, однако не до потери сходства. Если уж попал кому на перо, так не сетуй, что тебя переиначат в угоду жанру и личным комплексам автора. К счастью или несчастью, лично мне это вряд ли грозит. Из всех литературных жанров я наверняка персонаж многих кляуз, доносов и точно знаю — одного газетного фельетона. Вот уж был мерзейший пасквиль, откровенная заказуха. Конечно, на меня, как на любого, можно взглянуть очень предвзято, нарисовать хоть и неприглядную, но меткую карикатуру. Однако тут просто ничего общего, ложь и поклеп от и до; разумеется, не литература, но даже и не литературщина, а дурновкусный, беспочвенный и корыстный вымысел.

Ну вот заговорил о важном, а перекинулся врачевать свою мельчайшую душевную ранку. Я уже понаторел в письме, а когда вяжешь словеса бойко, самоуверенно и складно, начинает тянуть к расчесыванию давних царапин или никчемному балагурству. Конечно, я приобрел навык, но в прежнем, все же оставленном на дальнем перроне блокнотике, был, что ль, особый распев, исключительная

тональность той вдохновенной местности. А в здешней скудной среде обитания и слова сделались суховаты, и мысль теряет музыкальность. Понятно, стиль это не ловкие или бездарные словосочетания, а тот, что рожден всегда бытием духа. И очень кстати я сегодня утром получил долгожданную весточку от испанского интеллектуала, освежившую мой миф о Французике, без которого эта бойкая писанина всего только хобби и ковырянье болячек. Вся моя жизнь на таких вот рифмах-совпадениях: только вчера вспоминал — и сразу отклик. Весть от него пришла, разумеется, тоже по электронке. Какие ж теперь сомнения, что компьютерный мир, если и не во всем благодотворен, так могуществен, колы и создает, и транслирует мифы?

Особо выразительна была приложенная к письму фотография, на которой мой испанец выглядел иберийцем в самой наивысшей мере и благороднейшем облике: отощавший, обветренный, загорелый до черноты, на фоне чуть поблекших зимой долин, немного посуровевших каменных взгорий, да к тому ж неторопливых энергосберегающих ветряков, он казался настоящим Дон Кихотом. А Росинантом ему служил потрепанный байк, примерно, возраста той знаменитой клячи. Был у испанца вид немного жалкий (может, так показалось в сравненьи с умиротворенным величьем тамошних гор и долин или, угадав литературное сходство, я к нему примыслил печальный образ), но взор столь решителен, будто он на своем драндулете прямо сейчас ринется штурмовать энергетические мельницы. (И поделом: они, разумеется, экологичны, притом угрожают моему углеводородному благоденствию.) В нем мерцал огонек одержимости, как

мне хотелось думать, нашей с ним общей мечтой. По крайней мере, то была одержимость какой-то упорной фантазией; напоминал он, что ль, охотника за привидениями. На мой взгляд, его нынешний очень испанский облик был прямо-таки достоин художественной галереи. В нем теперь действительно обнаружилась слегка потасканная аристократичность, придававшая некоторое сходство с портретами из мадридского музея, куда я как-то забрел с туристическим равнодушием.

А письмо? Даже было не письмо (то есть без обычного приветствия «Диар такой-то» и подписи), а довольно-таки пространное сообщение. Причем без ссылки на какой-либо источник и с обычной для мифологии неопределенностью времен. Может, он цитировал местную газету, может, древнюю летопись, может, донес молву окрестных жителей, а возможно, то был синопсис какой-то части им задуманной мыльной оперы. Впрочем, здесь мылом даже и не пахло. Тот его замысел я, скорее, понимаю как род искупления за то, что пол своей жизни холил дурновкусье праздных домохозяек, — ведь как ни крути, историю Французика не превратить в аргентинскую мелодраму. Короче говоря, попытаюсь перевести этот, как нынче говорят, меседж с его пиджин-инглиша, которым он бойко владеет в разговоре, на письме, однако не столь внятного. Кстати, лишь бегло проглядев испанское послание, я уже понял, что неназванное словечко «предательство» там оказалось бы ключевым. То есть либо я точно угадал факты, либо наша с испанцем фантазия сходным образом домысливала легенду, тем подтверждая нашу с ним душевную близость. Теперь мне даже отчаянная желтизна горных кустарников кажется цветом измены.

Такую он рассказал примерно историю, то ль им выдуманную, то ль действительную. Вернувшись из Африки, где Французик едва не обратил в свою веру турецкого султана, он с горечью (виз э грифс) узнал, что его братья стали вызывать в некоторых церковных и мирских кругах некоторую неприязнь, а некоторые, невзирая на их благие дела, их даже принимали за еретиков и прогоняли силой. Теперь его братья уже перестали быть незаметной (инвизибл) горсткой всеми презираемых оборванцев, а стали теперь отчасти заметной силой, которой следовало помочь обрести организационную форму (именно так: эн органайзинг форм), чтобы они, как утверждали церковные власти, «могли приносить еще больше добра». С еще большей горечью (виз ивен мор грифс) он узнал, что пока он отсутствовал, братья для себя возвели каменное жилище, простонародьем называемое «дом братьев», где они занимались не только ручным трудом и молитвой, но также и науками. (Как еще к этому отнести врагу всякой собственности, босоногому проповеднику? Вот оно и предательство! — *Примеч. переводчика.*) Поначалу его душа возмутилась против такого самоуправства (зис селф-гавермент), и он приказал всем братьям, выйти из этого помещения, но потом, когда он узнал, что братья жили там не как обладатели, а как всего только пользователи (зе юзерс), он успокоился и позволил им войти обратно. (Это надо ж! С его-то прозорливостью и чутьем попасться на шитую белыми нитками юридическую уловку! Совсем не верю, чтоб успокоился, но тут его великое смирение даже в ущерб принципам. — *Пер.*) Вскоре наиболее уважаемые церковные авторитеты ему посоветовали, чтобы людям избежать соблазна, а им возможных

гонений, перестать быть вольной общиной нестяжателей (зе фри комьюнити оф зе пипл донт вонт хев энисинг) с необщепонятными (нот клир фор эврибоди) целями, а сочинить устав регулярного монашеского ордена, который будет соответствовать ожиданиям церкви. Хотелось так ему или ему не хотелось, но, почитая для себя невозможным послушаться, он удалился в целиком уединенное ото всех место, как нельзя лучше пригодное для такого сосредоточенного занятия. Завершив труд, он передал манускрипт своему викарию, но тот его нечаянно потерял. (Вот тебе и уважение к пастырю! Кто поверит, что потерял случайно? — *Пер.*) Тогда он терпеливо отправился назад и вновь написал устав, в точности как прежний, который и был в конце концов утвержден, хотя и не все его нашли удовлетворительным.

Перевел, разумеется, как смог, я ведь не переводчик. Но смысл и урок наверняка понял верно, неважно была это, небль. Судьба ненавязчивого пророка и должна была так продолжиться, как еще? Чтоб это понять, не надо быть мыслителем и прозорливцем, тут как дважды два четыре. Кто ж допустит существование столь и впрямь соблазнительного, уже потому, что никак не оформленного, примера, где любовь, смиренность и усердие заменили догму? Где тут, в конце концов, четкие правила поведения? Ведь в данном случае отсутствие самоограничений, какого-либо внутреннего регламента, так легко принять за безграничную претензию и едва ль не за духовный экстремизм. Настораживает и отсутствие какой-либо доктрины, схоластического обоснования необходимости себя вести так или иначе. Будь я какой-никакой властью, меня б точно насторожило это слишком подозрительное умолчание,

за которым может таиться ересь. То есть лично мне было ясно, что в любые века какой угодно вольной общине, стоит ей стать хотя б «отчасти влиятельной», так и или иначе навяжут «органайзинг форм», устраивающую ту власть, которая на данный момент властна, — того же потребует и общественное мнение.

Отсутствие ограничений это ведь и опасная непредсказуемость. Рад бы верить, но не верится, что у этого скромнейшего первопроходца мог быть пускай тернистый, но хотя б не извилистый путь борьбы только с личными искушениями и несовершенствами. Ну а что «визивен мор грифс» он отнесся к отступничеству своих фрателли, и так понятно, — а невнятная история с якобы случайно потерянным уставом просто вопиет! Горькое, горькое разочарование, которое уже свершилось иль еще впереди! Бедняги, стоило (стоит, стоило бы) Французику отлучиться, будто потеряли (можно поставить любое глагольное время) свою путеводную нить, оттого и захотели пристанища. Ну и конечно, мирские соблазны под коварный шепоток доброхотов, — братьев можно понять, ведь тоже люди, — от искушений чисто бытовых до интеллектуальных (см. о заняты науками). И многие ли вообще могут сберечь надолго экзальтированный энтузиазм и героический пафос? Душа устает, увы, а моя так даже очень быстро.

Короче говоря, неизбежен, я б сказал, диалектический, излом его жизни: его в самом наивысшем смысле духовная самодеятельность когда-то обязана вступить в конфликт со вселенским законом формообразования. Рано или поздно грядет смена мелодии — в простодушной песенке должны б рано или поздно зазвучать трагические ноты.

Эта газетная статейка или древняя летопись, предание, слух, сплетня, интернетовский блог звучит вполне достоверно: что оставалось Французику, который не вождь, не лидер, тем более не бунтарь, а только пример, как удалиться в пустыню, чтоб там, блюдя послушание, сочинить устав ордена, судьбу которого он, конечно бы, сумел предсказать? Наверняка предвидел наперед и еще более горькие свои разочарования. Отчуждение, лучше бы сказать, ороговень, или, может, еще лучше — опошление духа способно все перевернуть с ног на голову, превратив благородство в низость. (Он бросил одежду под ноги своему папаше, тем отрекаясь от косного мира отцов, но не облечется ли его чистосердечный порыв еще худшей, болезненной по виду коростой?) И все же им сочиненный устав мог бы нести ту самую крупицу благодати, на которую всегда надеюсь, хотя и с трудом понимаю, что это за штука. И благодатная крупинка не была бы или не будет утрачена, как не удалось злонамеренно потерять им выстраданный, хоть и компромиссный, манускрипт.

Примерно в этом духе я ответил будущему победителю ветряных мельниц, а в конце предложил себя на роль Санчо Пансы. Вроде как шутя, но очень даже стоит обдумать всерьез. А что, действительно, не вернуться ли в тот мирок, что я покинул под гром ночного фейерверка в погоне за легендой, — или даже стать ее частью? Брюхо у меня отросло, невзирая на фитнес. Купил бы осла и на нем трюхал потихоньку вслед за длинноногим испанцем в его велосипедном шлеме, чуть смахивающем на тазик для бритья. Но тут и опасность: в моей памяти сохранился цветущий мир, оваянный благоуханной легендой, а я ведь знаю, как умеют ветшать покинутые пространства.

Сколько уж испытал разочарований, вернувшись туда, откуда вроде бы ушел навеки...

Вот и все, пора отложить в сторону мою шариковую ручку, а в другую — блокнот с золотым обрезом. Опять я засиделся почти до утра, — скоро уж выйдет из мрака младая розовоперстая Эос, разогнав предрассветные виденья. К тому же, когда с непривычки пишешь так долго, можно вдруг почувствовать, что делаешься умен до полной уже, окончательной дури. Все жду, поджидаю мудрости, которая, говорят, является с годами, а та почему-то замешкалась.

Запись № 7

Сегодня у меня пустой день, без дел, обязанностей и развлечений. Верней, я сам себе решил предоставить однодневные каникулы от жизни. Когда-то себя считал прирожденным лентяем и этим свойством даже отчасти гордился. Но с недавних пор разучился наслаждаться бездельем, теперь для меня праздность всегда тревожна. Когда-то я месяцы, годы, щедро упускал, как песок сквозь пальцы, а сейчас тревожусь за каждый потерянный миг. Не то чтоб хочу его потратить с пользой, но почему-то боюсь отпустить мною неосознанно, как бы незафиксированным. В крайнем случае, просто в уме пересчитываю пустые мгновенья. Да и праздная мысль, не привязанная к делу, начинает маяться, чудить, дурить, хвататься за первое попавшееся.

Вот сейчас ухватила словцо «архетип». Слово красивое, с размытым для меня смыслом. Можно было б и уточнить, но пропадет эстетика. Впервые услышал его в давние лета от своей умной подруги. То было время интеллектуального неофитства моей одичалой державы. Подруга была не стройна, не красива, не элегантна, не обаятельна, но умела заворожить словами. Свою профессию называла по тем годам непривычно: культуролог. Я чуть сомневался: нужны ль они, если кругом бескультурие? Но эта женщина неопределенных лет знала горстку манящих слов, их умея сочетать в полупонятные фразы, что звучали, как заклинания, где явно таился к тому еще и эротический соблазн. Не уверен, что она и сама-то их до конца понимала, а я даже не пытался. Она меня, конечно, презирала за туповатость и нехватку современных знаний. И тогда был уверен, что я для нее типа «валенок», техническая интеллигенция, но с этим мирился вопреки самолюбию и уже просыпавшейся гордыне. Поскольку ее словесная ворожба для меня звучала, как «Сезам, откройся!», виделась ключом к сокровищнице какой-то плодотворной мысли и свежих понятий, что способны то ль разъяснить, то ль и вовсе переиначить или, скажем, обогатить тогдашнюю скудную жизнь, казалось, примитивную, как грабли. Только с годами я понял, что в ней присутствовала, что ли, дремлющая сокровенность, некая по сю пору непознанная тайна.

Таких слов я выучил несколько, возможно десятков, но сочетал их бездарно; походило на бесполезную ворожбу какого-то самодеятельного шамана. Конечно, мог произвести впечатление на еще менее, чем я, искушенных в знаниях технических интеллигентов, но эта моя заумь не только

ничего не объясняла, но даже как-то уводила от смысла. Может быть, именно с тех пор я предпочел словам дело. Умная дама давно потерялась в моей жизненной суматохе, мне оставив на память горстку красивых слов, одно из которых сейчас пригодилось. Впрочем, теперь кого ими удивишь? Они общедоступны, но видим же — не открыли новых горизонтов, и нынешний мир тоже скуден, только в нем убавилось тайны. В наше демократичное время доступно любое слово. Коллекционеры слов и понятий теперь на мели (нас клянут гневными словесами, как те же бездарные шаманы, но вдруг и сглазят), а процветают беззастенчивые деловики, иные из которых косноязычны до смеха. Я делаю вид, что один из них, но похож только внешне, поскольку, видимо, к моему благополучно посредственному генотипу примешался некий, что ли, ген безумия, или безумный ген (впрочем, где-то слышал, что из них любой может взбеситься). Показной и недолговечной, думаю, силе этого по-мужски крутого сообщества я ведь в душе предпочел плодотворное бессилье Французика, чьему обновленному миру будут равно чужды, как затаившиеся умники, так и ныне победное ворье... Сейчас разомну руку, отложив перо: кажется, я уже стал пророчить.

Так вот, меня завороживший образ проповедника наготы, смиренности и чистосердечия, хотя и привязанный к местности, где сам он родился иль родилась легенда о нем, но будто бы одолевший хищную неотвратность времени, способный тихо прорасти в любую эпоху, где в нем заведется нужда (я, конечно, не физик, но чую, что время волнообразно, эпохи накатывают волна за волной), и есть тот самый архетип, как я его понимаю. Ну и что?

Это словцо хоть слегка прояснило ли суть? В общем-то, нет, но я доволен, что нашел применение ученому слову. Моя речь бедна и абстракции там некстати. Но, главное, оно указало не то чтобы моей мысли, а скорее чувству на еще некий затаенный архетип. Я почувал в легенде нехватку, какое-то важное умолчание. Вспомнил фреску в том хлеву, где он якобы родился: мне теперь на ней почудилось едва заметное, однако светозарное пятнышко, — знаю на опыте, что важнейшее порой таится за не бросающейся в глаза приметой.

И в моем прежнем слайд-сне о Французике вдруг явственно ощутил недомолвку. На кого ж там намек, что ли, на ангела? Не думаю, рядом с ним мне крылатые сущности виделись явно и зримо. Но вот моя догадка: возле него не хватало женщины. Ибо в самом его образе чуялась некая андрогинность (еще одно умное слово, мною когда-то выученное). В своей чистоте этот пророк был едва ль не бесплотен. Мне и в голову не пришла бы мысль о каком-либо неприличии (и никакого тут, разумеется, обывательского шерше-ля-фам). Если женщина была рядом, могла б идти речь лишь о единении благословенных душ. Разумеется, никакого скандала, но откуда ж недомолвка предания? Тут просто ль мужской шовинизм иль дело в том, что эта лишь намеченная рядом с ним женщина — единственное земное существо, оставшееся ему навсегда верным. Но в любом случае, выходит, позор мужскому миру!

К таким вот приводит письмо неожиданным мыслям. Раньше ведь смеялся над повсеместным бабьим бунтом, благозвучно названным, коль не ошибаюсь, гендерными проблемами. А теперь чуть не жалею, что меня пощадила

великая богиня страстей, — как ее ни назови, эту, наверно, космическую силу. В своем мужском мужественном мире я всегда к женщинам относился с легким презрением, не брал их в душу, притом не был избыточно похотлив, — наоборот, презирал слюнявую похоть. К ним относился как украшению жизни, иногда — блестящему к ней привеску, легкому досугу. А теперь, в тех годах, когда почти не томят страсти, но еще не вызрела мудрость, вижу, время упущено. Обогащенный женской силой, причастный их тайне, был бы не столь однокбок и, в общем-то, примитивен.

Не знаю, откуда у меня завелось добродушное презрение к женщине. Видимо, как отрывок подцепленного еще подростком сопливого нищезанятия, притом что в двух до меня поколениях нашего рода царил полный матриархат. Да и самые близкие мне люди были именно женщины. И вот теперь, на подходе старости, так вдруг захотелось склонить, как в детстве, голову на материнские колени. Будь у меня больше веры взамен новомодному фарисейству, которому, увы, причастен, я воззвал бы теперь к нашей Небесной Защитнице и Заступнице, но вместо попыток молитвы у меня всегда выходит какой-то жалостный лепет, которого самому стыдно. (Опять-таки скудость моей речи, но, может, и нечего стыдиться: эти мои косноязычные жалобы и есть молитва, какой она должна быть — только детски искренней, остальное неважно.) Но так или иначе, наверняка неспроста мне видится возле одинокого проповедника светозарное пятнышко, где угадывается женская сущность, разумеется, отличная от госпожи Бедности, которую он возлюбил.

Не сомневаюсь, что его предадут многие — почти невозможно хранить сразу и верность требующему полного самоотречения принципу, и смирение. Кто не сбережет первое, глядишь, станет инквизитором, в переносном или даже в самом прямом смысле, кто второе, может действительно впасть в ересь с какой-либо иной, своей, формой изуверства. Терпеливо, хотя и не добровольно сочиненный устав здесь, конечно, не панацея: это все ж предписание, отчасти и принуждение. Остается уповать, что именно женщина Французика никогда не предаст, если даже предадут все другие. Откуда она у меня, такая надежда? Тут позднее разочарование в мужском мире или память о детстве, когда можно было всласть выплакаться на родных коленях, — пока еще не потерял дар слезный. Или это наша общая, неискоренимая мечта о беспорочной женщине, которых, однако, в жизни я никогда не искал? В любом случае, не теряю этой утешительной надежды: пусть хотя бы в своем воображении попытаюсь, как могу, уберечь Французика от всеобщей измены...

Отвлекаюсь от блокнота, который будто живет своей жизнью — сам рождает мысли, словно б не я там пишу, а он мне предписывает. Опять за окном вместо зимы раскисшая осень или даже нечто вроде робкой весны напрасных надежд. Отовсюду сквозит тревога, что разносится не словом письменным, не изустно, а будто сама собой — подобьем студеного, пронизывающего ветра. Повсюду раздрай и умственная паника, как результат отчаянья — цинизм. Себя считал циником, но по теперешним-то временам я чуть не идеалист, — ведь не до конца потерял душевную чуткость. При общем расколе надо бы встать

на чью-либо сторону. А я не за тех, не за этих, хочется думать, что я на стороне жизни, но подчас бываю захвачен всесветной жадой самоуничтожения. Это ли не новый, так сказать, негативный, пафос нынешнего существования? Впрочем, жизнь ветвиста. Куда нам, муравьям на вселенской ладони, судить о путях Провидения, загадочных намерениях природы, тайных целях истории, в общем, как ее ни назови, всевластной надличностной силы, которую вряд ли умилостивить нашей фарисейской молитвой.

Запись № 8

Поутру болит голова, но теперь не от физического, а от умственного похмелья, против которого бессилён алкозельцер, огуречный рассол, грузинский хаш и горячая ванна. Вчера таки состоялась мной задуманная конференция с утвердительно пафосным, зловещим наименованием «Смерть!». Я, конечно, испытывал наперед некоторое злорадство, подбросив лучшим умам нашей державы эту коварную тему. «Собственную-то смерть никак не обойдешь и не объедешь. А коль рыпнешься вперед себя, так она тебя за ворот схватит. Предстояние смерти лицом к лицу отменяет все частные озабоченности, оставляя единственную насущную заботу — уговорить ее, чтобы та хотя бы чуть повременила. Но смерть не идет на сделки, а время ее невременяще». Точно так выразился (я записал слово в слово) один из докладчиков, который как раз не относится

к «лучшим умам», а просто мой давний знакомец, вольный мыслитель, довольно импозантный маргинал, неудачник по жизни и дилетант во всем. Поэтому не удивляюсь, что именно он, свободный от интеллектуальной предвзятости, каких-либо академических целей и корпоративной этики, то есть обладая умом ничем незамусоренным, лучше всех понял суть дела. Но его слишком пафосная речь там прозвучала довольно глупо и почти непристойно, ибо он, конечно, отстал от интеллектуальной моды и слабо владел научной лексикой. Поэтому его грозное напоминание только меня одного впечатлило, другие же его, не сомневаюсь, пропустили мимо ушей. Уверен, что напрасно.

Устроившись в заднем ряду, я поначалу всех слушал внимательно, старался записывать, но вскоре заскучал и все речи для меня слились в один монотонный гул. Конечно, я не то что даже отстал от умственной моды, но и никогда не был с нею вровень, — куда нам? — а из научной лексики, кроме уже названного, помню еще пяток слов типа «дискурс» и «десакрализация», — а это, знаю, теперь почти архаизмы. Но все ж я понял, не умом, а чутьем, своей задницей, что ни у кого из этих умников не хватило мужества поглядеть смерти в лицо. Один за другим, с восхитившей меня изобретательностью, они старались ее именно что обойти и объехать, так, сяк, слева, справа, по кривой, по касательной. То есть именно пытались рыпнуться вперед себя, представив смерть вовсе не роковым финалом, где поневоле кончается рассуждение, а, так сказать, рабочим моментом, через который возможно переступить иль перескочить, хотя бы мысленно. Типа она, конечно, досада, но не такая уж великая.

Был еще ловкий способ, по-своему замечательная уловка — ее обезличить, представить не собственной неизбежностью, а будто ничейной, непримененной и, по сути, неприменимой. Тогда она становилась просто неким понятием, причем относительным, разнящимся от эпохи к эпохе, над которым волен вооруженный современным знанием ум, — может его и вовсе упразднить за ненужностью. Понимаю, что по научной малограмотности изложил услышанное очень приблизительно и обобщил в меру своего недалекого разума. Но, главное, понял, что смерть, которая не идет на сделки даже с великими мудрецами, здесь хотят просто зашугать, уморить академической скукой. Так что к обеденному перерыву она уже агонизировала, почти сдохла. Докладчики будто подхлестывали друг друга, один в другого вселяя умственный кураж. А потом ведь каждый останется наедине с собой, так и не приручив смерть, нашу гордую подругу, сестру нашу, как ее называл Французик, иль черную матушку, чей образ мне когда-то являлся в сладко-тревожных снах, — с отчаянной тревогой ожидая прихода ее невременящего времени.

После перерыва, уже перенасыщенный современной мыслью и ученым словом, я, честно говоря, плохо соображал. Постоянно терял нить хитроумных рассуждений, в конце концов уже и не стараясь подхватить ее. Иногда, правда, какими-то скачками до меня доходили обрывки смыслов. Не знаю, может, мне и померещилось, но, избегая прямой схватки с непобедимой соперницей, подчас затевая даже изящную в своей уклончивости пляску бессмертия, с жизнью докладчики обращались вовсе бесцеремонно. Ее атаковали прямо в лоб с неясной лично мне целью.

Догадываюсь, что в том и есть нынешняя интеллектуальная мода с ей присущей инерцией. Иначе как понять упорство, с которым они стремились ее распластать, разобрать до винтика, атома или даже микрона, затем так и оставив, не пытаясь собрать воедино? Кажется, их мысль воспарила над здравомыслием, превзойдя даже инстинкт самосохранения.

Мне-то, обывателю, разумеется, чужд их нонконформистский пафос, с которым те низвергали все наши предвзятости и предустановления. Лично я думаю вполне простецки: стоит расхожую мораль обернуть на себя, то есть ее понять не как самоограничение, а хоть слабой гарантией своей безопасности, то какой же смысл против нее бунтовать? Чем плохи заповеди, предписывающие тебя не убивать, не грабить, тебе не завидовать, не клеветать на тебя? Не понимаю, отчего эти, конечно, умные люди готовы существовать в неудобном и опасном мире, так сказать, этического творчества (мало ли кому что взбредет в голову)? Зачем еще больше запутывать этот и без того путанный мир, где иногда кажется, будущее уже свершилось, а прошлое всегда под вопросом? Но, вообще-то, они вовсе не похожи на древних философов, готовых расплатиться за мысль и слово собственной жизнью. Как видно, для нынешних жизнь одно, а учение как-то само по себе. Мне приятно думать, что и они по жизни конформисты вроде меня и мысль их тоже отштампована, как у нас грешных, — только штамп немного поэстетичней, со всякими там виньетками.

Но вот что мне сейчас пришло в голову. Чуть осоловел от плотного обеда, а главное, с непривычки слушать и мыслить, я, возможно, упустил главное, не понял сразу их самой

блистательной уловки. Разымая жизнь до электрона или кварка, они походя, как бы невзначай, и человека сократили до минимума, низвели до какой-то сомнительной точки, упразднить которую было бы уже полным неприличием и недостоверностью. (Правда, один докладчик упразднил и женщин. Слегка задремав, я пропустил решающий аргумент, но вывод помню точно: нет никаких женщин, и все тут. Я даже прыснул в кулак. Чистый бред, по-моему! См. выше о моей нынешней оценке женского, но дело даже не в этом: именно в данный миг моя память плоть бесстыдно подтвердила несомненную реальность их существования.) Зато нам, бедолагам, не оставили ничего исконного, собственного. Их послушай, то все у нас взято напрокат — самые драгоценные понятия, интимнейшие переживания. В общем, каждый гол как сокол под одежкой с чужого плеча. А нет субъекта, так и нет проблемы! Ни жить, ни помирать просто некому. И все ж это сомнительная точка — мельчайший зародыш, который мне видится крошечным тельцем, что трепещет в страхе перед жизнью и смертью. Поэтому он истинно жив, притом что равно мертвы любые догмы, как изукрашенные, так и самые неказистые. И я еще раз убедился, что изысканные, изощренные рассуждения подчас приводят к абсурдным выводам, тем себя опровергая. Никто ж не поспорит, что абсурдный вывод компрометирует сам ход рассуждения. Так стоит ли оспаривать один за другим хитроумные аргументы, коль итог безумен? О душе никто и не вспомнил. Догадываюсь, что для них это мракобесное, клерикальное понятие. Но как бы оно все упростило, сколь бы внятными сделался мир! Однако подобное допущение им,

думаю, казалось верхом научной недобросовестности. Впрочем, упаси бог, своих взглядов они никому не навязывают. Так понял, даже твердо и категорически высказать свое мнение в их глазах некоторое насилие. А как без него? Учитывая дурные наклонности человеческих особей, весь мир скатится к анархии, отчего они же первые и пострадают. (Знаю на собственном небольшом опыте, уже минимум четверть века работая тем или иным начальником, — иногда и довольно высокого ранга.)

Вот сколько у меня задним числом появилось соображений и возражений, исписал аж целых пять страничек. А если б даже и раньше, все равно б ими не поделился с этими продвинутыми умами: по годам мне пора б уже срать на чужое мнение, но привычно боюсь выглядеть дураком. Пока я их слушал, у меня даже и мыслей не было, а все крутилась в голове простая мелодия Французика, который и жизнь и смерть принимал, как дар Божий (мне б так научиться!). Мог бы напеть ее с трибуны, но это б и во все выглядело юродством. Как сложна их продвинутая мысль и как общепонятно его чувство, — мне, по крайней мере, все объясняет помимо слов и каких-либо доказательств. Ляпни я с кафедры нечто подобное, конечно, был бы не понят: у этих людей вовсе иные, сухие, безблагодатные, на мой вкус, легенды, — очевидно, что Французик отнюдь не пророс в ими обжитую эпоху. Поэтому, последним взойдя на кафедру, я ограничился тем, что всех искренне поблагодарил за участие. В конце концов, это симпатичные, образованные, хорошо воспитанные люди, не чета моим нынешним дружкам и сообщникам. Да и мне самому, конечно.

Запись № 9

Сегодня опять подарок от испанца. Вот говорят — различье культур, традиций и прочей наносной дребедени, но ведь души наги, потому сообщаются каким-то особым, непосредственным образом. Значит, мы с ним сообщники. И его короткое посланье на очень дурном английском тому несомненное доказательство. На мое предложение себя в Санчо Пансы он прямо не ответил, однако подписался: «Дон Кихот». Видимо, такое сравнение ему польстило. Но дело не в этой записке. К письму он приложил откуда-то скопированный рисуночек, по виду с газетного листа, изображавший мужчину и рядом с ним коленопреклоненную женщину, подписанный на латыни. Медицинских знаний и словаря мне хватило, чтобы разобрать подпись:

«Дочь моя, зачем ты здесь?»

«Чтобы любить Христа и следовать за ним в бедности и молитве».

Преклонив колена и сняв с головы покрывало, она высвободила свои пышные золотые волосы. Он единым жестом состриг их в знак ее отречения от мира. Это был пока слабый росток, но в будущем ему предстояло плодоносить святостью и благодатью.

Рисуночек простенький, наивный, можно было б его принять за карикатуру. Но нет, в нем чувствовалось простодушное благоговенье. Может, сам же испанец его изобразил? В его книжечке с набросками будущих сценариев я разглядел и забавные рисунки вроде этого. Но

любопытно: я ведь в своем письме даже не обмолвился о догадке насчет женщины возле Французика. А он мне, выходит, ответил на незаданный вопрос — то ль узнав какую-то новость, то ль откликнувшись на мою фантазию собственной. Как-то она его достигла на своих, наверно, ангельских, крыльях. Теперь, по крайней мере, проповедник искренности уже никогда не будет совсем одинок.

Конечно, я мог бы задать испанцу много вопросов, из которых главнейший: отыскал ли он в тех дивных, мною покинутых пространствах Французика во плоти, а не как образ надежды или восковую персону? Но понимаю, что он прозвучал бы дурачки: даже не наивно, а с какой-то ущербной дотошностью. (Если что-то не путаю, один древний духовидец и вовсе считал людскую плоть, как и плоть всего мира, дьявольским мороком, не одухотворенной видимостью, хоть я в это нисколечко не верю.) Ну, допустим, отыскал бы, и что дальше? Я б, честно говоря, даже не знал, как поступить. Для того чтобы пасть пред ним на колени, все мы слишком горды, — к тому ж такая патетика не в духе времени. Выпросить поучения, благословения? Наверно, так бы и сделал, попытался. Но в результате, скорей всего, был бы разочарован. Ведь, как и другие люди века сего, жду волшебных слов, мгновенного излечения души. Да и его облик наверняка мне показался бы слишком обыденным, коль даже и его скромность теперь украшена моей фантазией, сделавшись отчасти победной, что ли, торжественной и торжествующей. А может, — кто его знает? — случился б такой порыв, что я не стал бы искать у него защиты, а, напротив, сам бы прижал его к сердцу, чтоб хоть как-то сберечь от

суровой справедливости мироздания, чем-то утешить. Понимаю, что это глупейше, наивно. Какой из меня-то защитник? И разумеется, вовсе никакой утешитель. Но все ж эту свою новорожденную жалость к Французика считаю самым возвышенным, благородным из всех моих чувств.

Ладно, мог бы задать испанцу вопрос менее скользкий: нашел ли этот современный рыцарь на подержанном драндулете хоть бы одно реальное, историческое доказательство существования Французика, что мне в свое время не удалось? Помимо неверной людской молвы, думаю, мистифицированной или, возможно, мистифицирующей, памяти якобы соседей и однокашников, к примеру, его нетленные мощи, могилу или полностью достоверное, признанное наукой, упоминанье в летописи. Пускай даже какой-либо фотодокумент, повернее мутной фотографии в хлеву, где Французик то ли родился, то ль родится, то ль мог бы родиться. (Обнадеживающее и одновременно сомневающееся «бы»!) Понимаю, что поиск трудный: вслед за разочарованием в соратниках, которые, по сути, не виноваты, поскольку лишь слепо выразили агрессию форм, ополчившихся против духовной нищеты в своем наивысшем смысле, он должен бы крепко затаиться, в своем смиренье предоставив жизнь естественному ходу вещей. Может быть, с тех пор так и не оставил таинственную неназванную пустынь, куда удалился сочинять злополучный устав.

И все ж, надеюсь, этот поиск испанцу столь же необходим, как и мне, — иначе зачем бы он рыскал по уже выцветающей к зиме округе с ошалелым видом ловца привидений? При нехватке веры, нам, увь, требуется

достоверность, ибо теперь всё что угодно готовы поставить под сомнение среди цветистых или бесцветных обманок до конца опошленной цивилизации. А может, дело проще: его цель не легенда, а именно задуманный телесценарий. Профессия сценариста наверняка не исключает одержимости, как, наверно, и любая. Короче говоря, я ему не задал ни одного вопроса, чтоб случайно не нарушить ткань моего вымысла. Ему лишь ответил, сам не знаю почему, крылатой фразой из крупиц моей медицинской латыни: «Nusquam est qui ubique est». Это «Кто везде, тот нигде» мне крепко издавна, втемяшилось в голову, хотя не уверен, что так бывает всегда...

Впрочем, моя латынь странным образом перекликается с последним стихком, которым меня одарила японка: «Мы далеко друг от друга. / Но всех нас объединяет тот, / Кого мы никогда не видели». Невозможно понять, как легенда преобразилась в ее восточных мозгах, но эта японская женщина, не иначе как мне теперь далекая сестра. Я давно уже запутался в сложной диалектике ближних, посторонних и дальних...

Раньше любил зиму, но теперь она стала другой, как и я изменился. Где прежний крепкий, бодрящий морозец, где узоры на окнах, как изящные переплетенья неведомой науке растительности? Зима теперь помягчала, что-то в ней появилось слезливо-сентиментальное. Говорят, глобальное потепление. Но притом она сквозит пронзительными ветрами, будто студит, вымораживает душу. Может, вовсе и не виновна, а просто для меня наглядный символ моего заиндевшего, но и теперь сентиментального, сердца. Да еще стал замечать, что зимой отчаянно, истощно

каркают вороны, будто чуя падаль. Казалось, проще всего в эту гнилую пору отправляться к каким-нибудь теплым морям, но, по-моему, уже писал, что терпеть не могу пляжного отдыха, а к достопримечательностям не так уж любопытен. Они меня, скорей, утомляют. Правда, выудить из вороха впечатлений хотя б один ценный для тебя образ, пусть пока и неприменимый, но годный про запас, уже совсем не так мало. Если ж отправлюсь, то вовсе не к теплым морям и не на поиск новых образов, а туда, где, надеюсь, сохранен тот, что сейчас, чувствую, постепенно умирает в моей отупевшей, выстуженной душе. Он теперь, среди обставшей со всех сторон прозы жизни, в моей стареющей памяти почти осыпался, как та самая фреска, где сохранился лишь пустой контур в неясно куда устремленном порыве.

Запись № 10

Давно уже не писал, заваленный с головой каким-то жизненным сором. Опять череда бессмысленных событий и бесцельных свершений. И торжества одно за другим, больше траурные. Кажется, наша трагическая сестра, не чуждая милосердия, на краю эпохи прибирает своих любимцев одного за другим, чтоб их избавить от мытарства в уже наступающих, пока не познанных, временах и не томить драматическим пересменком. Поэтому в моей голове теперь назойливо звучат похоронные марши. Но даже дурно исполненные, они все-таки музыка. Странно

и горько, что я разлюбил ее. Прежде будто нырял в любую сонату, сюиту, симфонию, в ее гармонично-возвратное время, из нее вынырнув, лишь когда грянет финал. Теперь же, не захваченный музыкой, ее словно прочитываю наперед, постоянно забегая в будущее и досадуя на однообразие предустановленных гармоний и мастерскую расчетливость заготовленных сюрпризов. Раньше она была для меня воплощением жизни, отрицанием занудства времени, самой смерти в ее неизбежности, — даже и траурная. А теперь чувствуется душевной экзальтацией и пусть возвышающим, но все-таки обманом. Потому ли и не нахожу путеводной мелодии в нашей какофонической реальности, или тут обратная связь? Все больше в жизни накапливается для меня лишнего, что, наверно, и есть вкрадчивая поступь смерти, которая рано или поздно сделает для меня и весь мир излишним.

Неслучайно вспомнил о музыке. Не только лишь потому, что теперь в ушах гремят, громово раскатываются похоронные марши. Еще оттого, что наконец-то принял решение вернуться в тот край, где я не так давно уловил благородный мотив, мне донесшийся то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли из каких-то неведомых нашей грамматике времен. Тут потребовалась в некотором роде отвага, надо было собраться с духом. Оставив мне подавленный блокнотик на вокзальном перроне, я был почти уверен, что, так и не ставши романом, закончена повесть, где я нашел главное, ее нерв и основу, сумевши мудро пренебречь целой россыпью перспективных сюжетов. Что этот цельный и даже драгоценный эпизод не предполагает продолжения, недаром он для меня расположен где-то там, почти в нетях, вне времени и географических пространств.

Даже странно и кажется нелепым, что до моего потерянного или затерянного рая, где, глядишь, и вновь подхвачу сюжетную нить, оживлю во мне умирающую легенду, всего часа три лета.

Но и приняв твердое решение, я тянул, волинил, откладывал путешествие. И всегда-то был на решенья скор, но медлителен в действии. Так и сейчас находил один за другим поводы для отсрочек. Даже пускался на уловки: ничтожные пустяки возводил в ранг серьезного дела. Какие у меня дела? Я уже давно так умело выстроил свою жизнь, чтоб существовать почти безо всяких обязанностей и обязательств. Вот на это ума хватило: не так уж оказалось трудно. Но тут есть и обратная сторона — в жизни общей я стал каким-то, понимаю, необязательным элементом, не даже мелкой ее шестереночкой, а именно что неким излишеством. Тут выходит баш на баш: для меня в окружающей реальности копится лишнее, но и сам делаюсь для нее вовсе не обязателен. Себя утешаю, что такой с виду неприменимый, притом по-своему настырный, требовательный, не до конца разучившийся думать и чувствовать излишек вроде меня, вполне возможно, необходим для некой мировой гармонии, равновесия каких-либо вселенских сил или могуществ (наверняка где-то вычитал).

К своему путешествию я почему-то готовился тщательно, будто отправляюсь в тот мир, откуда уже нет возврата. Не для кого-то, не для жизни вообще, а для себя лично я сплетал в узелки мелкие сюжетцы моей жизни, иные из которых тянулись в прошлое каким-то неприглядным охвостьем; откупался (привычно, деньгами) от мелких грешков, стараясь хоть как-то подредактировать небрежный

черновик моего предшествующего бытования, сколь можно подчистить уж самые вопиющие пометки. Тут сказала моя уже привычка к литературе, хотя понимал, что жизнь менее поправима, чем безответственная писанина в блокнотике с золотым обрезом. Вот литература обнаруженная еще неподатливей самой жизни, там уже не исправишь ни единого слова.

Какова причина такой моей основательной подготовки? Дело не в том, что любые путешествия сейчас опасны; не из-за мирового терроризма, хотя и об этом, честно говоря, задумывался. Я будто репетировал свой незаметный уход, тихий, безо всей этой пошлости, как траурные речи, фальшивящий похоронный оркестр, пафосная могила на престижном кладбище. На подходе старости кому не хочется порвать и так слабеющие связи со всем тебя окружающим, навсегда разделаться с диктатом обстоятельств? То есть именно чудным образом, живьем, во плоти, перенестись в иной мир, предполагаемо совершенный и заверченный, как истинная легенда. Я даже, вызвав нотариуса, оставил завещание. Трудное решение при моей нынешней мнительности, подобье смертного приговора. Но не хочу, чтоб в случае чего наследники устроили какое-нибудь гнусное судилище, сопровождаемое телешоу на потребу любопытной публике. Плевать мне на посмертную репутацию, но хоть уберегу сыновей, которых вовсе не баловал вниманием, от греха стяжательства и напрасной нервозности. Пускай живут мирно, хоть изредка вспоминая папашу, им обеспечившего безбедную жизнь по меньшей мере на полстолетия. Но главное-то, что свою теперь чувствительную совесть так уберегу от очередной, наверняка лишней царапины.

Теперь сижу в прямом смысле на чемодане. Довольно он оказался тощим. Наглядный пример, что нужное и потребное теперь скукожилось до вовсе мизерного количества. Но тем самым освободив пространство для потребностей нематериальных, чему не хватало места в моем прежнем мирке, загроможденном предметами. Я раньше гордился своим жилищем. Оно было не для престижа, без, упаси бог, хамской роскоши. Но каждая вещь не просто так, а память о чем-то/ком-то родном или важном, а целиком оно будто на мне ловко сидело, как хорошо подогнанный по фигуре костюм иль, скорей, как привычная, обношенная шуба, надежно спасающая от вселенского холода. Я редко приглашал гостей, кроме разве что давних свидетелей моей жизни. Во-первых, жилище мало соответствует моему с годами выпестованному образу, тем будто выбивая из общества, поскольку было слишком индивидуальным, не как у всех. А главное, из опасения, что пришелец там невольно что-нибудь да нарушит, перепутает тончайшую вязь, можно сказать, смысловых путей, которую лишь я сам умею почувствовать. А женщин, что я пытался там поселить, оно как выпихивало. Не прижилась ни единая: им делалось там неуютно, и вскоре они исчезали сами собой, без драматических разрывов. Так мое ревнивое жилище меня избавило от всех, кто мог бы стать близок, мне даровав разом постылое и благодатное одиночество. Наверно, изо всего, что можно назвать материальным, оно мне наиболее дорого. То, что его покидаю, может быть, навсегда — моя, думаю, наибольшая жертва. Но ведь сбрасывает мудрый змий свою привычную, но уже ветхую шкуру. Хочу думать, что и мне это диктует долгожданная мудрость.

За вагонным окном мелькают перелески, слегка выцветшие в сравнении с прежним, долины, дивные, мною не забытые взгорья. И городки, городки, увенчанные островерхими колокольнями. Тревожную грусть последних месяцев перебила новизна пространства, к чему я пока не утратил внимания. Да и вообще, теперь чувства как-то притихли, — после заоблачного прыжка в пару тысяч километров началось будто замедление времени, что здесь готово вовсе упокоиться вечностью. Оттого и не раздражает медлительность поезда. Раньше я был нетерпелив, всегда предпочитал перелеты, их не боялся, даже любил: облачные айсберги под крылом мне навевали хрустальные по чистоте, подлинно небесные мысли. Но теперь, как мы знаем из газет, телевидения, интернет-порталов, опасное время, авиация — соблазнительная приманка для террористов. А к тому ж я поминал о своей все растущей мнительности. К примеру, тревожил смуглый бородач в соседнем ряду немногочленного бизнес-класса, мне напомнивший мастера файер-шоу, таинственного соседа по горному хостелу. Впрочем, вряд ли он, уже говорил, что эти бородачи для меня все на одно лицо: видно, персонификация моей обычной с недавних пор настороженности. Казалось, он подмигнул, но, скорей, потому, что я его так настырно разглядывал, может, и оскорбительно для восточного человека, или же он понял мои тревожные мысли. Заговорить с ним я, разумеется, не решился, да и не знал на каком языке. Он мигнул и еще раз, уже на земле, откровенно, чуть иронично (мол, ну что, пронесло на этот раз?),

раньше, чем пропасть в толпе, когда я пил коньяк у барной стойки, чтоб смягчить и узаконить накотившее, как всегда, чувство странности, вызванное перескоком из одного пространства в другое, с уже иным законом и благодатью.

А теперь я испытываю даже приятное чувство затерянности, почти признательность к равнодушным иноземцам, беспечно и непонятно щебечущим на своем музыкальном языке. Для них я никто и ничто, без имени, гражданства и биографии, грехов и заслуг. Из-за этого чувствуешь и некоторую отстраненность от себя самого. Все что и надо для обновления жизни. О своей поездке я не предупредил испанца. И не затем, чтоб из каких-то соображений его застигнуть врасплох. Отчасти из вежливости: кто знает, может, я ему тут нестати? Но чтоб и себя не связывать никаким обязательством. Притом уверен, что наша с ним встреча неизбежна, учитывая общую цель и предполагаемое сродство душ. (У меня-то нет сомнения, что ему пригожусь: не думаю, что он так же четко, как подчас удается мне, слышит музыкальный рефрен где-то потерявшегося Французика.) Не уведомил заранее и милую хозяйку гостинички для недаровитых творцов, где все же думаю остановиться, — зачем-то хотел проверить: помнит ли меня или я был для нее очередным, самым рядовым постояльцем; по привычке хочется быть хоть сколько-нибудь заметной фигурой. Но в любом случае, надеюсь, она меня примет, как блудного сына. Даже будет рада неожиданному гостю в глухую пору межсезонья...

Сижу на перронной скамейке. Сойдя с поезда, заметил на ней мелкую книжицу. Сперва подумал, что мой тут некогда оставленный дневничок, который решил захватить

с собой, но позабыл на перроне, возможно, по вовсе неслучайной случайности. Даже успел порадоваться. Думал, взбодрит мою память, всколыхнет по-зимнему вялое чувство. А главное, поможет свести концы с концами, прошлое с настоящим, связать порванную нить времен, изъяв лишнее. Но нет, это был справочник абонентов местной телефонной сети. Тоже, в конце концов, полезное приобретение.

Зябкое утро. Легкий туманчик смягчает краски, делая округу будто изображенной пастелью. Все тут кажется знакомым и незнакомым, зачем-то подправленным в сравнение с моей благодарной, хоть и слабеющей, памятью. Боялся разочарования — и его не чувствую. Ждал очарования — и оно пока до конца не вернулось. Пытаюсь уловить запах цветущих роз, но, видно, для них не сезон. Откуда б взяться зимой, даже здешней, мягкой, цветочному аромату? Сейчас обоняю лишь въедливую, привокзальную гарь, что мне всегда казалась вестницей разлуки. А взамен мелодий и колокольного звона слышу ритмичное чуханье идущих туда-сюда поездов. Но все-таки чую, что местность не растеряла своего вдохновенья, в какой бы дали теперь ни прятался обманутый самой жизнью Французик. Пейзаж не утратил приветливости, своего жизнелюбия и мягкого юмора, который чуть затаился. Видится радушной долина, где кокетливые античные виллы неровной цепью протянулись до самого городка, который едва различим в тумане.

В гору иду пёхом. Оба скучающих таксиста на привокзальном пятачке мне категорически отказали, о чем-то меж собой полопотав по-своему. Я неоднократно, как мог разборчиво, повторил название хостела, указав восходящим

жестом на виднеющийся вдаль холм. Один всякий раз мне отвечал «нонсо» или «нансо», безнадежно мотая головой. То есть понимай, что об этой гостиничке слышит впервые. Другой твердил «периколосо, периколосо». Это чуть искаженное слово из медицинского лексикона я понял бы даже, если б таксист не крутил предостерегающе пальцем перед моим лбом. В чем же она, эта опасность? Мне-то издали здешний край виделся целиком безопасным убежищем. Но ведь знаю, как могут исказиться покинутые пространства, быстро ветшать, словно обезлюдевший дом. Нужно быть готовым к любому подвоху: в пространствах, оставленных без присмотра, случалось, копится и яд. Там не стоит идти прежним шагом, обязательно споткнешься...

Сейчас, присев отдохнуть на придорожный камень, думаю: а может, это вновь мои лишние страхи и тревожные опасения? Тут не что иное, как предусмотрительность опытного водителя: еще б не опасно машине на склизком, глинистом склоне; холм-то невелик, но с крутым серпантинном. Я и сам, поскользнувшись, едва не сверзился в пропасть (немного преувеличиваю, но шлепнулся здорово, прямо лицом в грязь). Такая вот, вовсе не мистическая опасность, и яд, получается, не какой-то особый, а тут виной рутинная смена времен года. Тяжело, конечно, в мои лета переться в гору, да еще с багажом, благо легким, но что делать? Зато утешеньем мне служит горный пейзаж, чуть погрустневший, но влажные долины внизу обрели какую-то новую, неожиданную для меня прелесть. Кустарник, давший название ресторанчику, из ярко-желтого теперь стал немного зеленоватым:

прежде будто вопивший, он сделался элегичен. А церковки на горных отрогах теперь казались не грустны, но как бы задумчивы. Не поют колокола, но с горных пастбищ чуть доносится ветром нежное бляенье там пасущихся, с высоты, казалось, игрушечных барашков. Перестал моросить меленький дождик, чьим каплям будто не хватает тяжести, чтоб коснуться земли. На глазах рассеивается утренний туман, краски делаются настойчивей, плотней, но все ж остаются неяркими...

Вот уже другой камень. Меня будто сторожит, присев недалеко, довольно крупная псина — то ль это мне знакомый, безвредный братец волк, то ль действительно опасный хищник; притом знаю, что волки зимой не столь добродушны, как летом. Вожу ручкой по раскисшей от влаги бумажной странице, чтоб не растерять ни крупинки освеженных чувств и новых впечатлений от, казалось бы, прежнего. Тут валунов, на мое счастье, множество — едва ль не все я успел пересчитать своей задницей. Последние годы подъемы и спуски мне даются все трудней. Не только физически, — раньше мне жизнь представлялась как-то глаже, а теперь чутко переживаю ее волнистый рельеф. Здесь благолепная картинка мне сулит излечение души, но не затянулся ли путь? Надеюсь, с него не сбился среди многочисленных развилок и хитросплетенья троп, где я и в тот раз плутал. Теперь стараюсь оживить свою моторную память, ориентируюсь еще и по скалам, кустам, деревьям на изгибах тропинок. Но сколько ж тут кустарников, валунов, деревьев, видов, картин! Какое изобилие всего в этой местности, прежде обедненной моей памятью, почти низведенной в схему...

Теперь ясное утро. Пишу не в хостеле, а в гостинице на задранной, как подол платья, окраине городка, уходящей в очередное предгорье. Внизу видны черепичные крыши, оцетинившиеся в небо мелкими дулами своих керамических труб. В комнате зябко — из отопления только допотопный электрокамин. Не думаю, что тут может найтись жилье получше. К тому ж это задрипанное жилище мне видится романтическим: стены — голая древняя кладка, два круглых запыленных оконца, не греющая каминная дыра, загаженная угольным сором; нависший свод с могучей изъеденной дrevоточцами, но свежевыкрашенной балкой, о которую два раза чуть не треснулся головой. Вчера, усталый, забрел в первый попавшийся отельчик, но рад, что там повстречал заплутавшее Средневековье. С хозяином объяснился на пальцах: или он действительно в английском ни бе ни ме, что странно для работника даже такого дремучего сервиса, или зачем-то хитрит. И вообще мог быть полюбезней, притом что в его гостиничной халупе я только единственный постоялец. Что мне в постель подложил матерчатую, антикварного вида грелку, была не любезность, а просто необходимость: иначе я, склонный к простудам, наверняка получил бы воспаление легких, а это как-никак ущерб для репутации его заведения.

В обнимку с грелкой, я выспался отменно на сыроватых простынях. Теперь испытываю светлое чувство новизны и, что ль, непричастности к быту, как у меня бывает в любом новом месте. Лишь мелким червячком подспудно

гложет недоумение. Слегка зудят ноги после вчерашней прогулки, закончившейся благополучней, чем могла бы. Сплошные удачи: не свалился в пропасть, меня не загрыз волк, позабывши о прежнем братстве. Даже не заблудился: моторика не подвела, ноги сами нашли верную дорогу. В конце пути мне казалось, что ориентируюсь по звуку: в ушах ритмично било: бам, бам! Подумал, это бельгийский повар лупит в свой медный таз, созывая гостей к ужину или обеду. На самом деле, видно, кровь колотила в висках.

Дом я узнал мгновенно, несмотря на подступившие ранние сумерки. Ну точно он самый, никак не мог ошибиться, коль его образ мне будто впился в сетчатку и память. Безобманные приметы: знакомая терраска, где не раз бухал с польской художницей, возле нее — раскидистая бесплодная груша, чуть поодаль — сарайчик, в котором химичил мусульманский пиротехник; и закатное солнце торчало на горном пике, чей рельеф я знал наизусть. И к тому ж в этот миг я впервые с прежних пор услышал звон ближней колокольни, чей звук с другим не перепутаю. Мне это почудилось благой вестью иль долгожданым приветствием. Только вот странно — домик будто потерял прежний лоск, теперь выглядел не гламурным, поддельным пейзажином, а как всамделишный сельский труженик, урожденный крестьянин. Прежний хостел будто вернулся в свое фермерское состояние. Как и весь его антураж: в сарае блеяли овцы, пропали все до одной цветочные клумбы под окнами, раньше зеленый лужок перед домом теперь был истоптан копытцами и загажен крепко пахнущим овечьим пометом. Я испытал чуть не панику, как всегда бывает, когда обнаруживаю некий жизненный

сбой, сулящий полное крушение смыслов, — говорил, что не слишком доверяю реальности, тем более видимости. Даже вспомнился модный теперь **фразеологизм**: «когнитивный диссонанс». (Долго его не мог понять, пока не сообразил: то же самое, что сосед по камере в Лефортово, — да, и такое было, — называл «попасть в непонятное» как худшую из возможных для нас бед. Перевод с умного на блатной мне сразу все объяснил. И впрямь гнусное чувство, мне слишком хорошо знакомое, — когда теряешь уверенность в чем бы то ни было и вроде привычный мир вдруг делается опасен.)

Но было одно здоровое предположение, способное утихомирить готовые взбунтоваться смыслы: может, хозяйка, прогорев на гостиничном бизнесе и администрировании творчества, решила заняться фермерством (или к нему вернуться: как-то говорила, что из крестьянской семьи). Я громко выкрикнул ее имя. На мой зов откликнулся простоватый приземистый мужик в потертом камуфляже, граблями у сарая собиравший в кучу палые листья, — его сперва не заметил. Затем едва ль не в точь повторилась сцена с привокзальными водилами. Я повторял название хостела, имя хозяйки, припомнил, как звали бельгийского кулинара, на всякий случай назвал также испанца. И конечно, Французика, — с особым значением, раз пять по слогам, как сообщая пароль. В ответ — никакого отзыва, знакомое «нонсо-нансо» и лопотанье на своем языке, в его исполнении звучавшем уже не так музыкально. Сговорились они тут, что ли? Прежде-то я легко общался с местными будто поверх слов. А этот глядел на меня тупо, как баран, и тоже упрямо мотал головой, как деревенская скотина. Все-таки еще пару знакомых слов я расслышал.

Во-первых, международное — «кризис», что могло подтвердить мою догадку о крушении в этих краях туристического бизнеса и так-то неразвитого. Во-вторых, снова шоферское, «периколосо». Оно прозвучало, когда я, уже махнув на него рукой, отправлялся в обратный путь.

Тут вовсе не буколического вида крестьянин вдруг проявил ко мне деликатное благорасположение. Твердя с разными, даже артистичными, интонациями свое «периколосо», он, прихватив электрический фонарик, меня проводил до самой подошвы горы, где начиналось, хоть экономно, все ж освещенное шоссе. Если б не его благородство, мой обратный путь в уже наступившей беззвездной темени мог бы дурно кончиться. Опроверженье моей конспирологии, теории заговора непонимания? Слишком предупредителен для заговорщика? Но, видимо, такая любезность к иностранцу не признак симпатии, а норма для этого патриархального мирка, застрявшего в межвременье. Когда я, прощаясь, попытался сунуть фермеру приличную для здешних мест купюру, он ее мне вернул презрительным жестом. С моей стороны это было, наверно, хамство...

Распращавшись с непонятливым, но любезным селянином, неожиданно бормотнувшем по-французски «бон нюи» (может, послышалось?), я остался один, целиком угодивши в «непонятное». Заблудиться теперь не мог: уныло мерцавшее желтизной шоссе, знал, упирается прямо в городские ворота. Стих ветер, довольно резвый в горах, наступила какая-то сонная тишь, задремали черневшие вдоль шоссе деревья. Казалось, вернулся мой давний, не то чтобы страшный, но тоскливый, будто

безвыходный сон: когда-то нередко снилась мутно мерцавшая дорога, идущая незнамо куда. (Кстати, сон из рода блуждающих: друзья признавались, что им он тоже знаком. Его б наверняка разгадал любой психоаналитик, но я их побаиваюсь.) Однако тепер я чувствовал, не лишь тоску и растерянность, но испытывал чувство увлекательного и судьбоносного, приключения. Именно такими вот патетичными, пафосными словами я сам для себя определил это чувство, нисколь их не устыдившись.

По пути завернул в придорожную корчму, где раньше бывал много раз, чтобы, как привык, с помощью алкоголя приручить нахлынувшую фантазмагорию. И там все узнаваемо, — даже в трепетном свете вонючих огарков, заткнутых в граненые стаканчики (понятно, что берегут электричество). И уж тем более был знаком сивушный привкус здешнего дрянного виски. Этот самогон я б дома и в рот не взял, но помогло: всего две рюмашки — и мир стал умеренно фантастичен, не жёсток и сух, как обычно, а словно чуть влажен, будто глина, предназначенная к лепке...

Стук в дверь. Наверняка хозяин или горничная, кто б еще? Пугливо прячу в стол перо и блокнотик. Думаю, не только в наших краях, но и повсеместно простолюдины недоверчиво относятся к людям, скребущим бумагу. Их можно понять: редко ведь пишут роман, повесть, поэму или, как я, дневник. Чаше донос, клязу, жалобу, пасквиль. Еще не хватало, чтоб меня тут приняли за журналиста. И было б смешно если за какого-нибудь налогового инспектора, то есть ревизора. Это уже просто литературщина.

Опять неожиданная любезность: не горничная, а хозяин лично принес мне завтрак, хотя и не щедрый — мутная бурда вместо кофе, почти без кофеина, и два сырных тостика. Любезность?.. Он как-то блудливо пробежал глазами по всей комнате. Не слезка ли? Да нет, тут скорее любопытство. Интересно ведь, что понадобилось иноземцу в этом выпавшем из истории городке, да еще в несезон. С ним-то я уже ни гугу о Французике, хостеле, испанском Дон Кихоте. Боюсь услышать в ответ уже раздражавшее «нансо». Убедился, что с местными я теперь разделен глухой, хоть и прозрачной, стеной взаимонепонимания. Они для меня словно в аквариуме, и так же немые как рыбы. Уже писал о своих, что ль, невразумительных отношениях с миром. Всегда чувствовал, что недопоняты людьми, и они мною тоже, — но не до такой же взаимной глухоты.

Что-то выяснить я пытался и в придорожном кабачке. Помню, как со мной был некогда приветлив его владелец: встречал смешной гримаской, выражавшей преувеличенное дружелюбие. Теперь вместо него там хозяйничала уса-тая, чуть лупоглазая, матрона. А кормежка была прежней — их традиционный голубиный паштет, разумеется для меня неприемлемый, и так называемая паста с салатом: осклизлые вчерашние макароны, покапанные кетчупом и действительно украшенные двумя салатными листиками, — с голодухи еще не то слопаешь, а я с раннего утра ничего не ел. В ответ на мои «тел ми плиз» следовали целые арии, (неряшливая толстуха оказалась весьма музыкальна, как, впрочем, и все тут). Вопрос о доброжелательном

хозяине она, кажется, поняла, ответив роскошным соло, где мне почудилось наиболее медицинское из всех медицинских слов: «мори». Но, когда я печально скривился, изображая сочувствие, матрона хмыкнула и беспечно махнула рукой. Вот и пойми: то ль она не вдова, а, напротив, удачливая наследница, то ль здесь фатализм и доверие к смерти, свойственные глубоко религиозному обществу, то ль я все-таки ослышался. Надеюсь, что последнее: под вечер у меня в ушах, наверно от усталости, буйствовал целый оркестр со скрипкой, духовыми, ударными, флейтой, клавесином, клавикордами, даже с органом и колокольным боем. Иногда вторгался также и торопливый речитатив на всех известных мне языках, — неизвестных тоже. Так что было вовсе немудрено ослышаться.

Сейчас сижу, закутавшись в одеяло. Электрокамин почти не греет да еще опасно искрит. И все ж настроение почти бодрое. Уже день, снаружи доносятся голоса и шарканье подошв о трехтысячелетнюю брусчатку. Но пока не иссякло утреннее просветленное чувство новизны. Вчера я испытал едва ли не панику. Даже, признаюсь, такое чувство, что всевластный демон-иллюзионист одержал надо мной полную победу — подменил мою память, одну реальность другой, вовсе отменив здравый смысл. Как написал, даже звучанья в ушах казались мне ложными. Мелькнула жуткая мысль, где отозвалось мое всегдашнее недоверие к жизни, что я тут впервые, — не было ни Французика, ни отельчика с его милой хозяйкой, как заодно и второстепенных персонажей, даже и дневничка, оставленного на железнодорожном перроне. Ни одного ведь доказательства, что все это было в действительности. Было-то было, но

в какой именно? Может, всего только сон? Неслучайно ведь хотел назвать свои прежние записи «Сном о Французике», а потом их назвал «Мечтой». Или другое: не мой ли тут вымысел — сочиненье дилетанта, себя возомнившего писателем? Но тогда выходит, что я и сейчас пребываю на выдуманной, но не продуманной до конца, территории, то есть в плену собственного же вымысла, которому я теперь не хозяин. С другой стороны, он, конечно, не на пустом месте: иначе, как бы я ориентировался в здешней топографии? Короче говоря, выстраивалась предлинная цепочка утомительных для ума парадоксов, будто навешанных демон-путаником, отцом всех когнитивных диссонансов.

Вчера мне опять пришло на ум словечко «предательство» и в голове устроило целый переполох, — теперь уже применительно к себе: типа реальность в очередной раз предала меня (всегда ее подозреваю в недобросовестности, а теперь могу заподозрить также измену памяти). Но утром паника сама собой приутихла. Виденья жизни теперь кажутся довольно-таки надежными. От вечерней паники остался лишь исподволь гложущий червячок недомумения. Кажется так его назвал? Ну да, почти так — пятью страничками раньше (см. начало записи № 12 в предыдущем блокноте). Если взглянуть на ситуацию здраво, что ж тут особенного? Ну, допустим, пансиончик обанкротился (интернациональное: «кризис») и девушка была вынуждена его продать с помощью моего знакомца — уныло-суетливого нотариуса, который по виду вылитый похоронный агент. Фермер вполне мог и не знать имя прежней хозяйки. Более странно, что ни селянин, ни музыкальная толстуха будто не ведают о Французике. Но, может, оба они пришлые, пока не в курсе здешних легенд, сплетен

и пересудов? Да сами легенды, разве ж они вечны? Они смертны, а могут власть в летаргию, задремать на века и потом очнуться. Может, Французик уже отошел в прошлое, затерялся среди изобильных времен здешней лингвистики — иль даже вне всяких. Или, скажем, так затаиться в своей пустыни, что теперь не виден, не слышен, не осязаем — оттуда не доносится ни его проповедь, ни его гимн жизни, где смерть он назвал сестрой, ни ему сопутствовавший аромат диких роз. В конце концов, мало кому удастся быть вечной сенсацией, даже местного масштаба. Времена, бывает что, меняются круто, появляются новые пророки, чудачки, юродивые.

Такую примерно картину, даже складную, мне диктует здравомыслие, хотя она и не без прорех. Картинка-то, конечно, не полная. Мне все же повсюду чудятся недомолвки, сокрытые тайны или, возможно, секрета (правда, не исключаю и собственную мнительность, коль мои вчерашние беседы напоминали диалоги глухонемых; я научился понимать и язык жестов, которыми здесь принято сопровождать свою каждую фразу). Но, главное, на этой немного выцветшей земле, которая меня совсем не разочаровала своей нынешней, чуть суровой, прелестью, я, как и раньше, безошибочно чую дыханье вечности, а не как везде — оскуделое безвременье. Слегка увяла без призора родина моего духа, но, вопреки всему, узнаю свой чуть поблекший эдем, где было мне когда-то счастье (даже не припомню, когда именно — тому полгода, год, а может, век или тысячелетие), и, надеюсь, еще будет. Нова для меня реальность? Ну так обживусь и в ней, как во многих пришлось обжиться. Прошлою-то мне жалеть нечего, легко ее пожертвую бесу-путанику...

Старинный дом полон звуков и шорохов, впрочем, уютных. Кажется, где-то скребутся, попискивают мыши, шелестят тараканы; заунывно поет сверчок. Так же уютно припахивает древесной гнилью. Из кухни доносится перебранка хозяина с его прислугой за всё. А может, и не перебранка: беседа местных между собой так всегда экспрессивна, что напоминает ссору; со мною же, иноземцем, говорят негромко и мелодично. Чувствую, мне пора бы уже прогуляться, — как убедился, зимой тут рано темнеет. Вдохну зимней влаги вместо многовековой гостиничной затхлости. Глядишь, и вновь подхвачу мелодию Французика, шагая знакомыми улочками. Да и пора заканчивать тринадцатую запись, я все-таки, признаться, суверен по мелочам.

Запись № 14

Теперь в комнате жарко. В честь единственного постояльца хозяин разжег камин. Видно, компенсация за скудное питание и отсутствие элементарных удобств, которые даже стыдно именовать такой брезгливой, довольно чувствительной личности, вроде меня. Впрямь настоящее Средневековье — камин, пара свечей в медных канделябрах. Не исключено, что тут берегут электричество. Бойко щелкают полешки, могучая балка потеет каплями влаги. Притих сверчок, таракан на стене будто замер в недоумении, слегка шевеля усиками. За окном темень, город уже стал не виден с моего предгорья. Лишь одна куцая звездоч-

ка зажглась на верхушке собора. Теперь мне б чувствовать боль, отчаянье, досаду, но взамен — самому непонятное умиротворение.

Уже часа два, как я вернулся с прогулки. Городок, и прежде немногочисленный, сейчас словно вымер — то ль пронеслось чумное поветрие, то ль он вновь ожидает нашествия варваров. Редкие прохожие меня провожали подозрительным взглядом, а иные просто шарахались. Старинный город, мне предстал еще больше покоцанный временем, чем это виделось раньше. И без того хиляя туристическая инфраструктура рухнула до конца: оказались закрыты сувенирные лавочки, трактирчики, пивные; были заперты и городские часовни. Слепли дома, теперь отгородившись от бесприютной улицы глухими ставнями из почерневшего за века, подплесневевшего дерева. Что ж тут необычного? Ясное дело: не сезон так не сезон. Но мне-то издавеча здешний край казался страной вечного лета. Себя утешал, что реальность куда как богаче любых наших фантазий и ее возможности необъятны. Впрочем, так и есть.

К тому ж город будто осип: вместо путеводных мелодий (может, здесь виноват не город, а изменился я сам, с ним потеряв единую тональность) мне слышался какой-то навязчивый шелест. Непонятно, откуда шел звук. Казалось, что отовсюду: шелестели кровли домов, городские стены, храмы и часовенки, сама уложенная наверняка еще этрусками булыжная мостовая. Думаю, ветер тут приобрел этот шелестящий звук, хоть и не музыкальный, но, в общем-то, в духе здешней потрепанной романтики. Был уверен, что знаю городок наизусть, улицы — наперечет.

Сразу нашел центральную площадь; там теперь смотрелся еще угрюмей отсыревший бюст борца за национальную независимость. Оттуда, помню, всего-то пару сотен шагов до назначенного к продаже особнячка, где мог родиться или родился Французик. До сих пор не могу понять, как сумел заплутаться в немногочисленных улочках городского центра, который весь-то — с пятачок. Осипший город меня будто сам пугал, каждый переулок норовил бесцельно упереться в городскую стену, — прежде не замечал, что здесь сплошные тупики. И, как назло, никого прохожих, чтоб узнать дорогу. Надо сказать, дом Французика отличался от всех других лишь только медной табличкой «Охраняется городской общиной» да еще резной дверью с порхающими детишками: амурчиками? ангелами? Резных дверей с подобным же орнаментом оказалось в городке немало, — я просто не обращал внимания, — а вот памятной таблички не обнаружил теперь ни единой.

Оркестр в моей голове вновь заиграл, перекрывая звуком городской шелест, но теперь обеднел инструментами: ни органа, ни клавесина, ни колокольного боя, зато прибавилась свирель. Среди обновленного попури я искал лейтмотив Французика, хотя б разорванный и в другой тональности. Подчас мне казалось, его уловил, но тот ускользал в ему чужие звучанья. Вот тебе и путеводная нить! Но я все ж отыскал нужный мне переулок. Дом был одним из многих, в два этажа, с ангелическо-цветочным орнаментом и уже без охранной таблички, но я узнал деревянную сараюшку рядом, видно, единственную в городе, — мне, по крайней мере, такие больше не попадались. Дом Французика, назначенный к продаже, был теперь, наверное,

продан. Тогда все понятно: к чему новым хозяевам мемориальная табличка, лишь привлекающая праздное любопытство? Все-таки жаль, что его тогда не купил из какой-то душевной робости. Даже трудно объяснить, чего именно я робел. Слишком, что ль, ко многому обязывает, если б я поселился в самой, можно сказать, сердцевине легенды. Вовсе другой масштаб жизни, несоразмерный моей посредственности. Но я мог бы себя считать временным владельцем (вспомнил юридическую уловку церковников), хранящим это жилье до прихода истинного — бывшего, будущего или только возможного. И тогда б дом Французика уж точно не попал в неизвестно чьи, но, судя по всему, равнодушные руки.

Замкнутый ставням, как и другие, дом выглядел неприступно. Мне и в голову не пришло постучать в дверь, о чем-то расспросить его новых хозяев. Но громко пропел: «Французик, Французик», тем пытаюсь привлечь внимание прежде словоохотливых соседей. Тишь в соседнем домике, который теперь мне показался нежилым. Наудачу дернул дверь сарая, та оказалась незапертой. Лучше б этого не делал. Бывший аккуратно выбеленный декоративный хлев, с кем-то заботливо уложенными сеном яслями, будто готовыми принять младенца иль еще хранящим младенческое тепло, был теперь осквернен и опоганен. Загажен в самом прямом смысле. Раньше пропахший сеном, свежей древесной стружкой напололам с цветочным благоуханием, он теперь смердел экскрементами. Тут я слишком элегантно выразился: попросту говном воняло. Видно, при отсутствии в городе публичных сортиров, что я и в тот раз отметил, сарай использовали по этому назначению. Были злобно изрублены в щепу переборки меж

стойлами. И хуже всего, казалось, безвозвратно погибла древняя фреска, которая тогда сохраняла выразительные людские абрисы. Сейчас на ней не только было не угадать женственного светлого пятнышка, что я, может, и выдумал, но и от благоговейной фигурки в ее нижнем углу остался лишь контур руки в непонятном жесте: творящем крестное знаменье? благословляющем? себя защищающем от какой-то напасти?

Не иначе как обычное для этих мест нашествие варваров, чему свидетельство — поруганные стены с выскобленными надписями на варварских языках. Там раньше были еще и черно-белые снимки. Сейчас разглядываю подобранный на полу фотографический обрывок с отпечатком ребристой подошвы: собственно, от изображения там ничего не осталось, один только глаз, глядящий на мир с укором. Когда я уже уходил, из соседнего домика, казавшегося нежилым, донесся тихий звук. Мне послышалось нечто вроде «оралонтано». Слово непонятное, видно, не имеющее отношения к медицине. Когда я с вопросительной интонацией его назвал моему хозяину, тот, махнув рукой вдаль, меня удивил, впервые обнаружив знакомство с пиджином: «хи нав фарвей», — перевел он значение. Сразу ведь я почувствовал, что этот парень себе на уме, со мной хитрит или, по крайней мере, не до конца искрен.

Ну и что мне теперь делать? Страдать за обгаженную легенду? Рвать на голове остатки волос? Воскликать на латыни «о темпора!» или по-нашенски «во дожили!»? Насчет людского несовершенства я давно уже в курсе. Знаю, что люди способны на еще куда большую гнусь. Сам наблюдал,

как в эпоху перемен, то есть вольного этического творчества (совсем как о том мечтают продвинутые умы: см. запись № 8), не только дворовые шпанята, но и почтенные завлабы, прежние друзья, с которыми в годы безвременья на кухнях «брался за руки», становились не только циничным ворьем, но подчас и убийцами. Да и сам-то я был хорош, хотя что-то мешало совсем бросить вожжи, бесшабашно пуститься во все тяжкие. Тут сказались, наверно, воспитание и молитвы моей набожной бабушки. Крови на мне нет; разве что замарался, не раз пожимая уже ставшие преступными руки, — причем не поморщившись. Мне ль теперь кого-либо судить? Да и сам же я пророчил Французику подобную диалектику. Только не ожидал, что она мне предстанет в такой откровенной мерзости.

Оскорблен ли этим скромный Французик, уж точно неспособный никого осудить и не чуравшийся физической грязи? Мне только сейчас, именно в эту секунду, припомнилась та легенда о нем, которую мой испанец назвал главной, проникновеннейшей. Французик мечтал, что монастырский сторож его, как надоедливую бродягу, прогонит с бранью от ворот, от тепла и уюта, в студеную зимнюю ночь, — тогда ему и будет совершенная радость. Сарайчик, где он родился или приуроченный для его рождения, подвергся подобному же поруганью. Ну так и буду верить, что Французик, наблюдая жизнь из своего нынешнего далека, теперь испытывает совершенную радость... На том и закончу. Уже клонит ко сну, и окончательно смерклась последняя, едва мерцавшая, звездочка на самой верхушке собора.

Новое утро. В комнате опять прохладно, догорел камин, уголья подернулись пеплом. Слегка поросли бльем и мои воспоминанья о вчерашнем дне. Теперь у меня чувство, что пережил не трагедию, даже не драму, а приобрел полезный жизненный опыт с философским подтекстом. Сажу в шатком креслице, внимательно, даже с недоверием, разглядывая свои руки, ноги, раздавшийся в последнее время живот. Зеркала в номере нет, но, может, и к лучшему здесь отсутствие лживого стекла, где таится наша личина, всегда готовая предстать к нашим услугам. Испытываю очередную волну отчуждения от себя самого, когда выражение «сам не свой» звучит в прямом смысле. Но теперь отчуждение особого рода. Кажется, что я очутился в литературе. Слышал много раз, что писательство — роковое занятие, но это считал мистификацией, приписывал гордыне состоявшихся, а чаще не состоявшихся творцов. Ныне же почувствовал, что литература, даже третьестепенная, вроде моей, обладает волшебными свойствами. Знал бы, не связывался с дневником, а теперь от него не отвяжешься, ибо мы с ним проросли один в другого: как он без меня немислим, так и я без него лишь неполноценный человеческий посрёбьш.

Уже сам теперь не разберусь, где жизнь, где литература. Время жизни упрямей и настойчивей, не столь богато виртуалами и не путает глагольные времена. Может быть, став сочинителем, я подменил свою жизнь повестью о Французике, наваянной меня пленившей легендой? Это к тому ж интуитивная психогигиена: стремление

заменить неприглядное чем-то возвышенным. Дневник мой довольно честен, но там все-таки много мелких отличий от жизни — замен того на это, произвольных изъятий. Иногда тут причина в литературной беспомощности, но чаще — подспудная хитрость. В результате себя теперь чувствую, что ль, в параллельном мире — персонажем мною же сочиненной повести или, может, романа (недосуг разбираться в литературных жанрах), вдруг потерявшего сюжетную нить. Это чувство настолько сильное, что теперь себя разглядываю по частям, чтоб до конца убедиться в своем телесном существовании. Ну, допустим, я персонаж, но ведь одновременно и автор. Значит, хватит творческого усилия, чтобы повернуть сюжет в нужную мне сторону? Но здесь требуется вовсе другая творческая мощь и, конечно, твердое понятие, какая из сторон нужная. Неумелый автор всегда подчинен инерции стиля, во власти неких тайных завязок письма, — короче говоря, ему не под силу его победить, письмо целиком над ним властвует. С рождавшимся текстом так же трудно сладить, как себе придумать другую судьбу взамен предначертанной.

Просмотрел последний абзац. Какой-то сумбур мысли, но со здоровым зерном. Пожалуй, только одно серьезное противоречие. Да, сейчас признаю, что литература воистину роковое занятие, как и ее герой, будь он даже одновременно и автором, ведомым неотвратным роком, его влекущем к гибели, но и над любой человеческой жизнью разве не довлеет гибельный рок? Ведь сам я глумился над профессиональными мудрецами за их упорное нежеланье признать человеческую трагедию. Но, сделавшись писакой, я убедился, что литература еще

магичней музыки. Слов-то поболее, чем нот, и правила их сочетанья не так строги, пусть даже мы сплошь пользуемся чужой мыслью и ступаем уже кем-то проторенными путями, но все ж и самим доступно проторить какую-нибудь, хотя б узенькую, тропку средь плодотворного бездорожья нашего великого, могучего, а главное, свободного.

Листаю прихваченный на перроне телефонный справочник. Среди здешних пяти-шести гостиниц не нашел названия горного хостела. Предположим, он был нелегальным или, сменив профиль, теперь изъят из абонентского справочника. Проглядываю список частных абонентов. Я не полюбопытствовал узнать ни фамилию хозяйки, ни тем более повара, а имя у нее тут, наверно, самое ходовое. Сплошные тезки: восемьдесят четыре женщины с тем же именем. А, вот и еще две! Всех обзвонить? Но, учитывая здешние консервативные нравы, прилично ли будет тревожить наверняка почтенных дам или благонравных девиц, да и на каком языке к ним обращаться? Валлонский повар носил французское имя, но и у него нашлось целых четыре тезки. Тут обзвонил бы сразу всех абонентов — благо их немного, — если б сознательно не отказался от нынешних, слишком притких, средств связи, оставив дома опостылевший мобильник: уместен ли он в Эдеме? О боже, а это что такое?.. Мистика?.. Галлюцинация?.. Скорей, надеюсь, крутой поворот своевольного, вырвавшегося из-под моей власти, сюжета. На самой последней странице, большими буквами значилось: Французик. Именно так — безо всякой фамилии, просто «Французик» и вокруг него аляповатая виньетка.

Что ль, ему позвонить, атакуя в лоб ускользавшую тайну? Признаться, к этому не готов, тут надо еще подумать, собраться с духом, решиться. А то сюжет, который теперь будто поперхнулся, рванув с места, неведомо куда заведет. Отсутствие под рукой телефона как раз нужная отсрочка. Думаю, гостиница, словно медлившая в Средневековье, все-таки не лишена телефонной связи, но я видел в окне, как рано утром наш хозяин покатила незнамо куда на своем убитом армейском джипе, а горничная всегда приходит не раньше полудня.

Ладонью протер запотевшее стекло. В углу окна виднеется горный склон, покрытый изморозью, сделались белесыми городские черепичные кровли. Эта местность, такая нежная летом, теперь вся как будто заледенела, но под ледяной коркой, в отличие от мной покинутой городской окраины, мне чудится биенье не уничтоженной до конца, но притаившейся жизни. Опять разгулялись в опустелом доме звучанья и шорохи, здесь шелестящий ветер сквозит из-под разошедшейся двери. Жду прилива творческих сил, чтоб наконец двинуть сюжет, который мне будто подмигивает, манит в различные стороны. Где-то читал, что художник, обязан уметь выдерживать паузу, снести ее. То есть, выходит, умение смолчать необходимая принадлежность любого таланта. А если пауза длинной во всю жизнь, что это значит — переизбыток или недостаток таланта? Но я в любом случае тут ни при чем. Допустим, талант невозможен без пауз, но вполне возможны паузы без таланта. Оттого они не меньше мучительны. Особенно для меня. Здесь требуется терпение, а я, увы, напрочь лишен этой христианской добродетели.

Уже, по-моему, написал, что плохо умею проживать время.

В опустелом городе за окном вдруг родился новый звук, непохожий на зуденье осипшего ветра. Странный и ритмичный, он, что ль, напоминал общую молитву или какое-то славословие. Заинтригованный, я попытался открыть окно, затем другое. Не удалось: скорей всего, заколочены неприметными гвоздиками. Но ритмичный звук приближался. Из-за угла, откуда-то из предгорья, показалась торжественная процессия. Именно что торжественная, едва ли не торжествующая. Несмотря на холод, все были одеты в грубоматерчатые балахоны, подобные тому, что носил Французик. Он словно размножился: вместо одного теперь небольшая толпа. И все ж один главенствовал: на подставке, носилках, постаменте, — не знаю уж, как назвать, — над толпой возвышался мной было потерянный, скромнейший пророк. Но не живьем, а кукла, да, раскрашенная кукла, то ль из папье-маше, то ль гипсовая. Короче говоря, тут главенствовал его муляж, в точь похожий на восковую персону, что я когда-то видел в музее. Как и там, в нем все ж оставалось тепло. Со своего постаamenta он глядел чуть растерянно, смущенно улыбаясь, равнодушный к любым славословиям. И это, что ли, морок? Или некая заманка сюжета? Тогда было б расточительно упустить его. Себе никогда не прощу, коль это шествие так и пройдет мимо. Отложив блокнот, сейчас помчусь на улицу, чтобы все увидеть вблизи. А глядишь, увлеченный сюжетом, и присоединюсь к толпе, подхватив заунывное пенье.

Вечереет. Сижу перед допотопным компьютером, медлительным, как бронтозавр. В гостинице нашелся не только телефон, но и вот это чудовище с монитором во весь стол, предоставленное в мое распоряжение. А процессия? Заманчивый сюжет ускользнул. Она будто растворилась в воздухе вместе со своим торжественным речитативом. Казалось, одна минута, чтоб мне надеть свитер и зашнуровать ботинки, но улица оказалась уже пуста. Свернули за угол? Я выглянул за все четыре угла по краям маленькой площади, но были пустыньны и окрестные улицы. А пафосный напев теперь смешался с городскими звуками до почти полной неразличимости. Ну и что дальше — догонять, бежать вслед галопом в своем тонком свитерке, рискуя воспалением легких? Хоть знать бы в какую сторону, но, главное, быть бы уверенным, что это не обман зрения и слуха, не какая-то подозрительная, малодостоверная помесь литературы с жизнью. Но теперь все почти разъяснилось. Когда я хозяину пальцами изобразил шествие, а также воспроизвел, как вышло, торжествующее песнопенье, он, кивнув, произнес: «Ла феста аннуале», что мой электронный мастодонт перевел как «ежегодный праздник». Выходит, это празднество в честь Французика, хотя и совсем малолюдное, в отличие от шахматной битвы за независимость, что я наблюдал с горы. Можно понять: зима — не лето. Кому охота бродить по городу в продуваемых ветром накидухах из мешковины и сандалиях на босу ногу?

Но я вдруг заподозрил, что это чисто формальное торжество, не от души, а, так сказать, протокольное, чествование приметного земляка в городе, которому особо нечем похвастаться. Иначе позволил бы муниципалитет так загадить мемориальный сарайчик? Если Французик лишь только грядет, не уверен, что здесь уповают на его рождение, которое наконец выпихнет городок из дремотного Средневековья, его отдав на распыл шалеющей современности.

Остаток дня я провел без видимой пользы, но не бесполезно. Не стал тревожить девиц и домохозяек, но возможному кулинару позвонил по всем четырем номерам. Один не ответил вовсе. По другому, после того как я назвал свое имя и пропел мелодичное название хостела, мужской голос ответил кратко: что-то вроде бр-пр, и сразу гудки, — кажется, меня попросту послали, наверно, приняв за шутника. Женский голос по третьему был чуть ласковей, но сообщил на ломаном английском, что абонент отсутствует, а я постеснялся спросить, вышел ли он на минуту за хлебом, с ней расстался навек иль вообще — кто знает? — пропал без вести. Интересней других оказался четвертый номер. Там работал автоответчик, который после гудка хрипло залопотал, мне показалось, те самые напевные строки то ль Брессанса, то ль неведомого провансальского трубадура, что валлон нам вдохновенно декламировал на вечеряющем горном склоне, в ту пору, когда я тут был счастлив. Значит, все-таки оставалась надежда.

Потом, отважившись, я набрал телефон Французика. Мне ответила секретарша, так и представилась. От растерянности я брякнул впрямую: «Синьорина, могу ли

поговорить?..» Девушка, хихикнув, ответила на вполне сносном английском, но мне хорошо знакомое: «He is faraway now, — и добавила: — And now there is nobody here». Затем пояснила на местном: «Ла festa аннуале». Тут уже я сам повесил трубку. Ясно, что какая-нибудь контора вроде фестивального оргкомитета или Общества друзей Французика. То есть одна из проклинаемых мной и наверняка чуждых ему институций, нороящих извратить любой порыв чистосердечия. Пыльный запах бюрократии мне еще гаже, чем откровенная вонь эксcrementов. И правильно, что я не помчался вслед не живому, а восковому иль гипсовому Французикю.

Сейчас терзаю древний комп, или, скорей, он терзает меня. Чудит вовсю, показывает свой маразматический норов, как, помню, мой зажившийся на свете, девяностолетний прадедушка. Сперва глянул свою почту. Испанец молчит, будто сгинувший среди теперь посуровевших здешних долин. Но вот хокку от плодovитой японки: «Ты теперь далеко: / Теперь для меня / Только слух и предание». Между прочим, и она употребила это навязчивое «faraway». Ее стишки удивительным образом всегда впадают. Вряд ли тут мистическая связь, скорей одинаковый настрой души. Надо б наконец ей как-то ответить. Но имеет смысл тоже поэтически, а к стихам я бездарен, наверно, в силу генетики. Попытался сложить хокку, но меня не хватило даже на эти три строчки. Хотя столь компактный жанр, не исключю, наиболее труден.

Электронный бронтозавр хамит и глючит. Пытаюсь найти сайт горного хостела, а он мне взамен подсовывает рекламу прокладок, памперсов и даже интим-услуг. Внутренняя разлаженность его делает словно одушевленным.

Однако что на прежнем сайте горной гостинички теперь находилась реклама праздничных фейерверков, шутих, бенгальских огней и других огненных игрищ, это наверняка не ехидство этой машинки, а некий подвох самой жизни, ее ирония или, может быть, какая-то подсказка. А возможно, просто одна из бойких рифм существования, которые наверняка не стоит переоценивать. Когда ж я задал в гугле поиск Французика, ветеран научно-технического прогресса охнул, крикнул, всхлипнул и его экран безнадежно угас. Ну и черт с ним! Уже писал, — кажется, и многократно, — что не доверяю современной технике. Ждет неприятный разговор с хозяином. Откупиться недорого: пускай себе купит что-нибудь поновее. Но, возможно, этот склеротический прадедушка ему дорог как память.

Можно было б сказать, что сегодня день сплошных неудач. Но не отсек ли он тупиковые сюжеты? И вообще, коль отыскиваешь общий смысл бытия иль, скажем, его краеугольные закономерности, нелепо уповать на удачу, какой-то счастливый случай. Опять гордыня! Уж больно я высоко взлетел на своих бумажных крыльях. Общий смысл? Похоже, я растерял даже и частные. Себе кажусь, если не Дон Кихотом, то хотя б Санчо Пансой, а на недобрый взгляд со стороны могу видеться затравленным зверьком, в любом шорохе готовым почуять угрозу или надежду. Но и это будет неверно. Я сюда возвратился, чтоб себе возвратить то ясное чувство, в свете которого даже совсем непонятное делается понятней. Упавал на благодать, которая дается даром, но ведь вольна — кому преподносится, кому нет. И конечно, нельзя ее поторап-

ливать, требуется терпенье, коего у меня очень малый запас. Я уже испытал здесь разочарования, но взамен прежнего унынья теперь чувствую бодрость. Как ни обгаживай его память, дух Французика тут все ж доносится из его «фарвей».

Притихший город за окном вдруг оживился. Взлетевшая ввысь ракета подкрасила мою тень сиреневым. Поднялась невысоко и, будто поколебавшись в небе, начала падать вниз, оставив дымный след. Лениво рассыпалась небогатая шутиха. Ах да, сегодня же праздник. Но какой-то вялый. Ничего общего с роскошным файер-шоу, которое на прощанье мне закатил наш мусульманин. Жизнь рифмуется, но тут не рифма, а приблизительное созвучие. Как это у меня часто бывает.

Запись № 17

Весь день шлялся по городу. Теперь его жители мне показались приветливей. Сегодня лучше погода, день солнечный. Может, вот и причина: это традиционное общество, живущее природными циклами, не меньше меня отзывчиво к метеорологии. А возможно, я здесь уже пообвыкся, с меня хотя б отчасти сошел их раздражающий иноземный налет. Раньше слепой, город частично прозрел: некоторые дома теперь распахнули ставни. Будто стало меньше тупиков, а коль все ж мне случалось уткнуться в городскую стену, в бойницах сквозило чистое небо.

Пару дней назад были закрыты все городские таверны и кабаки. Теперь все-таки нашел работающий пивной подвальчик, как и моя комната, уютно архаичный, с вытертыми козлиными шкурами на стенах, нависшими потолочными балками и пожелтевшей фоткой группы «Битлз». Кстати, пиво тут превосходное, мягкое, чуть по вкусу медвяное, какой-то здешний традиционный сорт. Три-четыре посетителя немного люмпенского вида ко мне отнеслись довольно-таки дружелюбно. Один даже сам проявил охоту к общению. Ткнув в мою сторону пальцем для большей понятности, спросил: «Американо?» Я отрицательно качнул головой: понял уже в прошлый раз, что здесь американцы, как, наверно, и везде, будят страсть к разного рода попрошайничеству. «Поляко?» — тут я не возразил. Пусть буду поляком, все же где-то близко и, насколько помню, к ним в этом государстве нет исторических претензий, — вдобавок, сделаюсь соотечественником мною покинутой Эвы. Местного люмпена это, кажется, обрадовало. Редкозубо ощерившись, он внятно произнес «Ян Павел» и «Матка Боска». После этого мы с ним дружески чокнулись пивом. Но дальше разговор не клеился. Словоохотливый парень мне что-то пытался рассказать, но для меня его речь была столь бессмысленна, как птичьи трели. И вдруг прозвучало: «Идальго». Нет, на этот раз точно не ослышался: это слово почему-то развеселило других посетителей, они радостно подхватили: «Идальго, идальго». Я, конечно, догадался о ком речь, тем более что один из них подрыгал ногами, будто вертит педали, другой ладонью изобразил головной убор, имея в виду велосипедный шлем, а третий дополнил пантомиму международным жестом: покрутил пальцем у виска.

Не думаю, чтоб это были посланцы судьбы. Простая сообразительность: на всю округу нас только двое иноземных чудаков, разумно предположить между нами некую связь. Конечно, я постарался выяснить, где теперь его найти, этого придурковатого идальго на разбитом велосипеде. Они, по-моему, искренне пожимали плечами, чертя рукой широченную дугу во весь горизонт.

А дальше — чистая мистика, какой-то уже подвох сюжета. Уставившись на меня, говорливый люмпен неожиданно воскликнул: «Нон э поляко, — Франциско!» — и обернулся к товарищам будто за поддержкой. Я стал озираться. Мало ли что сотворит магия литературы. На миг даже поверил, что в пивнушку действительно заглянул Французик, тихо и скромно, как просто городской обыватель. Но все оказалось, пожалуй, еще более странно. Теперь все трое-четверо на меня указывали пальцами, лопоча нечто вроде «имаджине спутата», по крайней мере, так мне послышалось. Меня, что ль, приняли за Французика? Нет, конечно: отзывчивые к юмору парни явно потешались. Но, значит, все-таки уловили некое сходство. Я потом глянул в мутное зеркало тамошнего сортира. И ведь действительно что-то есть: вместо самодовольной ряхи отразился изможденный лик аскета, с застенчивой улыбкой и черными подглазьями, словно обведенными многодневной бессонницей. Видимо, я так проникся мечтой, что обрел внешнее сходство с этим скромнейшим проповедником. Но прочь гордыню! Я-то знаю, что сходство только внешнее: это маска, с лишь позаимствованным выражением мысли и чувства. Воистину тут магия литературы: давно где-то слышал или вычитал, что автор со временем начинает

походить на своего героя. Но для меня все-таки большая неожиданность.

Однако неожиданное открытие вовсе не повергло в шок. Очутившись в собственной литературе, я начал привыкать к любимым ее зигзагам, вольным или невольным мистификациям. Даже любопытно, куда приведет наконец завязавшийся увлекательный для меня сюжет. Как автору не испытать растерянность, если вдруг разбежались все его герои? Кроме, конечно, себя любимого, преданного мукам самоедства. Остальные же, ускользнув в темнейшую глубь повествования, могут там подготовить какую-нибудь каверзу. Догадываюсь, кто мне внушил заранее такую настороженность к собственным героям. Вспомнил странную повесть (может, и не повесть, а некое размышление вне жанра) моего дружка, который сам давно растворился в нетях (см. запись № 2). Уже не припомню подробностей, а развязки так и не узнал, поскольку, как и все его сочинения, не дочитал до конца: в этой тягучей, хотя чем-то и притягательной, прозе, я всегда норовил увязнуть, как муха в банке с вареньем. Но ее суть в том, что литературный герой, взбунтовавшись против автора, сорвался с книжных страниц и, как помню, сумел еще как нагадить всему человечеству. Мои-то вряд ли нагадят. Не таков мой талант, чтобы внушить своим персонажам вселенского масштаба силу добра или зла. Но крутится, все так и крутится в башке словечко «предательство». Только в двух своих героях могу быть полностью уверен: никогда не предаст тот, кто назван местоимением «я» и которому действительно отдал частицу собственной личности.

И конечно, никогда не предаст Французик, неважно будь он, мечта, сон или упование. Собственно, в моем дневнике только нас двое истинные субъекты. Другие — просто персонажи. Но любой из них, даже самый тишайший, чувствую, необходим, как, допустим, меж нами посредник. Хорошо, что хотя один, кажется, отыскался.

Сейчас поглаживаю смуглую кожицу своего блокнота. Впервые заметил, какая она на ощупь нежная, ласковая, а позолота почти стерлась, — теперь у меня золотые пальцы, как у царя Мидаса. Написано: «Made in Naoero». Я не силен в географии, тем более что страны теперь размножились до полного безобразия. Но про тихоокеанский независимый островок Науру кое-что знаю. Наш холдинг с ним когда-то вел небольшую коммерцию: покупал фосфаты, точнее попросту птичий помет, гуано, которого за столетия там накопились многие тонны — видимо, единственный предмет экспорта и основа национального благосостояния. Если не считать, как выяснилось, кожаных блокнотиков. Традиционное ремесло? Надеюсь, островок давно изжил столь сомнительные традиции, как людоедство и охоту за черепами. Хотя кто знает?.. Неизвестно, какие звери там водятся и водятся ли вообще. Все-таки навряд кожа человеческая. Да-с, был бы чернейший юмор, но как раз в духе некоторых моих коллег. Какие-то дикие мысли прут в голову. Знает, пора мне на боковую.

Отогреваюсь у камина. Сегодня власть надыхался студеным воздухом здешних взгорий. Тем более что армейский джип продувало изо всех щелей. Утром было неприятное объяснение с хозяином мной убитого компа. Он горестно вскидывал руки, изображая бровями глубокую скорбь, попытался его реанимировать дедовским методом, то есть саданув ладонью по крышке. Покойник мигнул, всхлипнул и окончательно погас. Чувствуя вину, откупился я щедро: за такие деньги всю гостиничку можно забить оргтехникой. Но хозяин продолжал укоризненно качать головой, сокрушаясь: «Прима компутор». Наверняка не в том смысле, что превосходный, а, надо понимать, первый во всей округе, то есть в некотором роде, антикварная и даже мемориальная ценность. Я приготовился к трудным переговорам на пальцах об аренде джипа. Но нет, владелец драндулета легко согласился его предоставить в аренду на пару дней, только потребовал в залог («эз секьюрити»: когда ему надо, он вспоминал английский) сумму, за которую можно купить десяток таких развалин. В наших краях за него б и гроша не дали, но здесь это, наверно, тоже антиквариат.

Весь день я колесил по округе, испытывая душевную легкость и новорожденный кураж. Разумеется, лучше, чем торчать в неудобном номере, под звуки домашних насекомых копаясь в собственных кишках, или даже бродить по исхоженному вдоль и поперек городку, где не сберегли память о своем Французике. Мой рыдван мотало и кидало во все стороны на раскисших от дождей дорогах, его проскваживали осенние ветры, но проходимость была

зверская: легко взмывал на любую горку под самым крутым углом. Я чувствовал радость движения, притом без точной цели, вольного, от которого давно отвык, — кати куда глаза глядят среди этих неиссякаемых красот. Я очутился внутри пейзажа, который теперь представал зримой реальностью и несомненным чувством; был им объят, прежде будто замурованный в себе самом. Даже удивлен, как ему бодро откликнулась моя обленившаяся, скаредная на чувства душа. (Как-то слишком красиво заговорил, словно чужим голосом.)

Теперь, зная местную кличку испанца, я расспрашивал о придурковатом идальго каждого встречного, сопровождая вопрос, подхваченной у люмпенов пантомимой: болтал ногами, изображая педали, и крутил пальцем у виска, — поперечные откликались примерно так же, как мои собеседники в пивбаре: начинали ржать, обводя рукой широченный полукруг. Только одна милая девушка в пелеринке древней моды грустно пролепетала: «Кавальере тристе имаджине». Значит, в этом, как мне казалось, в себе закуклившемся пространстве все-таки знакомы с мировой классикой. Впрочем, рыцарские времена тут, видимо, еще не до конца миновали.

Я искал «кавальере», как иголку в стоге сена. Иногда мне на горизонте виделся одинокий велосипедист в шлеме, похожем на тазик цирюльника, но всякий раз он оказывался миражом или деревом, кустом, валуном. Однажды я различил на земле четкий след велосипедной шины. Верст пять гнал по следу, который вилял, скручивался в петли, а потом вдруг оборвался безо всякой причины, словно байк, взмыл в небо вместе с наездником. Подумал: и бог с ним. Теперь был уверен, что этот ко мне расположенный край сохранит

все для меня нужное, ни единый персонаж тут не затеряется. А может, и рыцарь меня сейчас ищет, узнав от местных о таком же, как он, придурковатом иноземце (тоже, небось, вертели пальцем у виска, и руками изображали руль моего пострадавшего в неведомых боях джипа). Так я радостно мчал наугад, победно крикая охрипшим клаксоном, чей звук, однако, не заглушал переклички будто наконец проснувшихся от спячки колоколен.

Сейчас прервусь. С недовольным бурчанием в комнату рвется хозяин. День начался склочной беседой, тем и завершится. Теперь по поводу джипа: мало того что он заляпан грязью по самую макушку, так еще на очередном повороте я немного покорябал бок, задев чудовищного размера валун. Царапина почти незаметная, но уже знаю, как трепетно он относится к своему добру и как непримирим к порче собственности. Хотя его утреннее возмущение казалось слегка театральным, преувеличенным, — небось, чтоб содрать побольше за тот невеликий ущерб...

С драндулетом пронесло. О нем хозяин даже не помянул. Считает залог надежной гарантией: потом наверняка вычтет за ремонт, покраску и еще что-нибудь, типа амортизации шин. Цель ночного набега была вовсе другой. Почему-то сварливым тоном он сообщил, что мне сегодня дважды звонили (изобразил телефонную трубку и дзынькнул, — так два раза). Подчеркнул, что с некими важными сообщениями. Увы, из его торопливой речи я только и разобрал общепонятное «мессажи импортанти». Но, если так уж «импортанти», могли б оставить свои номера, но нет. Интересно, кто б это? Моя родина отпадает сразу, там я тщательно замел все следы, — а этому меня

жизнь хорошо научила, не оставлять никаких улик. Может быть, потому и за Интерполом, как выяснил, пока не числюсь. Выходит, наверняка кто-то местный. Если судить разумно, подозрение падает только на двух абонентов с определителями номера: один, где стоял автоответчик, другой же — фестивальным оргкомитет или нечто в этом роде. Спустившись в холл, я позвонил по обоим номерам. Телефон предполагаемого бельгийца, как и прежде, шепелявил дорийским ладом. Потом, одолев брезгливость, на всякий случай звякнул в Общество друзей Францулика, а вернее — обсиранья его памяти, где теперь тоже работал автоответчик, пропевший девичьим голоском: «And now there is nobody here» (может быть, я и в тот раз беседовал с ответчиком? нет, кажется, она что-то еще говорила, Только повесив трубку, я вспомнил, что сейчас уже ночь.

Ладно, утром перезвоню, а может, и не стану. Во мне еще бурлит дневной кураж. В глубинах моего письма или самой жизни, что теперь для меня почти едино, чую, зашевелился, словно очнулся, сюжет: теперь не я его должен искать, а он меня, уверен, сам отыщет. Хотя б для того, что низвергнуть, как несостоявшегося, для него бесполезного демиурга. Помню из двухтомника «Мифы народов мира», когда-то мной зачитанного до дыр, что, бывало, миры создавали некие, что ль, неполновластные сущности, не боги, а скорей, демоны. У них не хватало ни прилежанья, ни благодати, ни ответственности, в конце концов, мудрости, чтоб должно опекать ими сотворенный универсум. Оттого некоторые из них попросту бросали его на произвол судьбы. Для мною созданного мира (это не магия величия: любой пишущий всегда творец, если уж не мира, так мирка) я такое вот праздное, отсутствующее

божество. А Французик, даже находясь «фарвей», все равно присутствует в мире, в моем по крайней мере. Конечно, я тупо излагаю, но это чувствую вернее, чем пишу.

Стих городок за моими круглыми окнами, на него уставшимися, как два глаза. Ночь для меня теперь будто прозрачна. И все дома словно распахнули крыши, его жизнь для меня теперь как на ладони. Уверен, что мог бы написать об этой местности не один роман, ее возвеличить, как удастся, иль, наоборот, повергнуть в прах. Но мне, ленивому демиургу, закончить хотя б единственную историю, спасти мною созданный, пусть кривобокий мирок, что запечатлен в кожаном блокнотике с обтершейся позолотой, от гибели и позора. (Как-то слишком звучит патетично. Возможно, я сам выброшу блокнот на помойку, тем перечеркнув неудавшийся или просто мне опостылевший универсум, — а может быть, утоплю в здешней изумрудного цвета речке или сожгу в камине. Ведь не раз боги предавали разочаровавший их мир вселенскому потопу или пожару. Чисто психологически их можно понять.)

Запись № 19

Сегодня, наверно, важнейший день не только за этот год, но, может, и во всей моей жизни. Утром не стал звонить по не откликнувшимся номерам. Подумал, что не стоит понуждать сюжет, но и целый день торчать в отсыревшей комнате у прогоревшего камина, дожидаясь, пока мне звякнут по

второму разу таинственные абоненты, счел недостойным демиурга. То есть решил не понуждать, не поджидать, а предоставить сюжету реальный шанс, ему, так сказать, активно «подставиться». Короче говоря, вновь отправился колесить по округе на своем ныне попорченном джипе. Но теперь ехал медленно, не бесшабашно, как вчера, а рассудительно. На любой развилке задумывался, куда повернуть, правда, больше доверяя своей интуиции. Теперь пейзаж не летел встреч мне опростелью, а наплывал торжественно, во всем блеске своих неповторимых подробностей (напрасно я их всю жизнь словно упускал мимо глаз и души, теперь стал догадываться, что, бывает, именно в них-то и суть). Неторопливо миновал помпезный храм, где, как в саркофаге, покоилась трогательная церковка, что Французик некогда возвел своими руками. Помню, я раньше дурачки его сравнил с ресторанным омаром, где одна скорлупа, а пицци на полмизинчика. Хлесткая метафора, но теперь этот храм смотрелся не столь победно-державным. Стоял одинокий, словно всеми покинутый, плохо вписанный в окрестный пейзаж, возможно, поэтому выглядел немного смущенным. Может, и стоило мне навестить там спрятанную часовенку, но от храма веяло холодом и унынием. К тому ж был уверен, что там не найду Французика, который нынче, как я узнал, пребывает в совершенном, безотносительном далеке. К полудню мне вдруг показалось, что я кручусь на одном месте, езжу кругами. Виды гор и долин повторялись, хотя не бесцельно: подробности множились, становились зримей детали. Пейзаж меня будто взял в плен. Пускай он и сладостный, но все ж хотелось выломиться из такой круговерти.

Солнце уже миновало зенит, когда сюжет наконец, коль можно выразиться, затрепетал, подспудно завибрировал: одна за другой мне стали являться приметы моей же литературы, пусть пока уклончивые намеки, словно значки и пометки на полях рукописи, сделанные каким-то безымянным редактором. Это началось, когда, уставши от упоительного, но все ж, по сути, топтанья на месте, я догадался делать привалы в каждой встреченной забегаловке. Стены знакомого кабачка «Джинестрель», где я уже побывал с братом волком, теперь были украшены фотографиями в узнаваемом стиле: безусловно творчество хмурой финской четы. Сам же братец волк скалился из угла, теперь в виде чучела. «Мори», — грустно пояснил хозяин. В уже другой таверне над барной стойкой сияла летними красками картина польской Эвы. Тут я уж никак не мог ошибиться: помимо библейского сюжета с довольно точным автопортретом художницы, я, конечно, узнал провиденциальное пятнышко в верхнем углу, пернатое и легкокрылое. «Ла Кадута висеверса», — улыбнувшись, назвал картину официант в зеленом доломанчике. Что такое «кадута» я не знал, но сразу догадался, тем более что парень сделал нисходящий жест ладонью. Действительно «Грехопадение наоборот», ибо соблазнительный плод вручал мужчина женщине. Надо ж такое придумать: удивительная трактовка сюжета, сулящая полный разворот всей человеческой комедии.

Но самое удивительное, что отметилась также японка. В безлюдной, открытой всем ветрам харчевне на подъеме в крутую горку, к потолочным балкам были привязаны красной шелковой нитью бумажные листки с тремя строчками иероглифов. Тут ее хокку выглядели красиво, в отличие от их перевода на англиш: невыразительная латиница,

конечно, убивала всю эстетику. Пожалуй, теперь, безгласные, они сообщали побольше чем в искаженном двойном переводе на языки инородных культур. Но откуда они тут появились, не близок ли я был к истине, давно заподозрив меж нами с японкой некую телепатию? Хозяйка ресторанички на мои расспросы отвечала невнятным квохтаньем, при этом изображая двумя пальцами косоглазие.

Но это все присказка: значки, метки, заманки. Уже написал, что доверился интуиции, и она не подвела. От «японского» ресторанички, я направился выше в гору. Миновал самодельные домики — видно, летние пастушеские временки. За ними кончилась каменистая дорога, началась узкая тропа, где уже никак не проехать. Мне втемяшилось непременно достичь вершины. Взялся пёхом, призванный интуицией, но также и невесть откуда взявшимся ароматом цветущих роз, сперва тишайшим, едва заметным, но крепнувшим с моим каждым шагом. Уже поднявшись на самую верхотуру, когда цветочный аромат сделался густым, плотным, но все ж не душным и не чрезмерным, я заметил проем в скале — узкий лаз в половину человеческого роста. Пещерка была очень кстати, поскольку вдруг мелко заморосил холодный по-зимнему дождик. Оказалась тесной — метра по четыре в ширину и длину. Вряд ли убежище пастуха, иначе б смердело мужским потом и домашней скотиной вместо цветочного благоухания. Осенила догадка: вот наконец и свершилось чудо! Сокровенный сюжет, своим размашистым зигзагом привел меня туда, куда я и стремился, о том не догадываясь. Конечно, это келлейка Французика, его совершенное «далёко». Но сам-то он где, неужто еще дальше? В пещере никаких следов

человеческого обитания, ни бытового сора, ни остатков пищи и вообще ни единой приметы жизненного устройства (нищета, благородная нищета!) Только разве что гладкий камень посередке, не седалище, а будто небольшой столик. Осветив темноватый грот зажигалкой, я обрел величайший дар мною не заслуженной благодати.

На гладко отполированной самой природой столешнице лежала тетрадка, скромная тетрабочка, какой пользовались школяры всех времен, по виду сухая и ломкая, как осенний лист, с надписью «Regula non bullata». Латинское «regula» знакомо, а «bullata» наверняка от папской буллы. Выходит, это новый, истинный устав, сочиненный Французиком взамен вынужденного. С восторгом подумал: наконец-то настоящий, полновесный подарок литературы и судьбы, которая ко мне щедра по мелочам, а в крупном скаредна. Теперь-то узнаю, как жить верно и точно, а не брести наугад, спотыкаясь на каждом шагу. Благоговейно, осторожно, чтоб не попортить, раскрыл тетрадку. Первая страница пуста, вторая тоже, и третья, четвертая, пятая, а на последней четыре подпалины, будто ожоги. Такой вот оказался устав! Самое странное, что я ничуть не был разочарован, словно того и ждал. (Признаюсь, даже испытывал облегченье, что теперь не придется жить по регламенту.) Ведь уже догадался о роковой мощи литературного слова. Так мне аукнулся мой давнишний формоборческий трактатик, развилка жизни, где я свернул в неверную сторону. Тогда аукнул, а мне откликнулся нищий пророк через годы и пространства. Эта тетрабочка — в чистом виде то самое, что я некогда назвал полынью духа: литература, превзошедшая любые слова. Немой устав,

конечно, для всех, а не подарок мне одному, но я так упорно приплетал свою судьбу к судьбе великого нищесброда, что это наверняка и личный совет. Только понять, бы какой именно, — так он деликатен и ненавязчив.

Потом я с вершины горы наблюдал две крошечные фигурки, мужскую и женскую, бредущие в дальнем далеке, под самым горизонтом. Если б я был даже уверен, что это Французик с его безгрешной подругой, которая ему вовек не изменит, конечно, не стал бы его догонять. За него я спокоен, что теперь он не одинок, и был бы чистый бред к их паре присоединиться третьим. Но главное, он мне ответил на все вопросы, а понять ответ это уж дело моей совести или мудрости — скорей, и того и другого. Когда я на своем драндулете спускался с горы, хозяйка ресторанчика, выглянув за дверь, мне крикнула: «Аудио, Франциско!» — и прощально махнула рукой. Я даже не удивился, поскольку устал удивляться. Здесь можно было поставить жирную точку, но понимаю, что уже не хозяин мною закрученному сюжету. Чувствую, он способен еще выкинуть самый дикий фортель, сочинить эпилог, не считаясь с правдоподобием и здравым смыслом.

Запись № 20

Думаю, это будет последняя запись. Двадцать — число аккуратное и достоверное. Еще б единичка, и сорвал банк, но не такой я меткий стрелок, чтобы попасть в яблочко даже со второй попытки. Насчет сюжета я действительно

не ошибся. Может, в какой-то момент я его и упустил, но все-таки мы с ним не окончательно потеряли связь: друг друга чувствуем и перекликаемся. Не зря ждал от него подвоха, но он устроил вообще фантазмагорию, даже, я бы сказал, оргию. Причем взял меня тепленьким, спросоня. При моей инертности, мне нужно время, чтобы раскачаться, включиться в день. Но только я успел промыть глаза, натянуть джинсы и хлебнуть кофейной бурды, в комнату буквально влетела без стука в дверь или другого предупреждения хозяйка горного хостела. Так вот запросто, сама собой, махом вынырнула из глубины коварного сюжета, который расчетливым ударом постарался меня отправить в нокаут. Не совсем получилось, я все же стойкий боец, готовый к любым превратностям жизни, но шок испытал приличный: допустим, это был нокаун.

Девушка сияла восторгом, такой радостной ее не помню. В самом прямом смысле она кинулась мне на шею, разливаясь соловьиными трелями, будто наконец отыскала запропавшего братца, или, учитывая возраст, скорее папашу. Признать, с удовольствием, хотя и вполне целомудренно, я чмокнул красотку с обликом простонародной мадонны, в прохладную от утреннего морозца щеку. Но сюжет в образе милой девушки не дал мне опомниться. Ничего не объяснив, поторапливая: «Престо! Престо!», она буквально выпихнула меня из комнаты, едва позволив надеть меховую куртку. Все развивалось стремительно. Перед гостиницей стоял ее утлый фиатик. И — вновь обретенные потерявшегося героя, впрочем теперь ожидаемое. За рулем драндулета сидел валлонский (я помнил, что просил не путать его с фламандцами) повар, явление которого я уже предвидел заранее. Чтоб напомнить о нашем знакомстве

(не знал, что в некоторых случаях я очень даже памятьлив), он изобразил рукой, что колотит в медный таз, как делал собирая нас к трапезе, а потом — дважды телефонный звонок, затем указав на себя и свою хозяйку. Так и выяснилось, что были за таинственные абоненты, — хотя бы тут сошлись концы с концами. Меня порадовал этот неожиданный прорыв здравомыслия вопреки творящемуся абсурду.

Пока фиатик, надсадно урча, переваливался на дорожных кочках, я попробовал собрать воедино свои разбежавшиеся мысли. Неужто, думал, поддамся демону-путанику, теперь победно простершему надо мной крылья? Сперва решил, что направляемся в наш парадизо, чудесным образом за пару дней возродившийся, как, бывает, карета превращается в тыкву, а потом обратно в карету. Нет, ошибся: на мой вопрос о пансиончике, его прежняя хозяйка развела руками, употребив то же общепонятное слово, что и фермер: «Кризис!» Да я и сам уже заметил, что мы, не свернув в сторону бывшего хостела, теперь огибаем гору. Понял, что сорвавший постромки сюжет, мне готовит сокрушительный удар и надо быть готовым к его лобному бесчинству.

И впрямь, второй хук или джеб, неважно, оказался мощнее первого. Там шокирующей была только неожиданность, а сам факт появления девушки объяснить не так уж и трудно. Но по ту сторону горы мне вдруг показалось, что я разом провалился во временную расселину, будто в каком-то фантастическом романе, хотя и здесь, как давно заметил, их тоже немало. Если мистификация, то уж очень крупномасштабная, потребовавшая многих усилий и немалых затрат, — я-то знаю что почем. К тому ж ее надо

было организовать стремительно: вчера еще пустынная, сладко романтическая долина теперь неузнаваемо переменялась. Если раньше в этих краях неизжитое Средневековье себя обнаруживало только местами, притом казалось дремлющим, почти растворенным в тут издавна обжившемся безвременье, теперь долина оказалась многолюдно бурлящей средневековой жизнью: рыцари, воины с пиками, синьоры, герольды, простолюдины, монахи — короче говоря, здесь властвовал какой-то живописный сумбур, будто жизнь самым натуральным образом отпрянула вспять минимум на тысячелетие.

Сказать, что я ошалел, ничего не сказать. А девушка вдруг захихикала, впрочем, не зло, не ехидно, а скорей лукаво: мол, ну как, хорош мой сюрприз? Внутренне готовый ко всему, я устоял и после этого удара, можно сказать, по яйцам. Студеный ветерок вмиг отвеял было налетевший морок. Да ясное ж дело — снимается кино. Можно было б и сразу догадаться, не только заметив киношную, хер ее знает как назвать, аппаратуру на соседних взгорках, но, главное, исходя из самой логики повествования. Ожидается, будто в романе или повести, сплелись в один узелок все растрепанные охвостья моего сюжета. Теперь, казалось, больше нечем меня удивить. Уж, разумеется, не тем, что тут, как на последний парад, вышли все героини моей повести. Значит, неплохо выдуманы, коль обрели свою волю? Но, может, и вовсе наоборот — это у меня не хватило таланта, чтоб живых людей превратить в мне подвластную литературу. Оказалось, все они тут при деле, разумеется, не массовка. Хмурые финны деловито щелкали кодаками. Мусульманский пиротехник, налаживая какую-то бомбарду, мне показал руками летящий самолет, — все-таки

был тот самый. Польская Эва, конечно, сценограф (кажется, так зовется), — подмигнув, она сделала двойственный жест: или мне преподнеса роковой плод, или от меня его требуя. Бельгийский повар уже хлопотал у полевой кухни, — надо ж съемочной группе чем-то питаться. Бывшая хозяйка пансиончика, уверен, в любом фильме достойна главной женской роли. Но нет: как я узнал позже, тут пригодился ее опыт администрирования искусством, была главным администратором или помрежем, — не знаю, как точно назвать эти киносъемочные функции. Нашлась и японка, хотя непонятно, как ее-то здесь можно использовать. Она меня еще больше запутала, шепнув на ухо свой последний стих: «Искала его повсюду. / Не нашла. / А он всегда был рядом». Так все же я или Французик? Или, возможно, два главных героя для нее слиплись воедино. Думаю, восточная поэтесса некая заначка сюжета на будущее, как, возможно, и полька, само имя которой, кажется, сулило ей более серьезную роль в повествовании.

Да, все они тут, налицо! Как и подозревал, действительно тайком сговорились. В моей замороченной голове последний раз вспыхнуло слово «Предательство!» (именно так: с большой буквы и восклицательным знаком), потом же рассыпалось искрами, как праздничная шутиха исламского пиротехника. А испанец, прикинувшийся Дон Кихотом, выходит, у них главарь. Я даже не брал в расчет, что он какой-никакой писатель, к тому же профессионал, не дилетант вроде меня. Воспользовавшись неопытностью автора, он забрал сюжет в свои руки. Теперь его образ вовсе не выглядел печальным, напротив — победным. Даже явилась некая начальственность, которой

в нем не подозревал. Но вопрос: меня-то зачем сюда приволокли? Ну снимали бы сами фильм о Французике, своевольно поворачивая сюжет в любую сторону, как того пожелают. Низвергнутый демиург, в качестве режиссера я им, конечно, не нужен. Разве что хотят предложить роль папаши, которому, созревший в героическом намеренье Французик, некогда брезгливо швырнул под ноги свои обноски, так отрекаясь от прошлого.

Почти ведь угадал! Последний выверт сюжета оказался наиковарнейшим, еще и соблазнительным. Именно: предложили роль! Да еще какую — самого Французика. Тут уж я действительно растерялся, хотя малая горстка здешних обывателей да еще мутное зеркало в сортире уже засвидетельствовали наше благоприобретенное сходство. Знаю — только внешнее, но разве этого мало? Ничего не скажешь — почетное предложение. (Я им все-таки нужен: автора, даже неловкого, так запросто не вышвырнуть за дверь, в смысле что не вымарать из каждой строки.) Но я от него отбрыкивался как мог. Ответственность-то какая! А я только раз выходил на сцену — в школьном спектакле сыграл Павлика Морозова. Но, главное, вообще терпеть не могу лицедейства, и театр мне всегда казался неприятно пафосным зрелищем, где жизнь приподнята на котурны даже когда хотят ее унизить или, пускай, даже во все смешать с дерьмом. Последний раз там побывал лет десять назад, в махонькой, трогательно провинциальной оффшорной стране. Почему-то вдруг захотелось. Может быть, от скуки в отсутствие других развлечений или решил, что он там сохранился в своем первозданном виде — незаносчивым, общенародным зрелищем. И ведь оказался прав. Но с тех пор в театр не влекло. Правда, здесь кино,

все-таки немного другое искусство, тебе смонтируют роль безо всякой системы Станиславского и озвучат на любом языке.

Меня уговаривали все мои персонажи хором. Девушка твердила знакомое «имаджине спутата», мне подсовывая карманное зеркальце. (Вот если б ей досталась женская роль, у меня сразу отпали сомнения.) Но что там разглядишь? Только смятенный глаз, нахмуренный лоб и плохо выбритый подбородок. Испанец меня заверил, что тут не какая-то профанация, а «но соап, артхаус», мол, не многосерийное «мыло», а большое кино. Теперь понятно, откуда его одержимость: и впрямь почти донкихтство от привычной кормушки устремиться к еще неизведанным, но заманчивым горизонтам. Познакомил с режиссером. Судя по тому, сколь торжественно огласил его имя, он среди киношников знаменитость. Но для меня-то пустой звук. Это сообразив, они выложили главный козырь: сценарист раза три с каким-то особым значением произнес слово «пальма», а режиссер для понятности потрянул самой развесистой веткой соседнего дерева — истрепанной ветрами пальмы, и чуть комически мне поклонился. Какой я ни профан в кино, однако понял, что речь идет о главной награде важнейшего кинофестиваля. Но меня убедило другое. (Самому довелось не единожды заседать в различных жюри, от конкурсов красоты до конкурса малой прозы и любительского караоке, знаю, что везде сплошной блат и коррупция.) Убедителен был облик самого режиссера, курчавого латиноса с немного шальным взглядом, где угадывалась хотя б и микроскопическая гениальница, оставлявшая надежду, что им, как и мной, овладеет мечта о всегда ускользавшем пророке.

Короче говоря, я согласился, принял вызов судьбы, а также литературы. Счел трусостью от него уклониться. Ведь считал себя рискованным парнем, в чем убедил и других. Это ль не полновесный дар судьбы, что я всегда ожидал? Выйдет крутая перемена: из непонятно кого вдруг стану артистом, да еще в фильме, возможно, великого режиссера? Кто б отказался? Но главное для меня не актерская слава или престиж профессии, а удивительная возможность побыть не только с Французиком, но отчасти самим Французиком. Не лучший ли способ его понять истинно и глубоко? По крайней мере, я так себя убеждаю.

Запись № 21

Все-таки потребовалась еще одна запись, но не затем чтоб сорвать банк. Решил сам написать эпилог, его никому не доверив. Знаю, что вчерашний день изобразил торопливо, аляповато и сумбурно, притаившись в киношном вагончике. Собственно, таким он и был — торопливым, сумбурным. В нем заплутавши, я почти уступил соблазну, да еще это прикрывал ханжеским мотивом мнимого слияния автора с его главным героем. Был готов любого заподозрить в предательстве, а сам-то? Теперь понимаю, что настырно вертевшееся в голове словечко — не предупреждение о чьих-либо кознях, а тревожный сигнал себе самому (и наверняка неслучайно вчера вспомнил свой театральный дебют на школьной сцене). Какой из меня Французик?

Даже его роль не сумел бы сыграть достойно, коль оказался не до конца равнодушен к мирской славе. Выглядел бы просто ряженым. Отсутствие актерского опыта — ерунда, тьфу, но было бы худшим предательством изображать моего Французика нечистосердечно, с уязвленной душой. Не знаю намеренья моих взбунтовавшихся персонажей: то ль они хотели мне блага, сколь его понимают, то ль, наоборот, унижить, подбив на предательское лицедейство, или же, как раз и подвергнуть соблазну, испытать своего автора на вшивость. Бог с ними, я грубо выломился из сюжета, а на деле попросту тихо смылся. Прямо как был — в домотканом плаще и сандалиях на босу ногу, так одетый для кинопробы.

Пишу в горной келье, притулившись у каменного столика, где так и лежит необнародованный Устав. Его забрать я тогда посчитал кощунством. Теперь же непременно возьму с собой, чтобы читать и перечитывать, — за ним сюда и вернулся. В пустую с виду тетрадку, разумеется, не впишу ни буквы, ибо нечего добавить. И конечно, тут не останусь надолго. Такой обители я недостойн — чувствую, как цветочный аромат постепенно сходит на нет, уступая место терпким запахам мира. Думаю, что я верно понял деликатный намек скромного нищеврода: готов отправиться в путь, где, надеюсь, меня ждет совершенная радость. Уйду налегке и свободный от всех долгов: наследство предусмотрительно разделил по справедливости, а хозяину гостиницы хватит с избытком моего залога. Новый сон о Французике закончится так же, как первый, — бегством. Но с той разницей, что сберегу, оставлю себе вот этот блокнотик из кожи,

так напоминающей человеческую, с теперь до конца стершейся позолотой. Не буду ни жечь его, ни топить, ни затевать Страшный суд над своим провинившимся героями. То есть в отличие от гневных богов, помилую этот мною созданный мирок, пусть уж существует как есть, в своем человеческом и человечесном несовершенстве. Сейчас немного передохну и — в дорогу, но все ж крепко памятуя достоверную притчу о лжемессии (см. запись № 4).

Последний уже блокнот

Запись № 1

Я ушел из кельи, где постепенно сходил на нет цветочный аромат — след пребывания там Французика или сладкое дуновение мечты о нем. Казалось бы, тут обрыв всех сюжетов моего бытия, равный смерти, хотя бы потому, что столь же безвозвратен, как и та. Повесть, что сама собой выстроилась из моих довольно, наверняка, корявых и сумбурных записок иссохла до последней капли, и просто глупо пытаться собрать разбежавшихся кто куда персонажей, у любого из которых теперь собственная судьба, надеюсь, более-менее благополучная, но к моей уже непричастная, — но, может, и вовсе они обратились в прах без моего присмотра. (Впрочем, еще вопрос, так велика ли разница между лицом, нами вымышленным и, по видимости, реальными, которые тоже в большой мере наша собственная фантазия? Но все же любопытно, отснят ли был в результате тот задуманный ими фильм или то был мой личный вымысел, не слишком хитроумный с точки зрения литературы способ собрать их всех напоследок в качестве, можно сказать, финального аккорда да еще акцентировать, подчеркнуть мой жест отречения от мира и соблазнительных перспектив существования?) В том и добросовестность любого автора, даже не слишком умелого, пусть и мельчайшего из мелких, если он все же не до конца бездарен, чтоб не понуждать, свою разбежавшуюся по бумаге руку, которая сама знает, где поставить точку. Но я-то сумел через нее перешагнуть.

Что ж до моей упорной мечты, то я в результате вымечтал достойный ее плод. Нет, скорей, достойный меня —

бессловесное поучение, пустую пропись, куда уже не прибавить ни единой буквы, с полной свободой понять ее или не понять, ей следовать или отбросить. По моей малости, именно этого я и достоин, наверняка сумевший бы переврать любое слово, а самое благодетельное поучение переиначить себе же во вред. Тем, впрочем, не отличаясь от даже трогательных в своем несовершенстве насельников мира сего, в целом же составляющих неблагодарное и хищное человечество, которое, как полный несмышлениш, вовсе безобидную или даже весьма полезную для общего развития игрушку норовит себе засунуть в рот или задницу. Пусть кто-то скажет, что я прореха на человечестве, но не та ли, откуда свозит вечность?

Свой прежний мир я выстраивал долгие годы: бережно копил необходимые привычки, скрупулезно вникал в хитросплетения жизни, строил отношения с ближними и дальними, находя верный баланс приятельства и вражды. Сколько лет потратил, чтоб тот мир достиг ему доступного совершенства. Однако мой нынешний оказался совершенен вовсе в другом смысле, — ни единый из моих навыков и умений мне тут нисколько не пригодился. Кажется, я постиг истину, по крайней мере, сколь это мне доступно, которая оказалась проста, как и следовало ожидать: истина и не должна быть вычурной или претенциозной. Она ведь хлеб, необходимый каждому, для всех питательный, а не изысканный деликатес, требующийся гурманам. Здешний пророк был из тех, кому удавалось разделить один хлебец на миллионы страждущих, — всем бы хватило, если б многие его попросту не спустили в сортир. Его ли это вина? Нет, конечно, ибо таков закон проклятой и благословенной человеческой природы.

Я до конца исписал второй блокнот, чья свежая поначалу, будто младенческая, негритянская кожа задубела, изрядно пообтрепалась, а позолота обреза вся осталась на моих пальцах, — я оставил его в горной келье, так расставшись со своей биографией. Однако я не равен своему письму, ухитрившемуся меня почти уловить в свои манящие сети. Я есмь и существую, даже себя чувствую как никогда живым. Именно что теперь я есть до конца я, в самом чистейшем, незапятнанном своем виде, голый, нищий, расплевавшийся со своим прошлым, но теперь избавленный от любых предрассудков и предвзятостей, чужих мнений, чьих-то злоумышлений или, наоборот, упований, чужой корысти и дружеских советов. И все мои «завтра» уже не нудная череда приевшихся восходов и закатов, а цельная будущность, простертая, покуда хватает взгляда, нисколько не угнетенная нынешним днем, а тем более вчерашним. Но также и не подрумяненная, не приправленная всегда, в результате, тщетной надеждой. Чувствую себя замуrowанным в единственный, патетический миг, оттого и нет нужды измерять сроки (тем самым, конечно, и расстояния).

Я успел понять, что письмо — занятие мистическое, о чем, правда, и раньше догадывался, но обрел ли что-либо меня приподнявшее над людским родом? О нет, в себе не нахожу ни малейшей гордыни. Какие ж приобретения, коль я, напротив, расточен до конца? Притом, однако, мистически избавлен от обременительных, хотя и уютнейших мнимостей. По сути, ничем не прикрыт, кроме этой вот бутафорской власяницы из киношного реквизита. Я есмь истинное «я», но словно б всеприемлющее, изжившее любые границы, препоны, оградки и заборчики.

Можно б это было назвать парадоксом, но мне открывшийся простор бытия смыкает антиномии, происходящие от умственного занудства, самоограничения иль, если можно выразиться, неполновластия мысли. Мысль, целиком полновластная, беспечна к парадоксам в отличие от приземленной, которая всегда именно что занудна: буквально заедает вопросами, и чем она сильнее, тем дотошней и требовательней. Мне же нынче все загвоздки, которыми меня жизнь могла б озадачить, чуются наперед разрешенными, будто она вдруг стала со мной играть в поддавки.

Кто-то сказал бы, что нынешнее мое состояние подобно смерти. Но это именно, что жизнь в ее чистокровном, субъектном образе, безо всяких предикатов. Жизнь, исчерпавшая судьбу, которая у меня была, как водится, путаная, с напрасными треволениями, небольшими досадами, царапинками мелких обид, простительными среднему человеку проступками и грешками, а также истинными трагедиями, предстоянье которым даровано и любому ничтожеству, неважно что жизненная текучка, напор неизбывных будней их обращает в мелодрамы иль трагифарсы. Раньше я счел бы такую жизнь скудной и скаредной, притом что она отчаянно свободна в своей полноте и наготе, не размеченная какими-либо вехами. Мой ныне свободный дух витает над здешними полями, над изумрудными, может, и отравленными химией, но красивой расцветки водами, где мог искупаться только самоубийца.

Я выпутался из дольного мира, меня опутавшего своими, казалось, неизбежными обстоятельствами, по рукам и ногам спеленавшего своей неотвязной причинностью,

поставив мою мысль под контроль так называемой логике, и еще хуже — здравого смысла, который, бывает что, действительно здрав, а в иные времена болен смертельно. Теперь мир почти не подает вести: лишь изредка по грунтовке, огибающей мой холм, проедет машина или колесный трактор, фыркающая вонючим дымом; еще реже — пастух перегоняет овечье стадо. Тогда запах скотного двора примешивался к лесному благоволию. Никак не заслугой, а неведомой благодатью я вывернулся из истории, как и одновременно из земной географии, — кажется, подобно астральному телу, могу путешествовать, где захочу, пятками едва касаясь земли. (Даже закон всемирного тяготения меня теперь нисколько не обременяет, не говоря уж о прочих, менее тяготящих законах.) Именно благодатью, ибо это нисколько мною не заслуженный дар, кроме разве страстного желания переупрямить жизнь, необычайного упорства в этом стремлении, которое недалекий психоаналитик, может, действительно назвал бы стремлением к смерти. Конечно, я догадываюсь, кто источник благодати, но сдержан в хвалах Ему, считая для того мизерным любое слово, а душу Он прозревает бессловесно.

Иногда я себя вижу воздушным шариком, оборвавшим бечеву и теперь отданным воле воздушных потоков. Прежде я был домоседом, но теперь-то бездомен. Мог бы сделаться странником, но те ведь нечто ищут, к примеру, новизны, поученья иль опыта, уж не говоря о тех, кто сам несет новую весть, как тот, кто нынче укрыт своим совершенным «фарвей», откуда ему нет возврата. Но для меня-то путешествие сейчас было бы пустопорожней топографией, так бы и слонялся перекати-полем, подхватывая вольный ветер этих дивных лугов. Мне безразлично тут

я или там, коль у меня нету жилья, но я везде дома, а гостинцев ни для кого не припасено.

Теперь я свободен как никогда, избавленный от любых обстоятельств и обязанностей, от любви, раздраженья, досады и ненависти, а также от друзей, близких и посторонних, короче говоря, от всех, кто назидает, опекает, благовоспитывает, или, наоборот, сам нуждается в опеке, или даже просто с той или иной степенью навязчивости присутствует в моей жизни — в общем, от всех, кто хоть как-то сбивал мою жизнь с панталыку. Пусть и не украшая всеобщее бытие, я, однако, не был совсем уж его пустопорожней деталью, но все-таки не столь важной утратой, чтоб о ней горевать слишком долго. В тех дальних краях кому-то я прежде был дорог, кого-то и сам раньше любил. Но эти немногие, наверно, меня уже оплакали и позабыли в текучке своих повседневных дел и жизненных заморочек. Тому доказательство, что мною оставленный мир, видимо, прекрасно без меня обходится, коль меня не хватились даже самые близкие люди. Пускай и душевной близости было немного, но все-таки я ведь принадлежал к довольно тесной людской спайке — коллег, соседей, приятелей, всяческих партнеров по мутным и не слишком делам, — где я, выходит, оказался вроде как лишним, бесполезным звеном, изъять которое, оказывается, можно без малейшего ущерба для всей цепочки. Но еще обидней, что не хватились враги, что обязаны вечно бдить, подстерегать, угрожать и строить козни. Увы, настоящий враг — это, скорей, горделивая мечта, подтверждение собственной значимости. Может, таких я действительно не заслужил, но завистников-то было, ох как много, и некоторые из них люди опасные, иные даже и чистые злодеи, принципиально не

прощающие самых мелких обид. И где ж они все, почему не преследуют? Удовлетворились моей добровольной отставкой? Пропал, изъят из жизни — ну и хрен с ним. Даже иногда возникает странный вопрос: может, это не я ушел от мира, а мир неким образом сам изъял меня, как бесполезную мнимость, или, скажем, деликатно вытеснил на обочину, где от меня ни вреда, ни пользы? Где ни у кого не путаюсь под ногами, никого не задеваю своими амбициями; а моя душевная избыточность, которую как бы ни скрывал, все равно наверняка выпирала наружу, никому не в укор. Если б у меня была мания преследования, я б даже заподозрил хитроумный заговор всех соучастников моей жизни, включая мною же выдуманных, против меня, подлинного субъекта существования. И мелькает опасение: возвратись в свой прежний мир, так еще признает ли он меня, не погонит ли прочь, как дерзкого самозванца? (Что неудивительно, коль я вышел из вагона на почти случайном полустанке, освободив свое удобное место для кого-то из более хватких. Уж он-то теперь наверняка не подвинется, — а, глядишь, уже для меня на всякий случай припас камень за пазухой.) Но это, может, и самое лучшее: по завету Французика, быть отвергнутым всеми, изгнанным и поруганным — это и есть наисовершеннейшая радость, полнее которой и не представишь.

Нет, я теперь не чураюсь людей, скорей, это они меня избегают, как явления непривычного и, возможно, опасного. (Хотя сам-то себя вижу только с изнанки, однако на сторонний взгляд наверняка представляю довольно дикое зрелище: человек — не человек, зверь — не зверь, вроде лешего, какое-то здешнее поверье.) По крайней мере, никто из местных пока не нарушил моего уединения, хотя

наверняка же легкокрылая молва разнесла обо мне по всей округе, как любая провинция, жадной до слухов и сплетен. Но, выходит, я тут единственный вуайер. Даже местная полиция, как слышал, от постоянной скуки и невольного безделья, вредная и прилипчивая, ни разу не заинтересовалась каким-либо моим свидетельством на право существовать. Я-то уж знаю, что нет более могущественного, чем демон государственной бюрократии. Официальный протокол способен убить любое волшебство, миф, предание. Могли б меня приколоть степлером к разграфленной бумажке, тем возвратив мою биографию, и, уже беззащитного, учтенного, поместить в какой-нибудь приемник-распределитель, чтобы затем выслать к чертовой матери, как нежелательного иностранца, то есть вернуть в мои прежние границы — отнюдь не только географические. Но здешние менты проявляли беспечность, а может, и гуманность, себя не утруждая отловом сомнительных иноземцев. А возможно, я в своем нынешнем виде уж совсем никак не вяжусь с гербовой бумагой, казенной печатью или пускай даже почтовым штемпелем. А может, тем выражалось и некое почтение, род суеверной опаски. Возможно, я уже и сам тут оброс легендой и впрямь стал местным поверьем. Если так, то я б себя почувствовал фальшивой монетой, пригодной лишь в отсутствие полноценной. Но все-таки, скорей, я вижу туземцам каким-то пугалом, возможно, едким намеком или, того хуже, молчаливой претензией. Нет, даже и этого много: просто сбрендившим иноземцем, для которого Французик лишь иронически-обидное прозвище. И все ж оно неспроста, пускай в их глазах я лишь пародия, но все-таки растрата памяти, отголосок людской молвы, смутная тень полузабытого,

почти безнадежного упования. (Из деяний Французика я в некоторой мере повторил самое комическое: тоже свлек с себя все чужое и унаследованное, оставшись с неприкрытой задницей.)

Только детишки меня привечают, с им всегда свойственной простодушной жестокостью: то швырнут в спину засохшей коровьей лепешкой, то просто скорчат рожу, покрутив пальцем у виска (общепонятный международный жест). Уж на них-то я не в обиде. Наоборот, к этим чело-вечкам, пока не закореневшим ни в добре, ни зле, испытываю острейшее сострадание, даже с набегавшей слезой, возможно, памятуя о собственном детстве, преддверье жизни, казалось, надежно сулившей счастье и обманувшей не раз. Их биография пока знает лишь одну графу — дату рождения, но судьба им уже заготовила наперед весьма коварную анкетку. Тем и закончу запись, которыми помечаю все окрестности — луга, поля, деревья, взгорки, дальние пастбища и даже просторные для письма, хоть иногда беспамятные небеса.

Запись № 2

Да, свои пометы я теперь доверяю природе. (Пишу не словами, а только штрихами и вехами, — я постепенно изобрел очень ёмкий язык значков и символов, довольно изощренную шифровку.) Бумага-то беззащитна перед огнем, водой и просто людским небрежением, в отличие от бесхитростной даже в своем лукавстве природы,

где запечатлены вековые мифы, преданья и сказки. Она, по сути дела, и есть мой последний блокнот, — уже недоступный людскому суду, лишь самому себе верный, — где невозможны ни произвольный вымысел, ни вообще какая-либо недостоверность. Потому я записываю, все, что придет в голову, чего ни пожелает душа, не ведая сомнений, поскольку свободен от обязанностей литературы, — не боясь повторов, перепевов и банальностей, любых риторических фигур и, разумеется, ни в малейшей мере не стремясь к стилистическому совершенству. Короче говоря, я предпочел простодушие природы тайному коварному самой изысканной и плодородной культуры. Прежде равнодушный к природе, я научился восхищаться даже мельчайшим ее изделием. К примеру, готов подробно разглядывать какой-нибудь мелкий луговой цветок, восхищаясь нисколько не предвзятым, а безупречным, филигранным воплощением гениального замысла. Раньше я и всю жизнь будто лопал огромными кусками, заглатывая не разжевывая, ею давясь и рискуя несвареньем желудка и даже заворотом кишок. То есть разом покушался на целое, не разбираясь в подробностях, притом странным образом ее, в общем-то, растрачивая по мелочам. Теперь понял, что как раз вниманье к деталям, крупичкам жизни — никакая не мелочность, коль каждая из них свидетельство или, подвернулось слово, улика нам недоступного в своей глубине вдохновенного замысла.

Я начал писать, недотягивая до литературы, а теперь продолжаю, перешагнув ее. Тут опять-таки никакой гордыни или же самодовольства, а лишь твердая уверенность, что я никакой писатель. Может, я и сейчас обитаю в книге,

но не сделавшейся в полной мере литературой, поскольку она без сюжета и сколь-нибудь очевидного назидательного смысла. Пожалуй, и без героя, взамен которого — пустое место. Да к тому ж и без того времени, что стремится от завязки к развязке. Чтоб стать литературой, словам ведь недостаточно одной только искренности. Для меня тут могут пройти века, не сосчитанные и не отмеренные, в своем протеканье напоминающие не линию, хотя б самую извилистую, путаную и возвратную, а, скорее, пространство, где лишь обозначены стороны света, чтоб солнце знало, где восходить, куда закатываться, чтобы луна не сбилась с пути и звезды не превратились в бесцельно сверкающую россыпь.

Я пометил всю округу, будто бродячий пес, — неважно, разглядит ли кто другой эти значки, пометы и приметы, но я-то их различаю верней, чем любую другую письменность. Пишу теперь не лучше не хуже, а просто по-иному. Зачем пишу? В моем нынешнем виде это не дурная привычка, не какой-либо труд, не самопознание или урок человечеству, а нечто естественное, как дыханье или, скажем, испражнение, необходимость которого — досадная память о все ж не до конца мной утраченной телесности. (Такова издевка человеческой природы, самая, должно быть, язвительная кара за первородный грех.) Но тут одновременно и смутное чувство, что миф не до конца еще сложен и песнь не допета. Именно миф, — конечно же, не роман, норовящий узурпировать время, его расписав, забив до упора чередой изобретенных событий, — рождающийся на земле, но будто парящий над временами, как вон то легкокрылое облако, плывущее над каменным косогором.

Изжив свою биографию, я ощутил свободу от опеки сумрачной матушки, той самой, что нас поджидает с косой, пиллой, вилами или каким-либо другим смертоносным орудием. Раньше-то она меня всегда подгоняла, питала или ж оправдывала мое вечное нетерпение. Ныне же в своей полной нищете я избавлен и от того небрежно затаенного ужаса, без которого, однако, человек, может быть, и не человек вовсе. Значит, выходит, правы меня чурающиеся аборигены, и я теперь нечто среднее между зверем и ангелом, живой мертвец (по их понятиям, не вампир ли?), свободный едва ль не от всего, что мы привыкли называть жизнью? Мертвец, и все-таки полный жизни? Моя ныне просторная мысль и такое принимает без возражений. В своем новом, и впрямь не до конца человеческом состоянии, я себя ощутил как никогда личностью, притом лишенной индивидуальности, то есть не выделенной чужеродным, навязанным абрисом, за который никак не шагнуть. Теперь я легко забегаю вперед себя, а могу и приотстать, ибо время мое не узкий лаз, не тесная лощина, а безбрежное пространство. Кажется, мое «ныне» также и «присно». Явись непреклонный ангел по мою душу, глядишь, и останется ни с чем: не найдет того, что привычно считают душой. Разве что, пустую оболочку, тело, уже просроченной годности. Не великий будет для него прибыток, а для меня — мелкая утрата.

Но плоть все же настырна: не скажу, что я целиком обратился в нечто бесплотное, хотя и вступил в пору мудрости, когда телесное уже почти не довлеет, не скривляет пути познания, не предписывает цели, множа опасения, не заставляет метаться мой прежде всегда готовый к панике разум. И все-таки требует удовлетворения своих нам, чистоплюям, кажущихся постыдными, хотя и законных нужд, потом

оставляя брезгливое раскаянье, — питаться мне все ж приходится для поддержания сил, как ведь даже и птицам небесным, притом не испытывая ни сознательной потребности, ни жадности, ни удовольствия. Питанья мне довольно скромнейшего — ягоды, лесные грибы, которых тут множество, ибо местные жители их не собирают, предпочитая безвкусные тепличные шампиньоны. Иногда я спускаюсь в долину обобрать плодовые оливы. Этого хватает, чтобы поддерживать свое телесное существование, — моя теперь сговорчивая плоть большего и не требует.

Притом что она, моя плоть, все чаще обнаруживает приметы ветшания, подает сигналы о подступающей старости. Бывает, что задыхаюсь, взобравшись на мелкий пригорок, или мучаюсь ревматизмом в здешние, хоть и не студеные, но промозглые, влажные зимы. Знаю, что телесная немощ — следствие закона природы, ни единый из которых никак не отменить себе на потребу, как бы ни мечталось. (Эти законы прежде меня тяготили, — в своем безумье я их временами полагал жестокими, но в результате понял их мудрость: можно сказать, что моя собственная, наконец созревшая мудрость нашла в них надежную опору, убедившись не раз, сколь незыблемо прочна эта основа вселенского существования.) Я не сетовал на свою подступавшую немощ, мне и в голову не приходило выпрашивать у Провидения, как его ни назови, жизненных сил, считая недостойным тревожить небеса мелочным нытьем, уже получив дар, щедрей некуда. В этом я вижу своего рода добросовестность, что ли, внутреннюю опрятность или, скажем, смирение. Да у меня ведь и не осталось мелких повседневных нужд, к чему ж попрошайничать?

Я разучился жалеть себя, поскольку для этого одного лишь себя мало, должен присутствовать или хотя бы предполагаться другой, способный тебя наделить этим истинно материнским чувством. Изживший до конца свою жизнь, претерпевший смерть, я, придет время, тихо угасну, сам того не заметив. Это будет не трагедия, даже не драма, а событие и для меня самого заурядное, несколько не траурное, тем более незаметное для мира, которому я и вообще незаметен. Мое до конца умершее тело наверняка не оставят непогребенным, но похоронят, как безвестного бродягу, без помпы, фальшивых слов и фальшивящего оркестра. Именно этого я себе и желаю.

Но пока что моя плоть сколь бы ни была истраченной, все же требует личной гигиены, что отчасти обременительно, поскольку отвлекает от бескорыстного созерцания и запечатления неторопливо рождающегося мифа в окрестном пейзаже. Но, деликатно уважая чужую брезгливость, я омываюсь хоть раз в неделю в соседнем ледяном ручье. По одной из легенд Французик был безразличен к чистоте телесной, может, он и вовсе не мылся, чтоб по случайности не погубить даже какую-нибудь мелкую вошь, которая тоже ведь божье создание. Но куда мне до него, столь трепетно лелеявшего все живое? Мой-то миф все же, знаю, иного качества, подчас похожий на не слишком удачный перепев. Даже допускаю, что мои нынешние гармония чувств и умиротворенье мысли эгоистичны, но это все-таки лучше, чем обременять землю очередной громокипящей проповедью, учитывая, что все слова нынче обесценены, именно что перепеты многократно, то есть и гроша медного не стоят. Да и уж мы-то все хорошо знаем, чем обернулись самые благие намерения, казавшиеся

великими свершенья, самая вдохновенная, идущая от души иль даже и свыше проповедь.

Уж не буду гадать, чьей волей наш мир неудачник. Но как это поправить? Пророки настоящего, прошлого, как уверен, и будущего, не излечив болезнь, лишь изменили и еще изменят не раз ее протекание, то есть одну форму безумия заменят другой, глядишь, еще и опасней. Да и что накопило человечество за века своих мук и прозрений? Горстку простых истин, истертых до общих мест. Их освежить, оттереть до блеска, и верно, под силу только пророку. Но и всем вместе взятым пророкам так ведь и не удалось до конца вдолбить человечеству даже простейшие, вроде б самоочевидные, десять правил. Слава их самозабвенному подвигу, любому хоть сколько-нибудь плодотворному усилию, но все ими вскрытые полынни духа непременно порастут предательством — вот что мне открыла моя поздняя мудрость. Так не лучше ль существовать неприметно? Тем более у меня и нет богатств, чтоб ими поделиться. Могу лишь поделиться нехватками, что, может быть, и ценнее, но такой дар покажется любому сомнительным. Я не призван к подвигу, лишь незнамо за что награжден правом неучастия. Себя вижу действительно чем-то вроде прорехи в этом мире, исполненном смыслами, вперемешку истинными и ложными, каковое разделение мне, подчас, кажется условным. Нет, вовсе не колодецем в пустыне, полным живительной воды, а, скорей уж, самой пустыней иль одним из ее миражей.

От меня далеко отошла гневливая современность, а прошлое осталось лишь в двух блокнотиках, исписанных моим до отвращенья корявым почерком, в котором знакомый графолог еще в давние годы прозрел страх

смерти, себялюбие, неутоленные амбиции напололам с некоторой оригинальностью мнений. Их я не утопил и не сжег, как собирался: чем храниться в душе, пускай лучше прошлое останется на бумаге. Вряд ли когда-нибудь их раскрою, к ним испытывая колю не страх, то все же опаску ибо, как всегда замечал, забытое иль полузабытое не остается прежним, там начинают роиться химеры, как заводятся привидения в долго пустующих домах, а бесы резвятся в заброшенных храмах.

Я себя считал потенциальным архитектором, памятуя о целых городах, что возводил в точнейших подробностях мой прихотливый сновидческий гений: уже писал, что мои сны часто бывали какими-то вдохновенными урбанистическими фантазиями, причем не в смутных образах, а, если можно сказать, выстроенными плотно и достоверно в каждой своей детали. Но теперь я живу среди природы, с нею почти нераздельно. Потенциальный гений архитектуры, я себе устроил жилье минимальное, можно сказать, символическое, бедней бедного. Не храм, конечно, не часовню, даже, в общем-то, и не скит, а просто шалашик из ветвей, ничем не украшенный ни внутри, ни снаружи, кроме как букетами полевых цветов, которые, вскоре теряя цвет, долго хранят летний медвяный запах. Он расположен на взгорке, откуда видна вся долина, чуткая к свету, оттого не скучная, разнообразная в зависимости от погоды, времени суток и, разумеется, времен года. Это жилье без уюта, в чем я теперь не нуждаюсь, открытое любым сквознякам, как ни заделывай щели. Однако тут для меня не лишь точка обзора, но отсчета, пункт зеро, откуда начинаются все расстояния. И над моим условным жилищем подобьем неусыпного рока нависает скала,

всегда грозящая камнепадом. (В этом смысле здешние горки вряд ли так безобидны, как они видятся, иначе зачем бы их опутывать металлическими сетками, тем защитив проезжие дороги.) Сам не знаю, почему я выбрал именно это место, нечто подсказало — и всё тут. Да, жилье без уюта, но уютна для меня вся округа, и здешние звуки стали мне так же милы и привычны, как прежде звучанья родного дома: потрескивание разошедшихся половиц, шелест отклеивающихся обоев, ласковое шуршание запечных тараканов — все вместе рождавшие чувство защищенности от опасного мира.

Подчас мне кажется, что сроднившись с природным миром, я теперь смог бы договориться и со зверьем, пожалуй, сумел бы даже укротить волка-людоеда, которые тут, как известно, отзывчивы к людским вежливости и добросердечию. Однако и чучело последнего уже наверняка съела моль в краеведческом музее. Да и вообще животные здесь повывелись, кроме разве что белок, мельгешащих среди ветвей, да еще сыто, утробно квакающих лягушек, мне напевавших колыбельные. Зато насекомых летом даже и с переизбытком: днем так и зудит противная мошкара, зато в сумерках голосистые цикады подают чуть тревожную весть из здешнего разнотравья. Этот звук мне приятен, сладко тревожат их свадебные гимны, брачные игры, но без тяжеловесной людской похоти.

Вот уже темнеет; Солнце, мой светозарный братец, почти скрылось за господствующий над равниной горный пик, победный, как вскинутый вверх средний палец руки. Его всегда провожаю вдохновенным куплетом, что

когда-то прежде, еще в предыдущей жизни, тут слышал от студента-дипломника, специалиста по местным культам, но ему приискав собственные, уж не знаю, сколь точные слова:

Хвала Тебе, Господи, также в твореньях,
в Солнце прежде всего, нашем господине и брате,
которое создал, чтоб нам свет даровати.
Оно и само превосходно, и щедрым сияньем
весть подает о Тебе, Всевышний.

Дни тут протяженны, тянутся долго, притом что мелькают быстро, совсем, как в Лефортово, где я отсидел полгода почти безо всякой вины, — то есть, имею в виду, юридически наказуемой, об экзистенциальной не говорю. Вот ведь что пришло на ум! Казалось бы, напрочь вычеркнул те месяцы из жизни, не вспоминал их даже и в своем прежнем, более чем суетном бытованье, но теперь они вдруг кольнули. А тут ведь все, казалось, наоборот: отчаянная свобода взамен тогдашней постылой неволи, но и сходство — незаполненность дня физическими событиями, лепящимися одно к другому, — то есть, по сути, разрыв бытовой причинности. И еще сходство — бездеятельность собственной воли, которая теперь тщетна.

Уже облака потеряли цвет, замарали мрачноватое небо, как чернильные кляксы. В детстве я испытывал страх темноты, навешанный няниными сказками. Казалось, вдруг выскочит из тьмы злобная кикимора, схватит, утащит в какой-нибудь подпол и сделает что-то невообразимо страшное. Теперь от этого страха не осталось и следа, но я все ж по ночам запаливаю костерок, не чтоб распугать

страхолодных демонов тьмы, а дабы насладиться вольной до поры, детской игрой величайшей стихии, способной все что ни есть спалить дотла, до уже самой мизерной горстки пепла.

За этот пленительно долгий день я исчирикал пальцем все небо из конца в конец. Теперь мне предстоит летняя ночь, которая весьма коротка. На небе ночном, уже испещренном созвездиями, писать потрудней, чем на небе дневном. По ночам я прославляю звезды двустушием из того же гимна:

Хвала Тебе, Господи, за сестрицу Луну со звездами,
коих Ты сотворил благолепными, дивными
и светоносными...

Запись № 3

О созвездиях я мало знаю, но все ж кое-что. Может быть, звезды кому-то и сулят судьбу, — хотя б тем, кто в это способен верить, — для меня же, свою судьбу изжившего, это эмблемы, вечные символы или, скажем, иллюстрации к моей Книге жизни. О звездном небе я немного знал с детства, когда часто ходил в планетарий, разделяя общее тогда увлечение космосом, — правда, в отличие от сверстников, космонавтом стать не мечтал, скорее звездочетом. Много, конечно, забылось, поскольку дальше я не считал звезды, а, как научили взрослые, больше глядел себе под ноги, чтоб не споткнуться. Но еще тогда полюбил

созвездие Девы, кажется, едва ль не древнейшее из замеченных людьми горних конфигураций, чьи волосы протянулись чуть не через все небо, до самых дальних галактик. Даже не знаю почему, вероятно, за нежное имя, поскольку был романтиком, пока жизнь меня хорошенько не повозила мордой об стол и другие предметы, включая тюремную шконку, — и я тоже в долгу перед ней не остался. Позже я узнал, что небесная Дева — эмблема и природы, и виноделия. По весне, когда Дева лучше всего различима, я легко мог найти не только ее альфу, названную Колосом, но даже гамму, прозванную Богиней Пророчеств, тогда двоящуюся, как сомнительно любое предвиденье, но теперь почему-то слипшуюся воедино. Именно в созвездии Девы, между Колосом и Богиней я теперь привык оставлять самые важные для себя записи. Но сейчас, как ни стараюсь, никак не могу сыскать в небе длинноволосую Деву среди нынче высыпавшего многозвездья, что растворило и все прочие зодиаки.

Пишу на теперь сумбурных небесах острием раскаленной в огне палочки, как всегда коряво и размашисто, места не экономя, коль мне открыто небо из конца в конец. Оставляю пометы сокровенные, небеса ими не попорчу, — уверен, что их не разглядит в свои провиденциальные (ибо опережают будущее) окуляры ни один астроном, как они и не введут в заблуждение нынче столь модных, повсюду расплодившихся шарлатанствующих астрологов. Тогда опять вопрос: зачем пишу? для кого? Целиком внятного ответа я так и не отыскал, но вижу нечто вроде своего долга запечатлеть так или иначе небывалый мирок вне времени и пространств, которому я единственный свидетель. Он subtilный, почти бесплотный, однако

уверен, что без него мирозданье уже неполновесно. И было б жестоко его оставить незавершенным и несовершенным, каким-нибудь жалким ублюдком. Остается доверять собственной руке, которая, коль и запнется когда-нибудь, то этот робко становящийся мир ей себя сам подкажет.

Мои ночи проходят в полусне, полубдении. Если приходит действительный сон, то легчайший, неглубокий, слегка путающий реальность, ей добавляя абсурда. Последние годы моей теперь изжитой жизни меня стала мучить бессонница, — не то что в прямом смысле мучить, но досажать. Легко засыпал, уставший от текучки дневных бесцельных дел, но всякий раз просыпался среди ночи и не мог уж заснуть до утра, отчего-то перебирая свои мелкие жизненные промахи. Таким странным образом бдила моя совесть, мелочно выискивая всякую неважную чепуховину, чтоб, должно быть, отвлечься от главного, самого ранящего, может быть, непростительного. Теперь я, избавленный от дневных забот, как и от ночных угрызений, стал задремывать для себя незаметно, будто исподволь просачиваясь в легкое забытье, подкрашенное особыми звуками, колерами и видениями. Нынче мои сон и явь не противоплагаются, друг с другом не спорят, они стали, если можно сказать, единосушны. Избавленный от дневных треволнений, поручений и поучений жизни, если сон медлит, я не тороплю его, а явь готов захватить в любой произвольный миг, какой выпадет.

Былая жизнь навещает мои сны, но перепутанная, там не довлеет быт, не бурлят страсти, но проступает суть (именно что не впрямую, но прозрачным намеком) моего бытия,

тем перемешав мнимую иерархию событий и перепутав все мои времена, но и чуть прояснив раньше туманные смыслы. Прежде я только догадывался, что эпохи моей жизни, набитые фактами под завязку, на деле пустопопорожни, а мельчайший, эпизодик, вроде б и недостойный памяти, разворачивал жизнь согласно, кажется, искони намеченному курсу. Можно сказать, я, коль и не понял, так ощутил смысл моей жизни, который неуклонен и словно дан от века, но доверь его словам, тем паче бумаге, как он сразу обращается в пепел. Заделавшись «писателем», я попытался дисциплинировать отчасти и свое прошлое, но, что важнее — будущее. Однако теперь будущее свершилось, прошлое отошло навсегда, сохранилось лишь только настоящее, упокоенное, будто вечность. Так и не удалось нанизать бусинки моих дней на путеводную нитку. Тонкая ниточка вдруг раздалась вширь, вдруг обернувшись пространством. Я нынешний, — именно каков нынче, — итог собственной истории, которая часть всеобщей. Теперь я уже не повествовань, а именно что миф, пусть даже в себе и для себя.

И вот что я недавно заметил: мой разум (так назову живое, познающее зернышко самости) расколот надвое, но вовсе не мучительно, а провиденциально, можно сказать, что теперь у меня будто целых два разума: один — безбрежный, несуетный и терпеливый, способный мыслить шире некуда — в объеме веков и галактик, он сродни мудрости; другой, не столь широкий, но внимательный, приметливый и цепкий, не упускавший подробностей, прекрасно умеющий различать. В такой раздвоенности таится возможность быть одновременно и мифом, и его повествователем.

Когда нет великих, что способны приказать уже успевшей, смердящей погребальными пеленами истории: «Встань и иди!» — или ж, наоборот, эпоху, стремящуюся вскачь, сорвав построжки, отвернуть от близящейся пропасти, стоит обращать внимание на мелкие детали общего существования, ненавязчивые сигналы всеобщей жизни, столь же для нее насыщенные, сколь для биографии личной те самые, мной помянутые мелкие фактики, легкие запинки, вроде б и недостойные памяти. Вот этим теперь и занят мой разум, что сродни мудрости: бдит денно и ночью, чтоб не упустить историческую развилку меж бедой и спасением. То, что он непредвзят, вырвавшийся из текучки будней, дает ему многие преимущества, ибо он уже неспособен заблудиться в мешанине событий, как, бывает, за деревьями не различают леса, не подвержен злобе дневи, притом что его так или иначе настигают отголоски все лютеющей современности. Второй же мой разум исполняет в сравнение с ним роль, казалось бы, вовсе незначительную: обслуживает мои теперь невеликие бытовые нужды, — он все ж необходим, чтоб мне избежать вовсе уж неприглядного, неэстетично-бесформенного и омерзительного людям юродства.

Все не является новый пророк, мир устал его ждать, потому и загадил с досады место его будущего или пускай только возможного рожденья. Упоенный, захваченный до конца, легендой о скромнейшем подвижнике, чувствую, даже несомненно уверен, — ибо теперь не знают сомнений мои спрямленная мысль и прямолинейное чувство, — что я назначен ее досочинить, не задаваясь вопросом, кто мне вручил эту миссию. Так плотно сошлись обстоятельства, что я сам собой занял, — но, уверен, не по личному

произволу, — пустующее место, тем ясней подчеркнув его действительную пустоту. Я не обрел определенной веры, что как раз в духе нашего века, с его разве что фарисейством, зато надежды у меня хоть отбавляй. Возможно, я только лишь отрицание, но, как и любое, — одновременно возможность бесчисленных альтернатив. Как много слов говорится и еще будет сказано, а я лишь короткое «нет», необходимая пауза, где притаились все возможные «да». Мой приметливый разум ищет слова, редко находя верные, однако найденные тем ценны, что привиты к моей молчаливой мудрости. Мои нынешние слова не кирпичики, из которых можно создать убежище, и строки не кирпичная кладка, — а чувствую, что меж ними сквозит ветер. Не знаю, понятны ли они кому-то, кроме меня, но за ними стоящее «нет», как и притаившееся «да», уверен, способен любой расслышать.

Братец Огонь сыплет искрами, теряющимися в ночи.
У меня есть и для него три строки:

Хвала Тебе, Господи, за брата Огня,
 коим Ты освещаешь ночь,
 он сам собою прекрасен,
 и приветен, и могуч, и властен.

Исчертив огненными знаками едва различимое созвездье Весов, вышний символ справедливости, которое, знаю, когда-то изображали алтарем, схваченным клешнями скорпиона, я, уронив уставшую руку, сломал ноготь о невидимую во мраке скалу и обкусил заусенец. Надо быть осторожней, учитывая мою нынешнюю дальнорочность:

ближнее теперь часто меня избегает, но дальнее всегда подворачивается под руку. Чернота неба бледнеет, в нем теперь угадывается еще сумрачная синь. Пока молчат голосистые петухи на окрестных фермах, затаились колокола горных церквей. Прежде у меня это было время предутренней тоски, беспредметного, какого-то, что ли, пузырьчатого страха, слегка пощипывавшего кожу, который одновременно страх жизни и смерти. (Я ведь давно догадался, что в темных подвалах души таится не похоть и не только страх смерти, о чем знают психиатры, психологи да и сами психи, но к ней притулившийся и страх жизни, бывает, не менее острый.) Сейчас же для него нет причин. Я наслаждаюсь раньше мне чуждым свойством, которое можно назвать по-разному, но, пожалуй, верней всего неторопливостью, хоть это и очень поверхностное наименование. Я обрел такую мне прежде вовсе чуждую добродетель, как терпение. Могу долго наблюдать, как постепенно алеет вон тот хвойный перелесок на соседней горке, тонко и с умом перебирая все оттенки красного. А прежний-то мир был для меня всегда черно-белый, по крайней мере, таким запомнился. Можно сказать, во мне проснулся живописец взамен графика. Добыть бы вселенского размера кисть, и я б расписал весь мир красками еще и поярче.

Сейчас для меня наступило время неторопливых видений, мешающих легкий полусон и ненастырную явь. Иногда мои сны бывали словно густой, наваристый борщ, исполненные странных фантазий и необычных образов, этот же напоминал слабый бульончик. В уже поколебленной, подавленной темноте мне явилась необычная птица,

уже не впервые, — странная, непохожая на здешних да и на птиц моей родины: огромная, с просторным взмахом крыльев. Из меня плохой орнитолог, но это вряд ли орел, которые тут, слышал, водятся. Она вовсе не похожа на хищную, что приглядывает добычу, дабы ринуться на нее с высоты. Волен и бескорыстен ее полет, как мог бы парить в небесах ангел. Я даже сперва надеялся, что этот небесный посланец метнет в меня огненные стрелы, но нет, всегда лишь мутно витает поверх деревьев. (Пожалуй, было б манией величия вообразить, что я буду призван для неких свершений, однако мир может и до того отчаяться, что вдруг да и призовет на помощь пустопорожнюю альтернативу.) Уверен, что это виденье неспроста, но к чему оно, что сулит, о чем эта весть и от кого? Она мне всегда являлась на кромке сна и будто пахтала наплывающее сновиденье своими крыльями, и в этой белесой пене уже трудно разглядеть окрестный мир. Он сейчас просыпается: хрипло горланят петухи, картаво заблеяли барашки на соседних пастбищах, а я только сейчас до конца обретаю сон.

Запись № 4

Иногда я брожу наугад по здешним дорогам. Им не противлюсь, всегда ведь проложенным не бесцельно, — куда-нибудь да приводят: бывает, в городок, бывает, в селенье. К людям я не стремлюсь, но и не избегаю людских скоплений. Я от них отделён и отделен: смотрю со стороны и сам

тут посторонний. Знаю, что прозвали меня Страньеро паццо, то ль это значит Сумасшедший иностранец, то ль Безумный странник (в этом смачном паццо, пожалуй, даже через два «ц» звучит нечто придурочное), и лишь изредка кто-то назовет Французиком. Нисколько не обидно, именно так и есть на обыденный взгляд. И все ж я, будучи несомненным паццо, сохранил некоторый интерес к переменчивой жизни, иногда не прочь подловить врасплох торопливую современность. Так перебираю один за другим окрестные городки, которые легко перепутать, — все ведь, как не единожды писал в своих тетрадках, уютно архаичны и почти на одно лицо, по крайней мере, на не слишком пристальный взгляд. Впрочем, как тоже оговорил, я больше ловлю города на слух, но и мелодия была сходна. Только один отличался от всех своим особенным гудом и звоном, странной музыкой вне нотного ряда, именно тот, что скопил вековечную легенду. Однако с тех давних времен, когда для меня существовали времена (иногда мне кажется, что в своем внутреннем уединенье я мог задуматься или замечтаться на много десятилетий, — так сделался нетороплив, уже не подгоняемый веком), туда меня ни разу не приводил наудачу выбранный путь. Это и хорошо: слишком сильное я там испытал чувство. Не стоит мне возвращаться к развилке, поскольку убеждался не раз: навещать прошлое все равно что расчесывать подсохшую болячку. Может раскровениться, а то и вовсе оно возьмет в плен, никуда не отпустит.

Остальные ж городки для меня слились в единый образ: черепичные крыши; горделивые храмы, столь несоразмерные скромным площади и населению этих, надо признать, урбанистических шедевров, что кажется, городки веками

больше росли ввысь, чем вширь; древние напластования там и сям, пробивающие асфальт и городскую брусчатку, — не так зрительно, как по смыслу. Однако нельзя сказать, что городки остаются неизменными. Помню, каким я застал когда-то этот выпавший из истории, самодостаточный, патриархальный, довольно-таки уютный мирок, который называл своим парадизом. Разумеется, за минувшие года, а может, столетия, там произошли перемены. По крайней мере, внешние, что, однако, не всегда свидетельствуют об измененьях глубинных. Ну да, зримый накат техногена — телевизионные тарелки теперь буквально усыпали готические фасады, прохожие что-то лопочут в мобильники, будто разговаривают сами с собой, что в моем детстве делали только безумные.

Городки становятся всё многолюдней и многоцветней, — в туристический сезон местные жители почти растворяются среди нахлынувших со всего мира пришельцах. Могло показаться, это новое нашествие варваров, к которому здешний край издавна привычен, хотя в этот раз добродушных и в некотором роде любознательных, притом норовящих на любой стенке оставить истинно варварский след своего краткого набега. Кажется, это и зовут процветанием. А почему б и нет? В сезон город будто отряхивает свои многовековые, застоявшиеся грезы, действительно расцветает жизнью, хотя б к ней возвращенный чужим любопытством. Другой вопрос, не ложный ли это расцвет, настоящая ли жизнь? Для местных обитателей интерес, разумеется, лестный: подтверждает, что привычный для них город — вечная ценность, драгоценен и целиком, и в каждой своей мелочи, по сути, музей, хранящий всегда строгий и назидательный эстетический идеал.

Но ведь тогда, выходит, его обитатели не более чем случайная поросль, в лучшем случае, его хранители.

Однако за этой общей беспечностью, мне всегда чудится тревога. Городки вроде б исполнены радости, но подобной радости солдата-срочника в увольнительной или даже самоволке — то есть в кратком увольнении от жизни. К текущей политике я давно потерял интерес, как к не чересчур важной, хоть и слишком навязчивой частности; бывает, яростному, но все ж в целом напрасному бурлению самой поверхности бытия. Но хрупок мир: даже частность этой частности способна и вовсе его погубить, испепелить дотла, что вряд ли предотвратит, как проникновеннейшее, задушевное слово, таки самый, казалось, вдохновляющий пример.

Кстати, вот какую я еще отметил перемену: здешние свалки становятся все обильней. То ль это говорит о росте благосостояния, то ль об ухудшении работы санитарных служб. Да, могу признаться, что, как и подобает бомжу, я обшариваю городские свалки в поисках вещиц, полезных для моего примитивного быта. Иногда попадаются и газеты, неважно какой древности, коль для меня теперь год-другой и даже десятилетье туда-сюда все та же замешкавшаяся современность. Читать их я неспособен, но о том не жалею. Вряд ли они содержат какие-то важные новости: реклама, скандалы, остальное — мне безразличная политика. Где политика, там и война. Слова *guerra*, *conflitto* понятны и не знающим местного языка. Как и *terrorismo*. Война... война... там и сям война... террор взбесившихся маргиналов... разговоры, переговоры, дебаты и взаимные обвинения. Но в целом-то ничего особенного, обыкновенная людская жестокость, всегда неразумное, но лучше или хуже

мотивированное зверство, — случались времена и куда как жестче, но тут все же чувствуется некая финальность. Впрочем, и это отнюдь не впервые: конца света человечество ожидало не раз и когда-нибудь дождется, хотя до сих пор оно проявляло удивительную, просто кошачью, живучесть. Ошалевшую политику не обуздать политикой же. И уж экономикой тем более, — это говорю не с панталыку: некогда круто проварившись в экономике, на собственной шкуре ее изучил от и до, так что точно знаю ее пределы. Узкие, надо сказать, совсем узенькие. Взять личный аспект. Что судьбоносного купишь за деньги? Понятное дело, ни бессмертия, ни райского блаженства, ни душевного покоя, ни даже любви или, допустим, дружбы. Даже и здоровья, — из собственного опыта, к тому ж со своим незаконченным медицинским образованием, хорошо знаю, какие нынешние врачи шарлатаны и обиралы. Ну, чуть комфорта, это конечно. Но, в общем-то, практическая, так сказать, экономика — больше игра не до конца повзрослевших детишек. Способ померяться членами, как мы когда-то делали в школьном сортире, выясняя кто из нас круче всех.

Я оставил мир накануне его, казалось, уже вызревавшего будущего, это, получается, оно и есть? Если так, то вовсе не мое. Будущее должно или пугать, или манить, а способно ли это равнодушное, что ль, кислотовое, однако всепроникающее зло? Коль это и впрямь будущее, то какого-то дурного отсчета, если ж современность, то ущербная, поскольку, увы, не отмечена гением современности, — так и не дождался мир рожденья пророка, чтоб тот смог оттереть до блеска, до самой их сути, нами скопом замызганные истины, и теперь думаю — дождется ль

когда-нибудь? Современность без своего гения наверняка и вовсе не заслуживает наименования современности, как она ни гроыхает, как ни громоздится событиями, остается лишь текущим моментом, — да и любая местность без него пустопорожня.

Я благополучно выскользнул из времен и уже не знаю каким образом, но даже будто б из вроде неуклонного колдовращения сезонов. Могу, к примеру, запросто перемахнуть весну, шагнув прямо в лето, что следствие моей победы над временами, включая и времена года. Городки я теперь застаю именно летними, не депрессивными, как бывало зимой, а ликующими. Ну что ж, я никогда не завидовал чужой радости, хотя и не радовался собственной. Человеческая радость мне всегда казалась легковесной, быстро выдыхавшейся, как бурливая шипучка, почти всегда обманной. Сам-то я и прежде не умел целиком предаться мигу, норовил забежать вперед. А вот счастья ожидал год за годом, того, что часто испытывал в детстве, — счастье, которое не обгонишь, за него не заступишь, поскольку то беспредельно, — еще и беспричинно, как благодать, что дается даром. Его я, признать, с детских пор так и не удостоен, но взамен обрел свою честно выстраданную беспечальную вечность.

Понимаю, что в ликующих городках меня считали ряженым, стремящимся подзаработать на местной легенде (иногда совали в руку монетки, чем я не брезговал, храня смиренность, заповеданное моим великим прообразом). Так что я вызывал только умеренное любопытство, невольно заняв свое, пусть и скромнейшее место в, так сказать, туристической инфраструктуре. Среди вавилонского многоголосья мне иногда слышалась и родная мне речь.

Она была мне приятна, — то есть, выходит, моя биография заодно с географией все ж влачится следом, хоть и едва различимо. Притом и в голову не приходило раскрыться своим соотечественникам, для которых я, как и для всех, странеро паццо, или же, скорей, местный придурок.

Что я делал в этих летних городках, кроме как собирал милостыню на прокорм и с любопытством обшаривал местные помойки? Так, праздно слонялся по городским улицам среди веселящихся толп не как мементо мори, а с виду безвредный чудак. Иногда, увя нечасто, меня настигала горней мощи красота здешних храмов, хотя себя никогда не считал таким уж любителем, тем более знатоком искусства. Наверное, потому она и озаряла меня лишь на единый миг, мгновенным уколом, сильным, однако и мимолетным впечатлением, удержать которое я никогда не умел.

Но вот к чему я сохранил детское любопытство. Среди здесь подрабатывающих маргиналов, в которых и меня несправедливо числили, попадались самодеятельные циркачи — не только акробаты и гимнасты, к чьему мастерству я не испытывал интереса, но также и фокусники. Помню, как в цирке я не мог дожидаться, когда на арену выйдет факир в своей пернатой чалме, — часто с хитроумной цирковой машинерией. Но куда больше восхищала ловкость рук. Даже и странно, что меня так привлекали мастера иллюзий, учитывая, что с самых ранних пор я в людях больше всего ценил чистосердечие. Вспоминая детство, я и тут мог часами наблюдать манипуляции заезжих иллюзионистов, дающих представления прямо под открытым небом, на древней брусчатке, уложенной римлянами или, возможно, этрусками. Даже являлась нелепая мысль:

обучиться бы паре таких вот трюков, и в своем нынешнем образе, глядишь, и сошел бы за чудотворца. Столь дикие мыслишки иногда посещают мой практичный разум, затем быстро угасая в терпеливой, неразмышляющей мудрости.

Сейчас наблюдаю грандиознейший, иначе не сказать, торжественный звездопад, даже и для здешних краев невиданный: будто небо обрушивалось на землю со всеми созвездиями, кометами и даже, наверно, спутниками связи и прочим космическим мусором. Было ли это каким-то знаком, предвестьем грядущих событий, или же лето, пока я зазевался, успело перевалить через свой экватор и уже наступил август — пора звездопадов?

Запись № 5

Одно время плоть меня совсем перестала тяготить, сделавшись будто невесомой и вовсе нетребовательной. Что плохого, казалось бы? Но иногда я испытывал нечто вроде угрызенья, что она для меня не бремя, не обуза, не подвиг, не предмет обуздания. Мое подражанье, пускай даже пародия, уверен, требует некоторой аскезы, физического страдания или хоть какого-либо дискомфорта. (Коль разве что моя опустошенность не бремя ли?) Только и осталось хранить надежду, что меня призовет к свершению какой-то небесный глас или боевая труба, но ангел лишь изредка парит надо мной, прикинувшись птицей, без

трубы, арфы или огненных стрел, пока ни к чему не призывая. Притом иногда по утрам замечаю, что вокруг шалаша кто-то наследил острыми копытцами. Пожалуй что, чуть крупноватыми для отбившейся от стада овечки. Да и оставшийся запах, был иным, чем мне даже приятный навозный дух деревенского двора, скорей, смердело вонючим козлом.

Но сейчас вот я радуюсь, что плоть вдруг очнулась, подала хоть какой-то сигнал, а сказать попросту, слегка заныл большой палец на правой ноге, переломанный в двух местах еще в студенческие годы на занятии тогда модными боевыми искусствами. Не хотелось бы до конца растворить свою плоть в мысли, чувстве и созерцании. Недаром ведь всеобщее Воскресение предполагается во плоти. Поэтому, требовательной иль ненавязчивой, ею до конца не пренебрегаю. Вот и сейчас омыл свою распаренную по жаре плоть в соседнем ручье, чтоб не завелись насекомые в моих отросших до плеч космах и дабы не отпугивать людей дурным запахом, — учитывая, что запахам они придают даже излишний смысл. Также и за эту бурливую свежую воду, возблагодарив Создателя:

Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу Воду,
всем нужную и доступную, и драгоценную,
и кристальную...

Бороду я научился подбривать тупым жиллетовским лезвием, что подобрал на одной из городских свалок, а кровь порезов останавливал, как в детстве учила бабушка, тысячелистником или каким-то похожим на него травянистым растением.

Сквозь ветки и листву разглядываю по-летнему жаркие небеса, до которых теперь достаю рукой, дабы оставить там очередную помету. Уже послунил палец, чтоб его не обжечь. О чем запись? Станным образом, в своей вечности я всё продолжаю, видимо, по инерции, вялый торг с эпохами собственной жизни. Когда теперь вспоминаю свое прежнее существование, кажется, прошедшее и будущее различалось лишь эмоциональным окрасом, коих было два — сожаленье и упование. Теперь и мое былое странным образом делится на прошлое и будущее, помеченные именно что надеждой и упованием. Отсюда, из моей вечности, где пребываю, мое время мне отнюдь не видится линейным, притом и вовсе не однонаправленным, но дольний-то мир убежден, что будущее у него впереди, а прошлое до конца миновало. Допустим, но где ж свежий ветерок, веянье какой-либо новой, освежающей мысли, весть о будущем, которое впереди? Зато современность подчас настигает темный морок былого.

Может быть, я делаю чересчур широкие выводы из случайно подвернувшихся газет, перемазанных рыбьими потрохами, где и разобрал-то десяток слов, однако всегда доверял своему точному нюху на перемены и нынче ему доверяю. Был миг, когда впрямь повеяло новизной, — тогда-то я и уверовал в иноземную легенду, которая, однако, для всех и на все времена. Но пришло взамен лишь только мелочное накопление зла. К чему ж оно приведет? Подчас думаю: может быть, тихой сапой к нам уже подобрался конец света? Такие немного тревожные мысли меня посещают всякий раз после кратких визитов в ущербную современность окрестных городков. Из ими

зароненного семечка тревоги, пробивается малый росток в моей душе, привычной к безмятежности, где почва давно уже не благодатна для каких-либо цветов зла. Поэтому вскоре росток вянет, не достигая соблазнительного расцвета.

Солнце взобралось на горный пик и сейчас палит нещадно. И все ж я уверен, что в целом оно милосердно, коль дарует нам жизнь. Об этом я раньше не задумывался, к нему относясь чисто астрономически. Но как-то раз, вдохновленный по-летнему ранним, особо проникновенным восходом, на том вон обрыве возгласил гимн Солнцу во всей глубине чувства. Конечно же, предпочту чистосердечье природы лукавству политики, как и всего, что создано человеком. Сейчас в полуденном мареве зыбится долина, по ней пробегают волны, будто она отраженье на чуть колеблющейся воде. Птицы притихли, лишь с ближней фермы доносится ласковое картавое пенье овец. Благодать в этом мире, где политика с экономикой вкупе нечто излишнее, по крайней мере от него далекое, ничуть ему не насущное. Тревога за мир, плененный своим настоящим, тихо сходит на нет в моей умиротворенной душе.

Пишу пальцем меж облачков, стремящих по знойному небу. Иногда моей строкой делался горизонт. Это четкая строка, дальше которой, однако, не заглянешь. Я прежде пытался, а теперь и не пробую, хотя именно оттуда легким дуновеньем может повеять непредставимое будущее, а иногда трагическое дыхание неотступного рока, — с тех самых пор, когда канул за горизонт в свое, должно быть, вечное изгнание, в его фарвей,

застенчивый пророк со своей верной подругой, а я помахал ему вслед. Почти недоступный чувствам, однако я, бывает, грущу, что теперь оболган его подвиг и даже полная незащитность ему не послужила защитой. Пусть на чей-то небрежный взгляд я шут и подобие, но подчас себе вижу его местоблюстителем, и я ведь тоже пребываю в своего рода фарвей, вроде б и не отдаленном, но отделенном ото всего иного мира, ибо дистанция между нами для меня абсолютна. Предвижу: настанет время, когда дольний мир, вконец заплутавши в своих банальностях, обратится к маргиналиям, станет внимателен к любой странности, — только б ему не нарваться на какую-то новую ложь, свежую, пока не укрощенную, потому наиболее опасную. Я, по крайней мере, не ложь, хотя и не истина.

Значит, существует риск, что меня когда-нибудь вновь настигнет время. Эта местность, что теперь мне кажется уединенной, выделенной изо всего мира, будет все ж подхвачена историей, то есть не станет для меня ковчегом на случай мирового потопа. Притом все же верю, что моя судьба действительно завершилась, — если ж время настигнет, это будет не новым ее порывом, а, пожалуй, новой судьбой. Хотя было бы попросту глупо вновь кое-как пристроиться к существованию с его торопливым временем и узким пространством, ограниченным страстями, корыстными помыслами, недальновидными планами, чужим примером и благоволением, как и вольным или пускай невольным коварством.

Я твердо знаю, что расплатился с жизнью по всем счетам, потому теперь едва ль не наиболее свободный человек на этой хрупкой планете. Однако сей мир еще не взвешен

на точнейших весах мироздания. Допустимо ль к его судьбе быть столь же беспечным, как я равнодушен к своей собственной? Признаюсь, моему слишком пространному взгляду, будто с высоты птичьего полета, история мира иногда видится чем-то вроде картонной диорамы, где чьей-то волей снуют неодушевленные марионетки. Конечно, этот сторонний взгляд можно бы счесть немилосердным, но расхожее понятие о милосердии мне всегда казалось сомнительным, — слишком уж часто оно, врачую относительно мелкие ссадины, растревляет губительные язвы. Я покинул мир, когда уже началась эпоха ложного, как мне казалось, разрушительного милосердия, вкуче, разумеется, с бесцельной жестокостью. Выходит, что милосердие бывает наперсником зла, лишь только делая вид, что ему враждебно.

Да и в любом случае, что с меня толку? Смогу ли я оказать миру хоть мелкую, но действенную помощь? Теперь слабосильный, неуклюжий со своей растроченной плотью, буду у всех только путаться под ногами, лишь изобраяя человеколюбца. Где ж тут чистосердечие, которое полагаю главным, коль не единственным моим достоинством?

Этот знойный день необычайно затянулся, как здесь нередко бывает: солнце будто приклеилось к зениту; ясен и четок мир, где ни единый предмет не отбрасывает тени. Вся теперь раскаленная долина кажется покинутой обителью, выжженным, вымершим пространством: ни тебе птичьего пересвиста, ни единого шороха всегда ощутимой в этих краях мелкой живности. И там сквозит

не ветер полей, пропахший луговыми травами, а клубится седой, пыльный вихрь. В такие дни мне раньше чудилось, что я угодил во временную ловушку. Казалось, стоит ли мне тревожиться, выпутавшемуся из времен и теперь погруженному в свою праздную вечность? Но утомителен вечный день: братец Солнце величав и благодатен, но мне также и по нраву Луна, таинственная сестрица. Теперь я уже знаю, что самый хищный и цепкий миг все же не вековечен. Мне подсказала моя терпеливая мудрость, что следует попросту его переждать: к тому ж я испытал на собственном опыте, что хотя «сегодня» способно затянуться, кажется, до бесконечности, но ведь наверняка рано или поздно наступит завтра, а затем и послезавтра, — так всегда случалось. Эти причуды времени меня перестали заботить с тех пор, когда вместо секундной стрелки мне стало задавать жизненный ритм биенье моего ж собственного сердца, — когда оно пресечется, и наступит мой личный конец света.

Вот наконец-то день двинулся к закату, причем, как бывает после таких замираний, быстро, мгновенно. Жара только чуть спала, но сделалась уже не столь зудящей и липкой. С горной вершины заструились легкие ветерки, наступил час предвечернего блаженства. Затем же солнце будто разом сверзилось с небосклона за каменистый бугор. Луна же, наоборот, медлила объявиться в небе. Пришла голубоватая тьма, легкая, будто паутина, где уходящий день потихоньку растворился, как морок. В небе проклюнулись первые звезды, едва слышно ухнула ночная птица. Кажется, я задремал.

Запись № 6

Под утро, в прежде туманные часы раскаянья, когда у меня бывала так чувствительна совесть, во мне и теперь шевельнулось нечто сходное. То есть где-то на самом краю умиротворенного простора моей души обнаружилось мутное пятнышко. Мое неучастие в мире вдруг показалось уже не благородным, притом скромнейшим намереньем хотя бы не множить мировое зло, а чем-то вроде самодовольного эгоизма. Имею в виду не чужое мнение, на которое мне, разумеется, плевать, как, наверняка, и ему на меня, а только лишь свое внутреннее чувство. Во мне зародилась некая мысль, но особого свойства, настолько еще туманная, что невозможно угадать меру ее благотворности или, наоборот, опасности, — мерцает ли там ангельский призыв или, наоборот, дьявольское искушение.

Подобного рода мысли я знал и раньше, когда был в меру удачливым насельником мира сего. Их не стоило тревожить, пока они будто додумывают себя сами, отдельно от нас, то есть вызревая помимо сознания. Не зная, как объяснить, но я чувствовал, что существуют мысли, которые не в голове — или где там их вместилище? сердце? чрево? пупок? — а будто живущие поодаль, до поры не делаясь внятными соображением. Временами казалось, что она едва слышно попискивает, как цыпленок, уже готовый пробить скорлупу, или как, созревая, едва слышно пищит тыква на хорошо унавоженной грядке (сам никогда не слышал, но так утверждала моя бабушка, на старости лет увлекшаяся дачной агрономией). Не знаю, что могло

послужить удобрением моим осторожно вызревающим мыслям, но, вероятно, перегной из пережитого, однако не изжитого: каких-нибудь давних страстей, растроченных впустую; горьких разочарований; несбывшихся надежд, неосуществленных и неосуществимых планов, сбившихся жизненных ориентиров, пустопорожных мечтаний и беспочвенных упований — короче говоря, из того умственного и душевного мусора, коим полнится любой из нас, даже самый аккуратный в мышлении, чувствах и поступках.

В нынешнюю, что вызревала в тех вон густых папоротниках на берегу соседнего ручья, нельзя сказать, что я уперся. Это раньше бывало, что я утыкался в мысль или какое-то неподвижное, неподатливое чувство, тем более хоть слегка отдающее угрозой. Но теперь простор моего внутреннего существования так безбрежно широк, что можно легко обогнуть любое препятствие. Но все же вокруг этой медленно созревающей мысли витали, будто мошकारа, тоже сами собой возникавшие догадки. Они были вроде и разнообразны, разнолики, но все-таки сходствовали, по крайней мере друг другу не противоречили. Подобная мысль могла и вовсе не вызреть до конца, как многие у меня так и остались неприкаянными сиротами, то есть не более чем намеками, не созрев до решений, каких-либо явных действий. Тут бесполезно вмешиваться, как-либо их поторапливать: каждой из них предписан собственный закон и отмерены особые сроки.

Последней ночью мои сновиденья были бесплотны — ни ошметков исчерпанной жизни, ни хищных ублюдков подсознания, ни многозначительных символов, однако не поддающихся распознаванию. Одни только звуки, не музыка,

но и не слова, а некие преддверья слов или, может быть, их обещания, то есть еще не смыслы, а лишь намеки или даже искушения. И вдруг под утро в толщу моего сна пробил колокольный звон, я был разбужен переключкой тут голосистых колоколен, что мне служили взамен курантов. Их перезвон, раньше возбуждавший самые драгоценные, одновременно и глубинные, и возвышенные чувства, давно уж не доносился до моих ушей. Возможно, это какие-то свойства, причуды горного рельефа, но нынешним утром он просто бил в барабанные перепонки с настойчивостью набата, сперва чуть слышно, потом все настырней. Будто изменилась тональность этих призывных звучаний: было время, они меня будто зазывали в покой умиротворенной вечности, теперь же показались набатом, будто наоборот выманивая наружу, в бесприютную, кренящуюся современность, — что-то в них слышалось отчаянное, как зов о помощи.

Сперва я даже подумал, что это кровь бьется в висках. Но нет, звуки, очевидно, приходили извне, как всегда повествуя о вышнем и горнем, будто напоминая о том, что никогда забывать не следовало. На скалах, камнях, деревьях, как и в небесах я б оставлял памятки также и о звучащих, но уже признавался, что не знаю нотной грамоты, верней, позабыл ее, — ведь когда-то обучался музыке, пару лет бесполезно терзая охрипшее от старости пианино. Не вовсе бесполезно: хотя я «официальной» музыке не научился, но с тех пор полюбил музыкальные звуки, а позже, как уж писал, мог улавливать мелодии чужих городов. Еще и обрел некоторую музыкальность мысли, которая, чувствую, мне теперь подчас изменяет. Сам не знаю почему, по неведомой мне причине.

Что же сулит мне этот возвышенный, но и тревожный набат? Начался день с легких угрызений не до конца еще заглохшей совести. Однако новое утро, для меня всегда обновление жизни, когда, омывшись в ночных видениях, она всякий раз себе возвращает девственность. Ближе к полудню в мою душу вернулся покой. Благостный был денек, какие здесь летом нечасто бывают, не жаркий, просквоженный легчайшим ветром. В такие дни, казалось, не найти лучше места на всей земле. Отвлекшись от временного, я вернулся к созерцанию вечного. Так и провел весь день, возможно, прихватив еще пару соседних, в неторопливых и почти невесомых раздумьях, попутно любясь мелколиственными, щетинистыми оливами вдоль дороги и краем уха слушая птичье пение.

Так я бы и скоротал еще немалый кус вечности, но вдруг ощутил, как подо мной колыхнулась земля. Подобное бывало и раньше, не единожды мне казалось, что почва плавно раскачивается, но я это приписывал своей физической немощи, — ведь от скудного питания совсем отошал, да и прожитые годы все ж дают о себе знать. К тому же не виделись опасными эти, скорей, убаюкивающие земные качели. Но в нынешнем подземном толчке мне почудилась даже свирепость — вздернулись каменистые пригорки, в зените подпрыгнуло желтоватое солнце, нависающая скала меня осыпала мелкими камешками и всяким сором, взмахнули ветвями окрестные деревья, с тревожным граем разлетелись прежде сладкоголосые птицы. Я невольно перекрестился, суеверный, как и все люди, пред лицом неотвратной угрозы — буйства природы или садистического безумья правителей, — в наш рассудочный, но при этом ханжеский век.

Когда-то я слышал от здешних жителей, что местность сейсмически неспокойна, говорят, даже случались настоящие катастрофы, но относил это к здешним страшилкам, — никто ведь не мог припомнить, когда именно они приключились. Возникла та же историческая неопределенность, что свойственна легендам, — может, сто лет назад, может, пятьсот или тысячу. Впрочем, не знаю, как здешняя местность, но страна, известно, что подвержена землетрясениям. Я даже некогда посетил город, где одновременно с ужасом и острым порочным любопытством созерцал окаменевшую, навек запечатленную трагедию. Но это ведь далеко, на юге, — мне и в голову не приходило, что может быть опасен край, где вся природа будто возглашала: мир вам! Притом эта нынешняя, небольшая, пока вовсе не роковая катастрофа, даже, верней, просто событие, что, видно, и предвестил колокольный набат, мне послужила в некотором роде назиданием: сгубить мир способна не только политика, но и природа, нам неподвластная и нам, разумеется, неподсудная.

Угроза пока не казалась роковой, но ох как жаль, если бы осыпались великолепные в своем гениальном простодушии фрески здешних храмов, что сами наверняка уцелеют, коль остаются незыблемы уж сколько веков, а иные — пару тысячелетий. Однако я не могу и представить, что так вот, походя, даже без чьей-то злой воли, будет уничтожена рукотворная красота здешних городков, их неторопливое, исконное бытование, пережившее все исторические превратности, — это было бы верхом несправедливости, исторической, природной, Божьей, притом что я никогда не верил в случайность. Все ж надеюсь, что соседним

городкам пока не грозит обратиться в руины, как Лиссабону, Ташкенту, Спитаку, Ашхабаду и Мессине, быть ввергнутыми в разруху и хаос. Это сотрясение почвы по своему нынешнему обычаю я принял как данность, которую будущее разъяснит, если того пожелает. В мою подкорку, уроженца и жителя сейсмически спокойного города, не заложен страх перед землетрясением. Мой город слегка потрянуло лишь один раз. Дата мне запомнилась навсегда: на другой день после смерти моей мамы. В ту пору я был строгим реалистом и атеистом, но мне было трудно считать это простым совпадением.

Подземный толчок оказался единственным, вслед за ним наступила пронзительная тишь, затем исполнившаяся природными звуками и тихими шелестами. Вновь смирившаяся природа будто смущенно извинялась за свое недавнее буйство. Когда уже свечерело, я с неохотой провел необходимые гигиенические процедуры — наспех омылся в ручье и там же выстирал свой все ветшающий балахон из киношного реквизита, на удивление прочный, словно даже вечный, с которым я сжился, коль не сказать сросся: он стал частью меня, необходимой приметой моего внешнего облика, едва ль не моей второй кожей. Лишись его — и миру предстанет моя неприглядная нагота, способная вызвать либо жалость у особо чувствительных, коих на земле не так уж и много, либо же омерзенье у человеческого большинства, пристрастного к каким ни на есть покровам и чурающимся не только обнаженных истин, но даже и голой, ничем не прикрытой правды, а обнаженную плоть ценят лишь, если та привлекательна и соблазнительна, — то есть чураются собственной же своей биологии. Спрятать от мира свою

наготу — больше не стыдливость, а милосердие. Но и в другом наряде я уже не могу себя представить, а ведь когда-то сменил их множество, соответственно ролям, которые довелось сыграть на жизненных подмостках. Как-то записал, что терпеть не могу театрального лицедейства, в прямом смысле театрального, притом что в жизни бывал очень даже успешным лицедеем. По крайней мере, не без доли эксгибиционизма, как положено артисту, соответственно, и чутья на притаившегося вуайера, — даже теперь иногда подозреваю его тайное присутствие среди кажущегося безлюдья. И уж конечно, неизменно всевидящее око, от чьего пригляда с высот нам вовек не избавиться, как ни старайся.

Но с некоторых пор такие простейшие, притом неизбежные обряды, как необходимость питаться и соблюдать минимальную гигиену, стали меня тяготить, будто нечто излишнее, принудительное, последний ошметок мне опостылевшего быта. Надо признать, я здесь совсем одичал: зарос бородой, иногда забывая ее привести в более-менее цивилизованный вид. Теперь я наверняка напоминал не отшельника, а скорей, какого-то лешего. Тут они, правда, не водятся, — в давние времена водились сатиры, но те, говорят, похотливы. Во мне ж теперь ни грамма похоти, даже сам удивляюсь. Но, честно говоря, даже в молодости, не был похотлив, разве что любопытен, а теперь грубые страсти меня тем более не тревожат.

День, начавшийся тревожным набатом, закончился, как бывало всегда. Стоя над кручей, я будто на себя водрузил звездное небо, встретив сестрицу Ночь искренним, сколь получилось, распевным словом, пожалуй, чересчур

искренним и простодушным, чтобы стать поэзией (ибо, кроме этого, не имело никаких достоинств), но все ж недостаточно, чтоб сделаться молитвой, разве что личной, надеюсь, негорделивой мольбой.

Запись № 7

Нежданно пришла зима, как-то разом, единым махом. Я будто упустил сквозь пальцы и остаток лета, и целиком осень, возможно осень мироздания, которая в этот раз изрядно затянулась. Обыкновенно, межсезонье тут бывает кратким, природа обычно не ведает колебаний, избегает полутонов, как и натуральны здешние цвета, почти без оттенков. Зимы тут, как правило, бесснежные, но земля за ночь покрывается белой изморозью, а долину по утрам застилает тяжелый от влаги туман. Здесь не бывает такой стужи, чтоб сковать льдом соседний ручей, но вода теряет резвость, тяжелеет, делается ленива, — уже не бурлит, не стремится, не журчит, не лепечет, а временами басовито попукивает, выбулькивая из себя мутные пузыри.

Зима неудобное время, но я на них прежде не сетовал, наоборот, относился почти братски: природа, оскудевшая, расточенная, зато до конца искренняя, ибо лишена летних соблазнительных прикрас, находит отклик в моей аскетичной душе, к тому ж все-таки служила некоторым для меня испытанием. Зимой требовалась особая чуткость, чтоб оценить ее правду и красоту, теперь лишенную прежних красот. Окрестный ландшафт приобретал иную, чем

летом, суровую, сумеречную красоту. Я всегда был нечувствителен к холоду. Говорят, это признак шизофрении, но я уверен, что не страдаю ни одним из обычных для человека душевных расстройств, а, наоборот, вижу реальность именно как она есть, соответственно, понятное дело, в непривычном для других ракурсе, что говорит о моей, — по крайней мере, так мне хочется думать, — гармонии с миром, нашим с ним едва ль не полным взаимосогласии. Но данная стойкость была и очевидным признаком невзыскательности моего тела. Однако случалось, что зимние холода выстужали не тело, а самое душу, ее склоняя к упадку. Тогда я славил уже не Солнце, тем более не Луну, а, запалив костер из здешних колючих кустарников, слагал гимны своему побратиму Огню, дающему тепло, необходимое не только плоти, но равно и отогревающему душу.

Нельзя сказать, чтоб я слишком остро переживал недавние зимы. Умел как-то внутренне скукожиться, скрючиться, закуклиться, сосредоточиться в самом себе, а затем, внутренне собравшись, так же лихо перемахнуть сезон холодов, как нынче здешняя природа миновала осень. Казалось, что я, будто фокусник, умею одним только страстным желанием переупрямить будто бы неотвратимое упорство времен года. Конечно, бывало и голодно. Словно белка я припасал на зиму сушеные грибы, ягоды, горьковатые лесные орехи. Но, коль весна медлила, приходилось питаться только промерзшими оливками, их согревая во рту, твердыми и безвкусными. Случалось мне отощать настолько, что сквозь живот прощупывался любой позвонок. Притом смерть от голода не пугала. Знал, что она не худшая, не самая мучительная — слышал, тебя попросту обволакивает сон, ласково погружая в небытие.

Но все ж напоминала дезертирство: в том, чтоб уступить такой заурядной, если можно выразиться, пагубе, как один из ежегодных, общеобязательных сезонов, что-то чуялось недобросовестное, похожее на трусливое бегство от недодуманных мыслей, недочувствованных чувств, неисчерпанной вечности. Даже самоубийство предпочел бы нелепой гибели по случайной причине, хотя, в общем-то, как уже сказал, не верил, что этот наш мир открыт случайности.

Теперь я, видать, потерял былую резвость. Как зарядила зима, сырая, бесснежная, нудная, мне подчас кажется, что я теперь вечный пленник студеного мира. Вспоминаю крепкие, бодрящие зимы своего детства. Но позже и в тех, покинутых мной краях вместо полнокровных, ядреных зим наступали угрюмые полусезоны. Как я узнал из подобранных на свалке газет, в последнее время природа чудит всюю, тем демонстрируя свои непокорность и непокорство. Но, может быть, дело вовсе в другом и я попросту начал увязать в моей подступившей старости. Кажется, я давно уж умею не переживать будущее, на него не уповать, о нем не печалиться, но, боюсь, если так и дальше пойдет, в одной из последующих зим увязну по уши, как в поганом болоте, и неведомо, сумею ли из нее когда-либо выпутаться. Впрочем, до сих никогда не впадал в уныние, каковой смертный грех мне, пожалуй, наиболее чужд, чем другие шесть. Ну разве что кроме только чревоугодия.

Зимой тут и так совсем небогатый животный мир терпит дополнительный ущерб. Благо, что пропадает назойливая мошкара, но с нею вместе и нежный летний стрекот захлебывающихся от страсти цикад. И нахохленные,

словно вычерненные, птицы, уже не поют, не свиристы, не щебечут, а будто надо мной глумятся хриплыми, простуженными голосами. Летом, весной, даже осенью я их приманиваю, будто призывая к совместной молитве, однако зимние птицы очевидно глухи к любым проповедям. Стыдно сказать, но я их, наоборот, частенько шугал вон с того полусасохшего дерева, танцевально изломившего свои ветви, — его породу, конечно, не назову, поскольку слаб в ботанике, — их оттуда разгонял своим слаженным из орешника посохом.

Да вот еще и голова теперь зябнет без головного убора, не предусмотренного киношным сценографом, или как он там зовется. Матерчатый капюшон, конечно, не защита от зимы с ее пронизывающим, сказал бы, язвительным ветром. А набить его для тепла мхом или уже подгнившим сеном все ж негигиенично даже и для моих ныне весьма либеральных представлений о чистоте. Не припомню, чтоб когда-либо мне так выступивало мозги. Кажется, и вовсе они вскоре превратятся в ледышку, закаменеет их студенистое вещество (из своего медицинского прошлого я знал, в какой омерзительной слякоти обретаются даже самые возвышенные мысли), сделав мысль ленивой, как отяжелевшие воды соседнего ручейка. При этом нельзя сказать, что у меня теперь в полном смысле холодная голова. Наоборот, туда лезут, будто непрошенные гости, какие-то вовсе горячечные фантазии. Однако не кипят, не бурлят, стремясь вырваться наружу, а будто тихо мной овладевают. Дабы сберечь от зимы собственный мозг, в очередной раз доказавший свою матерьяльность, я залепил оба уха глиной, чтобы хоть сквозь них в меня не сочилась зимняя печаль, и теперь, по крайней

мере, избавлен от мрачноватых, подчас кажется, похоронных звуков здешней студенной поры, — однако уверен, что эти затychки не станут помехой для последней побудки, произведенной ангельским горном.

Должен признать, что мое настоящее как-то, что ли, стусилось, стало уже не целиком равноправно с прошедшим и будущим. Пришло опасенье: не настигает ли меня время, от которого, казалось, я навек ускользнул? Я стал замечать, что прошлое и будущее опять для меня замерцали двумя различными красками, и меж ними, хотя б как разделительный знак, втиснулось настоящее со своими пока робкими требованиями и сомнительными полномочиями. Не знаю, как верней сказать, но постепенно во мне рождается чувство, что вдруг очнулась моя личная история, все ж нераздельная со всеобщей. Теперь я уже не столь уверен, что мне удалось навеки схорониться в себе. Может статься, что моей вечности мне не хватит навечно.

Именно что схорониться: спрятаться в уютную норку, где будто неподвластен законам природы, а также истории, коль предположить, что они действительно существуют. Еще не так давно (как видно, даже и погруженному в вечность не дано совсем избавиться от, если можно сказать, хронологической субординации событий, мне когда-то навязанной существованьем: давно, недавно, прежде, потом, только что, вскоре), когда мои мысль и чувство были целиком вольны и непредвзяты, избавленные от злобы дневи, я любил погружаться душой в самые недра своего естества, где царит неуловимая самость и ты единственный суверен своего бытия; восходить к истоку собственной жизни, туда, где уютная глушь вне времени

и пространств, потом иногда вторгавшаяся в нудную повседневность таинственными паузами, замираньями, чувством безвременья.

Я и теперь пытаюсь спрятаться от зимы в это надежное убежище, в свою кротовую нору, откуда наверняка возможен выход в иные пространства и временные отсчеты, но в этот раз моя самость оказалась не столь радушной, как прежде. То ль я переменялся, изжив свою вечность, то ль это изменился мир, меня, хоть и негромогласно, призвавший к свершеньям. Я смутно чувствовал, как суетливое время, объяввшее мою вечность, для меня потихоньку начинает восстанавливать свой привычный для него ход, будто некто всемогущий подтянул было спустившуюся наземь гирику вселенских часов или, может, подзавел их ключиком.

Колыханье земли (ее подспудное шевеление иль тайное неблагополучие я теперь чувствовал постоянно), все равно реальное или же символическое, свидетельствовало о неблагополучии окрестного мира, для меня ставшего родом драгоценной жемчужины, где я, возможно, соринка, однако на себя намотавшая перламутр. Мне всегда казалось, что я и здешний пейзаж, где сквозь нынешнюю скудость мерцало его истинное великолепие, словно два зеркала отражаем друг друга, так слившись в едином чувстве, вторя один другому, и так до бесконечности.

Я уже подзабыл о той мысли (а они у меня, как, видимо, уже говорил, всегда были нерасторжимы с чувством), что вызревала в теперь почти остекленевших от стужи папоротниках. Однако та наливалась соками, понятное дело, неподвластная сезонам. И оно, это мыслечувство, было как никогда упорным. Прежде моя вольная и торопливая

рука им не давала вызреть в полноценную мысль, их сразу выплескивая наружу, оставив разве что соображением, — я будто стремился ее, как избавляясь от бремени, сразу выплеснуть в пространство, нынче мною разукрашенное, почти как стены здешних городков современными варварами. Теперь чувствую, что рука отяжелела, редко дотягивается до небес. Но эта мысль, что нынче созревала неподалеку от меня, чую, вовсе иной фактуры и, главное, другого размаха, чем те мои беспечные соображения. Она еще не облеклась в точные слова (может так и не облечется), но я уже мог слегка ощутить ее самую суть, сердцевину, где затаилась глубочайшая озабоченность и притаился глагол, способный мысль превратить в побужденье, а потом — и в намеренье. Я почти разгадал его, хотя и без подробностей, в самом общем виде: пока что не как действительно намеренье иль побуждение, а как лишь позыв в некоем виде и качестве явиться миру. Это, пожалуй что, гордыня — рассчитывать на громогласный призыв к деяньям. Он может быть тишайшим, едва заметным значком, различить который способны лишь чуткие и передвзятые души.

Вот и настала зимняя ночь, студеная, угрюмая, полная замороженных звезд, теперь для меня безотрадная, как вечная ночь мирозданья. Светоносная сестрица Луна мерцает погребальным светом, им подкрашивая чуткую к освещенью долину. Мне удавалось заснуть только уже под утро, когда начинали оттаивать созвездье за созвездьем, чуть затуманив небо, как запотевают оконные стекла. Я протирал небеса рукавом, убеждаясь, что все-таки сохранились оставленные мною пометы. Однако там явился

и новый значок, вначале едва заметный, но постепенно вырвавшийся до воистину галактических размеров. Это был знак вопроса, скептическая закорючка, готовая заслонить все знаки зодиака, которыми я, бывало, беспечно поигрывал ночами. Выходило, что я вовсе не избавился от вопрошанья, а незаконно отмел любые сомнения, задвинув их в какой-то дальний закуток, закрюм своей души, где они дожидались удобного, а скорей, неудобного случая, чтобы встать предо мной во всей своей неизбежности.

Запись № 8

Сегодня утром я обнаружил странную вещь: мне показалось, что окрестный мир теперь чуть перекошен. Едва-едва, почти незаметно, но я-то, обжившийся в этом пространстве, чувствую любую его даже мельчайшую перемену, легкое несовпадение с прежним. Мне показалось, что округа стала чуть покатою, хотя и немного, но все же отклонилась от вселенского нивелира. Я попытался выправить этот мной обнаруженный потенциально опасный крен усилием мысли и воображения, хотя, в общем-то, понимал, что это мне вряд ли удастся столь кустарным способом. Притом что я, кажется, писал (трудно что-либо отыскать в моих разбросанных там и сям пометках) или вот сейчас напишу впервые, что неощутимость границы между моим внутренним и внешним, можно сказать, моя теперешняя неоформленность, тем самым и невыделенность, рождала чувство, что весь этот мир

плод моего воображения, моя собственная легенда; соответственно, я попечитель этой многозначной и многозначительной местности, суверен этих роскошных ландшафтов, где мерцает меня захвативший образ. В какой-то мере именно я ее автор, следовательно, возможные перекосы, любые неурядицы, уж не говоря о подлинных катастрофах, — это мне очевидный укор. Я с головой окунулся в эту волшебную местность, но и та в меня целиком окунулась, пропитала всего, пробрала до самой селезенки. Уверен, что наши с ней судьбы сплелись намертво и вовек нераздельны.

Сюжет моей жизни будто задремал, упокоившись в скорей всего мнимом совершенстве. Эта навязчивость нынешней зимы, тревожный набат горных колоколен, который я различал даже сквозь забитые глиной уши, исподволь рождавшийся непокой, будто меня призывали подхватить сюжет, его устремив к все-таки необходимой развязке. (Еще недавно мои мысль и чувство, не скривленные повседневными заботами, как и надеждами, сбыточными и несбыточными, были вовсе не витиеваты, прямолинейны, — мне так и виделись прямыми линиями, устремленными в бесконечность. Теперь же я в них ощутил некий выверт, узелок, заминку, где таится тревога.) Ее невозможно выдумать, взять из головы, она может только лишь вызреть во мне самом или, пусть, поодаль. Разве что возможно ее чуть поторопить, чтоб она созрела до тех пор, пока не послышится, чем ни затыкай уши, неуклонный костяной шаг нашей траурной матушки, иль милосердной сестры, славу которой пропел напоследок скромнейший пророк, прежде чем отправиться в свое вечное отдаленье. Мне ж повторить этот его куплет, — имеется

в виду не как попугаю, а истинно от всей души, с подлинной верой и надеждой, — никак не удавалось: пытался не раз, стоя над кручей, но обрывался голос, подменяя слова каким-то детски отчаянным всхлипом. Однако этот беспомощный всхлип был куда верней слова, а что выразительней, так уж точно.

Мне теперь уже не казалось, что я предоставлен своей ничем не стесненной свободе, сузилась моя вселенная: у нее, еще недавно беспредельной, теперь угадывались хотя бы весьма отдаленные, но все же границы. Небесный свод словно огрубел и теперь был уже не пространством моей мысли и безбрежным поприщем, разверстым любым фантазиям, а казался твердью, чашей или даже суповой чашкой. Я начинал ощущать духоту этого спертгого мира, где страсти не расплываются, а бурлят, угрожая космос обернуть хаосом, тем пустивши вспять эволюцию, или разорвать все мироздание в клочья, как взрывается перегревшийся котел.

Как бы я мог вмешаться в судьбу накренившегося мира? Конечно, не проповедью, не так уж я красноречив. Хотя, надо признать, довольно логичен: было время, у меня посылка будто сама собой намертво прилипла к выводу, как обильно смазанная клеем, тем образуя жесткую конструкцию моей жизни, откуда, казалось, невозможно сделать и полшага в сторону. Полемист я был замечательный, способный даже и самого себя, когда надо, легко переспорить. В деловых же словесных баталиях был почти непобедим, что способствовало неплохой служебной карьере. Впрочем, моей судьбе словно всегда не хватало вдохновенья: не припомню каких-либо неожиданных, павших с неба удач, ее удивительных поворотов, на которые, случалось, бывали

обильны выпавшие мне эпохи, одаряя, к примеру, незаслуженным успехом некоторых знакомых мне финансистов и политиков, в реченьях которых как раз не было иных достоинств, кроме, должен признать, некоторой увлекательности. Было досадно, однако нельзя сказать, что я им завидовал, предпочитая все же собственную судьбу, в общем-то, надежную и справедливую, хотя и с очевидной нехваткой, что ли, творческого духа. Да и что ж пенять на нее, коль тут была несомненная связь с моей жесткой логикой, из тенет которой мне и самому было не просто выпутаться, как и невдохновенностью моей речи, как следствие невдохновенности мышления и неразвитости чувства. Мне получалось убедить, но редко выходило увлечь собеседника (уже говорил: не умею воспламенять сердца), что и помешало полному блеску моей карьеры. Вырваться из своей складной, но и занудной судьбы мне помогла как раз вдохновеннейшая иноземная сказка, целиком отринув мое прежнее существование с его постылой силлогичностью, где сплошной закон и полное отсутствие благодати.

Во мне сейчас крепнет чувство моей необходимости миру, как теперь личности вольной и непредвзятой, которой неучастие даровало широчайший кругозор (у меня в полном смысле исключительная, пусть и невдохновенная, судьба, меня хоть на некоторое время исключившая из существования), а неотграниченность — это причастность ко всему чему бы то ни было: любым пространствам, местностям, эпохам, как равно и безвременьям, мучительным, однако и плодотворным. Но с чем же явлюсь миру, коль сам не верю в силу собственного слова, как, разумеется, не доверяю и чужому?

Разумеется, не пожелаю предстать очередным проповедником-пустобрехом, притом что теперь-то уж понял, что судьба любого пророка быть перевернутым, а любого истинного слова, вырвавшегося из тех самых глубин души, где они соседствуют с горним, быть перевернутым до самой своей гнусной, позорной противоположности. И вся беда в том, что даже не по чьей-то злой воле, а таково свойство жизни, ее закон (лукавая диалектика превращения наилучшего в наихудшее), нам дарованный наверняка в качестве глубокого назидания, однако до сих пор не разгаданного даже лучшими умами человечества, — что уж обо мне говорить? Мне только и остается и его принять как данность, с которой, увы, нам должно примириться. Даже мельчайшая, субтильная кроха истины способна будто облечься танковой броней, тем делаясь воистину опасной. Разумеется, мне надо соблюдать сугубую сдержанность во всем — слове, поступке, жесте, тем самым уменьшая соблазн быть перевернутым и наверняка оболганным (хотя я всегда был равнодушен к человеческому суду, его наперед полагая несправедливым). Стоит ли пытаться увлечь человечество какой-либо идеей? Все уже будто найдены, приглашены, учтены и перебраны, многократно перетолкованы, а их изобилие в нашей чересчур памятной современности вызывает даже комический эффект. Можно понять тех, кого так и тянет с ними поиграться, устроить свистопляску на костях усопших или вконец обессиленных идеологий или эстетик, или дать им самим возможность поглумиться друг над другом. Разве что людей вдруг проберет простейшее слово (ибо, уверен, только простейшие слова обладают вечным смыслом), но чтоб отыскать его, надо все слова,

какие ни есть, попробовать на вкус, испытать на цвет и запах, — за это не возьмусь. Потом люди сами его совсем уж упростиат, низведут к лозунгу.

Надо сказать, что современность изрядно затянулась: ее исток обозначен рождением легенды о Французике, который неспроста избегал новизны, а исход еще так до сих пор и не обозначен. Не знаю точно, но мне кажется, что в ту пору, когда возник этот миф, люди были все-таки более чуткими к слову, и вообще как-то милей. Разумеется, опутанные бытом, источенные ханжеством, но все-таки не без наивной человечности, именно потому доступней словам, достойным примерам и раскаянью, — до тех пор, пока неизбывная современность не намотала вокруг их чуткого нутра, которому отпущен дар слезный, слой техногена и с ним связанных надежд и разочарований.

Но тогда вновь утыкаюсь в знак вопроса: кем же и как предстать миру? Просто и невежливо после столь долгой отлучки явиться с пустыми руками, безмолвствующими устами и взглядом безумным от вселенских фантазий. Да на меня и вовсе не обратят внимания или вновь примут за ряженого, стремящегося подзаработать на захлестнувшем этот край туристическом буме. Если хочу быть, коль не услышанным, так замеченным, нужен, увы, хотя б отенок сенсационности. Тут необходим особый, убедительный стиль, вместо моей нынешней бесформенности какая-то форма или даже униформа. Впрочем, моя-то киношная униформа вполне походит к случаю: пожалуй, так и должен выглядеть, громко говоря, водитель человечества — архаично и странно, притом что примерно так выглядят волхвы и пророки на привычных для местных

жителей церковных фресках. В ней безусловно присутствует многозначительность, которую каждый волен понимать по-своему. Теперь в мою душу стучится наивысший соблазн: сыграть роль не в пусть даже и гениальном кинофильме, а на подмостках вселенского масштаба. Уверен, что этот вроде бы мелкий, архаичный мирок, однако способный породить великую легенду, открыт всем сторонам света: его трагедия станет всеобщей, как равно всеобщим и спасение.

Некоторая приправа лжи, мне кажется, не страшна, если я в себе чувствую готовность (не так давно ее обнаружил) и на самый решительный поступок, на высшую, уж точно несомненную достоверность, то есть не пожалеть собственной жизни, в отличие от как-то припомненного мною лжепророка, из-за привязанности к обитанию в мире отказавшегося зачать новое летосчисление. Другой вопрос, велика ли будет моя жертва, коль жизнь и так во мне иссякает согласно естественному течению времени, и было б даже разумно увенчать мне отпущенный век какой-либо героикой, даже не в надежде на загробное воздаяние, а просто как эффектной точкой (а верней, восклицательным знаком), апофеозом, истинно романтным финалом, делающим осмысленными любые вихлянья сумбурного, весьма небрежно прописанного сюжета. Я взвесил всю свою жизнь на ладони, ощутив ее все ж достаточно легковесной, несмотря на горстку вроде б серьезных постижений, скопленного опыта проживания, должной меры горечи, отчаянья и радости.

Я понимал, что в самом моем облике присутствует отенок блефа, но тот возможен и во благо, — в нынешнем мире вряд ли у кого достанет чутья на подлинное; похоже,

что все охотно довольствуются эрзацами. А если припомнить, так сказать, мое существование в миру, то среди моих коллег и знакомцев мелкие и даже не слишком предательства и ловкие передергиванья карты не считались ни грехом, ни, как говорят французы, «фо па», а даже скорей доблестью, столь ими уважаемой практической сметкой, которой друг другу хвастались с пацанской наивностью. Да я и сам довольно преуспел в этом жизненном покере, относясь к нему, что ль, внеэтически: типа ну игра она и есть игра, тогда еще не понимая, что это игры бесовские, а мельчайшее бытовое зло — манок для, бывает, великого злодеяния. Теперь у меня было две задачи: не преувеличивать благо, чтоб то не обернулось злом и не приманить зло, всегда бдящее. Будь я недоверчив к себе самому, тут предположил бы не побужденье, а искушенье. Однако знал по собственному опыту, что пока и то и другое лишь легкий шепоток, их не различить между собой, — а различишь только задним числом, по их следствиям. А возможно, ни то ни другое, а это начала мне исподволь нашептывать свои советы уже подступившая старость, призывающая поторапливаться. Короче говоря, коль мне и не дано явиться в мир пророком и водителем человечества, так хотя бы надеждой, которая, как помню из детства, когда остро увлекался мифологией, так и не выпорхнула из рокового ящика Пандоры, в отличие от всевозможных несчастий и тягостных заморочек.

Заканчивается день, угрюмый и сумеречный; мой солнечный братец словно меня разлюбил — прятался за облаками и тучами, мне изредка показывая лишь свой сверкающий ободок. Вновь зарядил дождь, а тоже мой родственник,

Ветер занудно подвывает в оголенных кустарниках. Не выпеваю вслух, а тихонько бормочу себе в утешение мной, как сумел, переложенный куплетец:

Хвала Тебе, Господи, за брата нашего Ветра,
воздух, ненастье и ведро, за любую погоду,
нам дающую пропитанье...

С пропитанием, кстати, совсем плохи дела. Утром обломал зуб промерзшей оливкой. Кажется, вообще мои кости сделались хрупкими, похрустывают, когда поворачиваюсь с боку на бок. Может, это не так зима, как исподволь подобравшаяся старость выстуживает мою душу. А ведь я столь, казалось, укоренился в своем среднем возрасте, что в нем вовеки пребуду. Этот возраст мужского расцвета я признавал с детства, возможно, и призывал, старцем же себя решительно не видел, тем, впрочем, не отличаясь от любого из малых сих, для каждого из которых старость беззаконна.

Запись № 9

В долине клубится утренний туман, она им переполнена до краев. Отроги тумана тянутся к подножью моей дурно слаженной хибары. Однако чуть потеплело и теперь унявшийся ветер уже не сквозит меж забитыми мхом прутьями утлого жилища. Ко мне благоволящая природа тут еще ни разу не явила той лютости, на которую, мы все знаем,

способна. Я верил, что, как это бывало прежде, поутру буду избавлен от вчерашнего дня, однако моя судьба и верно переменилась. Видно, Великий Сценарист нашей жизни самлично задумал поворот сюжета, который мне б и не пришел в голову (те, что мне до сих пор являлись, были, признаю, довольно мелкотравчатыми, хотя, случалось, и хитроумны), — остается лишь угадать этот замысел, что, надеюсь, мне подскажет моя почти уже вызревшая, но еще себя не раскрывшая мысль. Речь о том самом Сценаристе, который вдруг повелит «встань и иди», и ты встанешь, хоть бы даже из смерти, и пойдешь, смердя на весь свет погребальными пеленами. На собственные же записи я будто утерял авторские права, оказался внутри некоего упрямого повествования, над сюжетом которого я не только не властен, но даже пока не мог и представить, куда он вильнет, чтоб все ж отыскать развязку, которой я и не предполагал, пребывая в моей синхронной вечности, — но и она, оказалось, может быть растрчена, в точности как и время. Все же надеюсь, что моя жизнь — не случайные заметки, не рассказ, не повесть, а роман, пусть и не классический, или, верней сказать, целиком дилетантский: лишенный складного сюжета, целенаправленного действия, увлекательных коллизий, с разбежавшимися кто куда персонажами, но все ж с упорствующим в своем существовании главным героем, хоть и пустопорожним и неоформленным, но тем причастным ко всему, что творится в мире, — надеюсь, также и с неким назиданием, то есть вполне достойна финала. Не великая ведь претензия.

Свой уход из мира я уподоблял смерти, но та оказалась не истинным, невозвратным финалом, а отчасти бу-тафорской, таковой же, как мой реквизитный балахон.

Я уже догадался, что совсем скоро вновь окажусь в путах суетливо стремящего времени, хотя б не рвущегося вперед, а словно пятящегося задом, тем сокращая мои сроки. И сам я ужмусь; взамен беспредельности, пожалуй, займу в пространстве не больше места, чем то позволяет мое обтрепаншееся тело с его мелкими нуждами. Неспроста ведь теперь, куда ни глянь, отовсюду брезжат мои скудноватые будни, казалось, похороненные под слоями иной, вольной жизни. Теперь чувствую, как практичный, прилаженный к злобе дневи разум, теснит мою застоявшуюся, потому уже подгнивающую мудрость. Нет, я вовсе не охвачен уныньем, но, видимо, столь долго созерцал свет, что теперь слезятся глаза, да там еще мелькают черные пятнышки, испещрившие столь прежде безупречную округу. Должен признать, что лихо меня припечатала нынешняя зима, вымела из души вроде там навек обжившееся благополучие.

Теперь из моей уже немного подмаранной вечности меня подчас тянет дезертировать в мой прежний мир уютных мнимостей. Станным образом, меня стало тяготить одиночество. Раньше я лелеял его, досадуя даже на голосистых барашков, гурты которых куда-то перегонял пастух в старомодной борсалино (кажется, так зовется), насвистывая мелодию из «Крестного отца», или, отчаянно фыркающая смрадом, проезжал колесный трактор. А теперь часами вглядываюсь в безлюдную по зиме дорогу, размашисто огибающую мой пригорок, в надежде там обнаружить хоть что-нибудь живое. Однако дорога теперь пуста: ни человека, ни механизма, ни даже бездомной собаки. Оживленные летом горные террасы, и они опустели, — либо у меня уже не хватает зоркости различить тем теплящуюся жизнь.

Являлось подозрение, что люди и вовсе вымерли, а мир окончательно сошел на нет, пока я от него отвлекся (на год? на десятилетье? на целый век?). Вряд ли, конечно: знаю, сколь он живуч, как умеет противиться к нему не раз подступавшему хаосу и распаду.

Но коль он и впрямь целиком вымер, то я не отрекусь и от собственной за это вины, как беспредельная личность, ко всему причастная, но лишь разделив ее со всем человечеством, скромно не преувеличивая своей ответственности, что было б распространенным и коварнейшим видом гордыни: если подсчитать, на меня пришлось бы всего-то не больше ее примерно семи с половиной миллиардной доли. Выходит, мельчайшая мелочь, но все ж, учитывая глобальность вины всеобщей, это было б тяжкое бремя для моей недавно разбуженной совести. Не намерен отговариваться своим долгим отсутствием, а прежде того — мизерным участием в мире, если уж я себя представлял одним из субъектов жизни, то есть именно полноценной личностью, принадлежащей к горстке тех, кто сознает собственное бытие. Пусть и не до конца, с досадными изъятиями, небрежными пробелами и помарками, подчас непростительными искаженьями, но все ж достаточно цельно, чтоб чувствовать свою за него ответственность, добровольно приняв это бремя.

Дорога, в чьей зимней слякоти пытаюсь запечатлеть свои торопливые мысли, оставалась уныло бездвижной, однако теперь посуровевшая природа меня подчас утешает, одаря удивительными перформансами: вот сейчас над горными пиками взмелась какая-то серая муть, однако

вся украшенная разноликими искрами. Не могу сказать, что это за эффект (возможно, и небывалый), поскольку мало знаю о природе, никогда не стараясь вызнать законы ее существования, то есть безблагодатный принцип ее нудных повторов. Она для меня всегда оставалась таинственной вышней символиккой. Вот сейчас пытаюсь разгадать, что мне сулят эти горные пики, теперь настойчиво застят горизонт, которые нынешняя зима сделала будто еще жестче.

Забив свои уши глиной, я теперь глух к внешним звукам, но тем отнюдь не избавлен от новорожденных сомнений, которые, наоборот, все более крепнут. Во мне словно завелся чей-то прибудный голос, если можно сказать, весьма гибкий: то вкрадчивый, то терпеливо вразумляющий, то чуть не глумливый. Казалось, в неторопливый диалог двух моих разумов, умудренного и познающего, вмешался некто третий. (Надо сказать, что еще недавно столь, казалось, надежные, они теперь будто впали в растерянность: мой высший разум почти безмолвствует, а разум надзирающий пока не способен вновь склеить надтреснувшую реальность, мне верно указав подкрававшиеся угрозы и возможное от них избавление.) Откуда ж он взялся? Подчас мне казалось, что вся моя душа у меня как на ладони, но все ж, видимо, я не умел разглядеть все ее закоулки и тупички с их бог знает чем: может, тайнымикладами, может, истлевшими до кости надеждами и упованиями. Вмешательство этого незнакомца пока еще не было громогласным, — нельзя сказать, что он настырен, однако в нем чуялось дьявольское упорство. Может быть, и случайно мне сейчас подвернулся столь мрачный эпитет.

Иногда новый голос мне кажется искусительным, а еще недавно чистейшее поле моих мысли и чувства — отчасти обгаженным, но, возможно, это моя обленившаяся душа, оберегая собственный покой от всего, что может смутить ее, старается отмахнуться от любых искушений и надежд. Все ж почему-то уверен, что он рано или поздно заставит к себе прислушаться.

Я упорно ожидал какой-то помощи, знака извне, более отчетливого призыва, чем этот искусительный шепот. Пытался отыскать какое-либо указание или пророчества в своей памяти, однако на ум приходила лишь пустая пропись, меня предавшая моей свободе. Теперь уже не прославляя богоданную природу, я твердил мною переложенный куплет гимна, который прежде произносить не решался:

Хвала Тебе, Господи, за тех, кто во имя любви
отрекся от всяческого имения,
предавшись мукам и униженьям.
Блаженны те, кто это приял со смиреньем,
ибо Тобою, Всевышний, будут прославлены...

Казалось, вот он и есть ответ на все вопросы. Но все ж у меня не столько гордыни, чтоб хоть в какой-то мере его отнести к себе. Да, и верно, отрекся, даже и с некоторым смиреньем, но от изжитого и пережитого, того, что не представляло для меня уже никакой ценности, а главное, без любви, по крайней мере конкретной и страстной, — не назвать же любовью мою прохладную заботу о человечестве. Как наверняка ущербна и моя любовь к Господу, а также мои вера и надежда.

Запись № 10

Ранним утром, в ту пору, когда, бывает, материализуются подспудные страхи (в моей прежней жизни как-то, полупроснувшись, я чуть не помер от ужаса, не вообразив, а воочию увидав свою квартиру охваченной пожаром, оказавшимся правдоподобной иллюзией; а однажды испытал самое подлинное, предсмертное чувство падения с огромной высоты), я ощутил удушье. Казалось, вдруг скукожился весь окружающий мир, готовый меня раздавить в лепешку. Словно б он перестал делиться на дальнее и ближнее, и уже бесполезное время для меня стиснулось в единственный миг. Тут уж заглохли и оба моих разума, и даже искусительный подголосок, так что это вселенское сжатие я сознал только задним числом, когда восстановил дыханье и сумел одолеть панику всего организма: не только перепуганной души, но и затрепетавшего сердца, с годами все более чувствительного, отчаянно вздернувшейся селезенки, коварного подвздошья, где у меня с давних пор неизменно копилась тоска. Я наблюдал, как сплюснутый мир будто выдохом облегчения постепенно вновь обретал на единственный, неучтенный миг им утраченный простор: стиснувшие меня окрестные скалы занимали свои места в привычной для меня перспективе, навалившиеся небеса, неторопливо раздувались будто купол воздушного шара. Однако среди угасавших светил явственно проглядывал вопросительный знак, теперь уже единственный, но космического размера, крючком прихвативший черпак Малой Медведицы.

Что бы мог значить этот экивок окружающего пространства или пусть даже моего собственного в широком смысле воображения, коль весь этот мой мир от горизонта до горизонта исполнен моих дум и фантазий? Можно тут заподозрить намек или даже прямое указание. Неужель это обжитая, ладно притертая ко мне местность мной начала тяготиться? Выходит, время, будто б навсегда укрощенное, ко мне подобралось откуда-то сбоку. И, видно, ни при чем тут зима, изрядно выстудившая мою душу, а это о себе заявили новые сроки, мне сулящие очередную жизнь. Я понимал, что мне тут уже не будет покоя, а нужна ль мне самому беспокойная вечность?

Да, в окружающем пространстве истинно произошла перемена и не лишь ментальная. Когда я днем встал над обрывом, чтоб, как привык, произнести очередной куплет или хотя б строку мной дилетантски переложенного гимна, у самого подножья скалы обнаружил темное пятно на белесой от изморози почве, которое сослепу принял за огромную кучу навоза. Это не глупая шутка: у меня и впрямь слабеет зрение, а такие кучи, уж не знаю, случайно или нет пару раз вываливал прямо возле дороги мною прежде помянутый трактор. Но оказалось, начавшее слабеть зрение меня ввело в саркастичный, я б сказал, обман: получилось, я столь вознесся над миром, что для меня теперь люди всего-то кучка дерьма. Да нет, конечно, но, как знаем, слишком преувеличенное смирение всегда граничит с гордыней, о чем я себе напоминал, коль не ежечасно, так ежедневно. Короче говоря, под моим пригорком слегка шевелилась людская толпа. Пожалуй, толпа слишком уж громко сказать об этой группе людей, однако немалой,

что находилась в каком-то неопределенном движении, но также и единстве, как дружно раскачивалась туда-сюда. Начавший вопрошать, я, конечно, задался вопросом, что их могло собрать в такую слякотную, дурную пору в этом месте, довольно далеком от любого жилья, где, собственно, именно я и являюсь единственной достопримечательностью, хотя до сих пор и неприметной для окружающего мира. Было мелькнувшую неприятную мысль, что это все ж снимается когда-то задуманный фильм, я сразу отверг, не заметив должной аппаратуры.

Может, именно мое ослабевшее зрение придавало этой людской горстке иллюзию единства. С метров пятидесяти не удавалось ее поделить на самостоятельные человеческие особи, — **впрочем**, это был тусклый день, когда меньше всего чувствовалось благоволение моего небесного брата, сегодня норовящего закататься в облака цвета солдатских подштанников. **Впрочем**, когда мое зрение еще оставалось безупречным, подобный род близорукости был свойствен моей мысли, как и восприятию внешнего мира: всегда-то он мне казался слитным, одушевленным единым чувством и миропонятием. Себе ж я виделся вылученным из этого дружного массива зернышком. В годы своей наибольшей мнительности я подозревал чуть ли не всеобщий заговор против меня лично, не слишком злобный, однако и не доброжелательный. Но такая редукция где-то и облегчала мои отношения с миром людей: лучше уж, и тем более наглядней, его представлять себе отчасти выхолощенной человеческой массой, чем вникать в каждую из несчетного множества разноликих жизней по отдельности. Так выходило, что я был в некоем отношении с людьми, чаще равнодушно-товарищеском, но не в отношениях. И если уж

собирался благодетельствовать мир, то весь скопом, не размениваясь на каждого (или хотя б некоторых) из его утомляющих своим разнообразием особей (не функций ли?) Не знаю, насколько уж велика цена столь, по правде сказать, если и не эгоистического в полной мере, так эгоцентричного подвижничества. Видимо, не слишком-то велика, ее не преувеличиваю.

Ожидая с недавних пор некоего знака и побуждения извне, я мог бы вообразить, что это нечто вроде депутации от человечества, или хотя б от местного муниципалитета, чтоб меня призвать к всеобщему служению. Даже на миг, признаюсь, предо мной мелькнуло соблазнительное видение восторженных толп еще моей ранней, юношеской поры, когда я на короткое время стал безбрежно честолюбив, себе навоображал фантастическое по своей яркости будущее. Однако мое честолюбие вскоре как-то осело даже еще прежде первых разочарований. Проснулся мой надежный рационализм, мне подсказавший с жесткой объективностью, или, верней, озадачивший простым вопросом: чем, собственно, по-твоему, должны восторгаться эти людские толпы? И впрямь, никаких особых талантов я в себе не сумел обнаружить, как ни старался. Возможно, я был слишком даже к себе объективен, поскольку моих некоторых знакомцев, еще посредственной меня, вознесли в самое небо переменчивые ветры нежданно о себе заявлявших эпох. Правда, большинство из них потом рухнуло с тех высот самым жалким, а подчас и трагическим образом (иных я даже оплакал), но притом ведь хоть недолго пожили вовсю, с настоящим размахом. Я же разумно предпочел скромное существование без чрезмерных

взлетов, соответственно, и роковых падений. Копошился, как жучок, в своем повседневном быте и мелких заботах, сумев, однако, протереть жизнь до сквозной дыры, откуда на меня вдруг пахнуло величием.

Однако эта немногочисленная, но компактная толпа будто и не заметила моего появления на верхушке скалы, где я смотрелся даже эффектно в своем балахоне, с воздетыми ввысь руками. Кто знает, может, это какая-нибудь инспекция или же комиссия, решающая вопрос местного значения: не стоит ли, к примеру, укрепить мою нависшую над дорогой меловую горку в опасении камнепада? Весьма предусмотрительно, учитывая нередкие последнее время колебания земной поверхности, чуть сбившие вселенскую вертикаль, что, правда, наверняка заметил лишь я один. По крайней мере, даже и на взгляд сверху в этой группе угадывалась некоторая деловитость. Не скажу что для меня это было досадно, но, бог ее знает, инспекция или комиссия с интуитивной целью чуть подправить уже опасно накренившуюся реальность отвлекла мое внимание от возвышенных дум, и слова ежедневного гимна, мною переведенного, как умею, будто вдруг вымело из моей памяти. Я тщетно пытался их припомнить, но вместо них почему-то в голову лезла инфантильная чушь, издавна притаившаяся где-то в подспудных глубинах: детские считалки, дразнилки, стишки из букваря и тому подобный мусор. Вот что мне подбрасывала моя, оказалось, ироничная память.

Я чувствовал комизм своей нынешней позиции, когда с бесцельной горделивостью возвышаюсь над миром. Но, главное, во мне шевельнулся давний, казалось, прочно забытый страх. Даже в суете быта и соблазнах мелкого

честолюбия я нередко представлял себе время, когда безнадежно сойду на нет, сделаюсь полутрупом почти без зрения и слуха, но все ж с проблеском разума (это ведь вовсе не кинематографическая страшилка, а самая обыденная перспектива для тех, кому не повезет сдохнуть раньше, чем придет уже полное старческое одряхление, — с горечью наблюдал свою девяностолетнюю тетушку, жутковатое было зрелище). Что ж тогда останется моему полутруп, коротающему остатки века, ожидая собственного погребения? Лишь только молитва. А вдруг да ее позабудет окончательно смеркшаяся память? Тогда воцарится лишь безблагодатный мрак, чистая гибель при еще теплящейся жизни. Жуткая перспектива, страшной которой и не придумаешь, — мне, по крайней мере, не удавалось.

Впервые за бесконечно долгое время поперхнувшись первым же словом гимна, славящего богоданную природу, я внезапным порывом решил обратиться к людям, пускай даже к этой деловитой комиссии по благоустройству местности, которой, мне кажется, лишь я один смог бы вернуть равновесие, восстановив пугающе отклонившуюся вертикаль, хотя сразу и не получилось. А комиссии вроде этой только и способны латать мелкие прорехи современности, явственно для меня скользящей в сторону трагедии. Я помахал им рукой и выкрикнул слова приветствия на здешнем языке, сперва тихо, потом столь громогласно, что мне эхом отозвались окрестные скалы. Не сразу я до них докричался, но все ж был замечен. Единая толпа дружно вскинула головы, а затем донесся разноголосый шорох: что-то они обсуждали, о чем-то, кажется, рассуждали. Однако не ответили на мой привет да и вообще не

проявили достойного интереса, наверняка не сознав многозначительности моего появления на верхушке скалы. Видно, мир еще не добрался до грани отчаянья, когда будет готов довериться какой-либо экзотической странности. Себя ощутив освистанным актером, я удалился в свой ненадежный скит, где скоротал ночь, обводя указательным пальцем вселенский знак вопроса, угадывающийся среди теперь мутных созвездий.

Запись № 11

Как-то проснувшись утром, я ощутил свежие признаки весны. Пока едва заметные, но я здесь научился тонко распознавать их. Нынешняя зима, чьим вечным пленником я себя иногда чувствовал, изрядно потерзав мою душу, явственно для меня отступала. Я это сперва ощутил нюхом: в чуть посветлевшем, как бы обновившемся воздухе угадывались уже новые запахи. Не сказать что благовонные: немного припахивало прелью, но почему-то именно этот дух перегнивших растений всегда был для меня романтичен и напоминал детство. Зима выпустила меня из своих объятий, и природа теперь была тороплива. Весна наступала буйно, как стремясь опередить привычные сроки. Впрочем, я не считал дни, лишь наблюдал ее бурный натиск. Весенние приметы множились, пересекаясь, перекликаясь. Еще недавно угрюмо буркавший ручей теперь зажурчал с почти прежним задором (я в нем обмылся как смог и выстирал свой балахон, поскольку оба мы тоже

пропахли зимней прелью), черные птицы куда-то исчезли и вновь обсели деревья здешние разумные, благодарные к слову птахи; освобождались от изморози соседние валуны и скалы, обнажая мои памятные записи; блеклое, словно на меня за что-то обиженное солнце с каждым днем набирало свой полуденный жар. Окрестный пейзаж теперь смягчился, утратив свою готическую остроугольность. На избавленных от зимней наледи склонах уже кое-где появился травяной подшерсток.

Моя душа понемногу оттаивала, но все-таки она не была прежней, да, видно, уж никогда и не будет. Ныне изъеденная вопрошаньем вечность уже не казалась безбрежным полем, радушным к любому вымыслу, и горизонт будто окаменел, строго ограничив мое пространство, — я даже и не пытался дальше него заглянуть. Однако после недавней заминки слова благодарственного гимна я теперь произносил с прежней легкостью. Можно сказать, что они, как и раньше, сами собой выпевались, — кроме, правда, величания смерти, которое я всегда обходил стороной (иль, верней, через него перескакивал), которое все равно б звучало неискренне, не от чистого сердца. Ее-то я всегда представлял не сестрой, а постоянно бдящей заботливой матушкой, недостойной пустого подхалимажа и ему, конечно же, недоступной.

Дорога под скалой с наступленьем весны немного ожила. Иногда проезжали машины, изредка брели пешеходы. Даже еще разок там как-то собралась Комиссия по благоустройству, хотя и немного поредевшая. Как и в первый раз, она деловито сновала у подножья скалы, что-то выморя, но теперь уже не такая цельная: группка разбилась на индивиды, иным из которых мое близкое присутствие

(притом что теперь я не принимал артистичных поз и вообще деликатно старался не показать себя) слегка досаждало. Время от времени те вскидывали головы, обшаривая взглядом мой взгорок, — кто знает, может быть, ее работа предполагала некоторую конфиденциальность, возможно, связанную с наверняка и сюда проникшей коррупцией, а тут неведомый соглядатай, хотя б и столь диковатый с виду. Но также не исключено, именно своей диковатостью я вызывал у них опасения другого рода: вдруг да закидаю их сверху камнями, — мало ли что придет в голову психу, каковым я им наверняка вижусь? Должен признать, что, исходя из человеческого стандарта, я и впрямь, должно быть, безумен (любопытно, что к такому, кажется, очевидному выводу я пришел совсем недавно), хотя безумье всегда представлял себе иначе, а именно хаосом взбаламученных мыслей, тогда как моему, коль мерить от унылого стандарта, свойствен как раз слишком уж ясный, широкий, притом самовольно непредвзятый взгляд на мир, когда излишне четко видятся его перспективы, в особенности наихудшие. Потому абсурд я воспринимаю именно абсурдом, а никак не нормой, как то положено человеческому стандарту. Нет, безумие, конечно же, не то слово: в моем случае тут не отсутствие ума, а переизбыток. У меня ведь целых два, верю, довольно пронзительных разума да еще с недавних пор соблазнительный подголосок, как возникшая тревога мысли, что ль, придающая дополнительную глубину моим внутренним диалогам, чересчур, бывало, миролюбивым, будто игра с самим собой в поддавки.

В этом втором уже явлении, судя по деловитости, облеченных некоторой властью людей, было нечто для меня

тревожное. Не думаю, что мое убежище оставалось сколь бы ни было тайным, но, видимо, в этой стране, гордящейся своей выстраданной поколениями свободой, своеобразие жизни не является преступлением или даже проступком, притом, однако, что за нарушениями иммиграционного законодательства тут, знаю, следят со всей строгостью. Можно считать своего рода чудом, что мной до сих пор не заинтересовались те или иные официальные службы. Можно было б это списать на провинциальную халатность, притом что я все же несколько не похож на мусульманского террориста, но предпочитал думать, что нахожусь под защитой местной легенды, в некотором роде ее частью, или, допустим, продолжением, или пускай эпилогом. То есть, не испытывая ко мне пристального интереса, местные власти все-таки не решаются применить ко мне предусмотренные в данном случае меры. Казалось бы, взгляд иррациональный, но в нем присутствует один из резонансов высшего порядка, вне стандартного здравомыслия, каковым теперь и подчиняется моя жизнь.

Нельзя сказать, что во мне проснувшийся вуайеризм стал для меня главным увлечением. Гораздо больше я увлечен весной, исподволь проникавшей во все мои поры. Много лет жизни весна во мне будила довольно-таки блеклое чувство, а с тех пор как поселился в своем шалашике, я научился (уже писал) перемахивать межвременье, будто пролистнув за ненадобностью эти хлипкие, двусмысленные сезоны. Однако теперь я чувствовал едва ли не такой же силы бурление крови, что переживал в своей ранней юности. Задаюсь вопросом, откуда вдруг этот

нежданный весенний порыв жизни и обновленного чувства? Не последний ли он в моей жизни? Тут безмолвствовали оба моих разума, ничего не подсказывая. Язвительный же подголосок, казалось, нашептывал совет не упускать его, как уже последний шанс. Кстати, и мысль, которая вне меня, но все же неотвязная, зимой притихшая в соседних папоротниках, однако была не убита зимней стужей: с началом весны подала весть, вновь начала попискивать, не давая забыть о себе. Верно, верно, что она вскоре разродится намереньем. Однако намеренье, не поддержанное жизнью, не вплетенное в ее истинный сюжет всегда пустопорожне. (До поры до времени я был просто кладбищем всевозможных намерений, от благороднейших до разрушительных: намеренья-то были эффективны, но мое существование, как много раз говорил, мелкотравчато.) Теперь мне оставалось еще дожидаться внятного призыва жизни, которого я теперь ожидал ежеминутно. Именно так: мое еще недавно цельное бытие опять поделилось на сутки, часы и мгновения, вернув обязанность его проживать со всей добросовестностью, не выковыривая из этой булки изюм, не пролистывая, казалось бы, лишние страницы, полные ненужных длиннот и занудных повторов. Но, увы, тем самым ко мне вернулась и неизменная скука ожидания.

Опять подхваченный временем, я почти возвратился к своим прежним, всего-то человеческим, размерам; уже не дотягивался до горизонта, и уж тем более до небес, чтоб там оставить свою помету. Заканчивалась моя праздная вечность, в которой, казалось, я безвозвратно утопил свое настырное и разрушительное время. Мой

астрономический масштаб остался в прошлом, теперь мне было даже странно, что когда-то умел коснуться рукой дальних галактик. Однако, с теперь укороченной вертикалью, я пока еще мог раскинуть свое воображение на временной горизонтали, которая для меня всегда была готова стать двумерной, то есть обернуться плоскостью. Неудовольствованный скудной пищей, что предлагала моему физическому зрению соседняя дорога и плоская долина между горными кряжами, уже зазеленевшая весенней травой, я теперь убивал новоприобретенную скуку, воображая давние события, происходившие в этой многослойной местности. Может быть, это и не было вовсе моей фантазией (ведь историю знал еще похуже астрономии), а сама долина, чтоб меня развлечь иль, вернее, с какой-то неявной для меня целью, сбрасывала один за другим все покровы временных наслоений. Я и раньше знал, что благодать ей была не всегда присуща, что та бывала подмостками многих трагедий. Но одно дело знать, другое — наблюдать воочию одну за другой битвы минувших столетий, тут потом низведенных к шахматному состязанию. Пред моими глазами, подчас путая временные слои, упершись в обе стороны горизонта, брели вооруженные толпы каких-то еще доэтрусских дикарей, вслед за ними угрюмые римские легионы, за теми — варварские орды и так вплоть до не столь живописных, но еще более опасных отрядов уже последних войн. Иногда я не успевал размежевать эпохи, и тогда бойцы затевали анахроничные сражения, какие, помню, устраивал мой сын, играя в солдатики, где оловянные рыцари бились с американским спецназом. Надо сказать, довольно мрачное развлечение мне предоставляла зазеленевшая по весне долина,

откуда тянуло уже вовсе не потеплевшими ветерками, а кровью и мертвечиной, но в этом была своя истина. Все ведь тут неспроста, этот дух человеческой трагедии, конечно, должен был учуять тот скромнейший пророк, который то ли здесь родился, то ли еще родится, то ли так и не родится вовек, а лишь грядет в пародийном образе какого-нибудь странiero паццо.

Запись № 12

Уже говорил, что сошедшая изморозь обнажила все записи, коими я испещрил округу. Хоть я старался мгновенно запечатлеть любую промелькнувшую мысль, каждое чуть мелькнувшее впечатление, но теперь был удивлен, что их оказалось такое множество. Вся эта местность обернулась уже исписанным почти до конца блокнотом, по сути дела, рукописной книгой, где, однако, словам было тесно, — те наезжали одно на другое, какие-то строки ломались, другие струились будто змейки, подчас низвергаясь с небесной вышины каскадами. Вряд ли у этой рукописи найдется читатель, коль даже я сам теперь не могу разобраться в этой мешанине букв, слов, значков, разнообразных шифровок, чей ключ я уже позабыл. Да и будет ли она кому интересна, не поучающая, не развлекающая? Но нуждается ли она в читателе? Писал ведь для себя самого, даже и без определенной цели, а просто повинуюсь во мне исподволь укоренившемуся навыку и возникшей привычке. Если и получилась литература,

то честная, без попыток свести концы с концами, привнести какой-либо общий смысл в жизнь, беспечно протекающую поверх всех наших потуг и намерений. Отнюдь, разумеется, не беллетристика. Однако есть у нее позыв и посыл, тишайший манок, чей звук то теряется, то мне удастся его расслышать: не гимн и не хорал, а, скорей, незамысловатая песенка, мною когда-то подхваченная, которую моя соседка по горному хостелу приняла за напев из какой-нибудь ей неизвестной оперетки. Потому я уверен, что истинный сюжет и сейчас продолжает скрытно вершиться, чтоб меня одарить долгожданным финалом, — не просто неизбежным для каждого, когда вдруг махнет косою наша траурная матушка, а исполненный смысла. Крепко верю, что я в мире ненепрасная особь, и, конечно, неслучайно занесен именно в этот мирок, в мой парадизо, который, кто знает, не развернется ли когда-нибудь адом. Я его исписал вдоль и поперек, но буду в оставшиеся пробелы втискивать все новые и новые строки, относясь к повторам и возвращеньям вспять, как к приметам музыкальности мысли и тайной мелодии повествования. Я не сумел прочитать мной же написанное (верней, прочитал кое-как, повинуюсь инстинкту вспоминать пройденное, чтоб вообще не забыть, кто ты и откуда), но стоит ли вообще перечитывать свою жизнь, которая в памяти всегда будто холодный труп, ибо уже наперед известны все исходы и следствия?

Эти сумбурные, хотя и, по сути, верные, соображения я прочертил взглядом на придорожном валуне, замшелом и романтическом, где в давнишние наверняка времена кто-то выбил стрелку, указывающую на север, которая прежде направляла путников, нынче туристов. Еще б не

сумбур в моей голове, коль все мои мысли теперь подогрелись чувствами, мне дарованными весной, которая с каждым днем крепла, набирала ход, стремительно приближаясь к лету. Я даже не заметил, как обе затычки выпали из моих ушей, но теперь до меня долетали окрестные звуки: овечьё бляенье с оживающих горных террас, а главное, колокольные переливы ближних звонниц. Возможно, это был очередной искус, по крайней мере пока еще тихий подголосок, который, однако, о себе заявлял все настойчивей, мне советовал предаться благодатному сезону, забыв о прошлом, что похоронено, и о будущем, которое может и вовсе не наступить. Что ж до обоих разумов, то я уже говорил, что умудренный последнее время будто онемел, а бойкий и надзирающий, напротив, сделался суетлив: то одно советовал, то другое, кажется, сам не уверенный в точности своих подсказок.

Зазеленевшая долина наконец укротила свой милитаристский пыл: образы исторические сражений сменились зрелищем мирной жизни и сельских трудов, героический эпос — буколикками (что было уже не столь увлекательно). Видимо, так умиротворилось мое сознание, хотя тревога все ж не оставила меня до конца, свербела **откуда-то из-под ложек**, намекая, что весеннее благолепие лишь только передышка этому миру пред его грядущими бедами, что, предполагаю, будут возмездием за нынешнюю беспечность. Искусительный подголосок мне подавал совет наконец-то выйти к людям, чтоб как отнюдь не скромнейший, а ветхозаветный пророк их разбудить громогласными проклятиями и пугающими посулами. Однако возражали оба моих разума. Один резонно заметил, что

коль явится пред людьми такое чучело со своими патетическими угрозами, наверняка будет принято за юродствующего шута или опасного психа, — и тут уж его судьбой точно озаботятся местная полиция, а также иммиграционные службы. Я знал, что юродство в этих краях никогда не было столь популярно, как в наших, не слишком-то ценилось божественное безумие, отдававшее ересью. В здешней легенде Французик вовсе не был юродивым, а, наоборот, был взвешенно точен и внятен в любом своем поступке. То была лишь видимость юродства, на самом же деле — его полным разоблачением. Но и моя было вздремнувшая мудрость тоже вдруг подала голос, нашептывая: «Да погоди ты, не торопись чем-то нарушить благополучие этого мирка раньше срока. Трагедия только начала вызревать. Сейчас от тебя просто отмахнутся, как от назойливой мухи, и верно сделают. Ну и что ты потребуешь от людей, какой идее их призовут служить твои гневные проклятья, чьему примеру следовать? Ну не твоему же, где смешалось благородное неучастие с эгоистическим отстранением от всех обязанностей существования. Может быть, ее в целом, в отдаленных причинах и следствиях, ты видишь получше других, но за годы (возможно, и столетья) отшельничества ты потерял непосредственное чувство жизни, которое дано искони любому простецу, пониманье ее многочисленных неизбежных законов и с виду незначительных, но не случайно ведь сложившихся правил. Твой миг наступит, лишь когда грядет решительное “или — или”, еще не взвешенное ни на каких весах. Но и чем себе поможет, как его ни предостерегай, отдельный человек, мельчайший индивидуум, преданный ему неподвластным силам — не суть, Божьей воли

или ж подспудной воли всечеловечества? Уж не говорю, что трагедия способна обрушиться и вовсе без чьего-то злоумышления или чьей-либо вины, если, подобно тобой презираемых кликушам, не видеть кару в любом природном катаклизме или же неудачном сплетенье обстоятельств».

Передал, как умею, то, что удалось расслышать, и даже записал на скале, мне застящей горизонт, поверх прежних заметок. Однако шепот мудрости и вообще-то плохо различим, ибо та несоразмерна словам, от них всегда ускользает, а теперь и вовсе звучал едва слышно. Хотя я и не понял, что за «или — или», а также, что за весы, на которых то может быть взвешено, но почувствовал истину в этом не до конца понятном для меня образе. Еще один вопросительный знак, коими теперь испещрены мои небеса. Однако я понял или, верней, ощутил: мне еще предстоит скука ожидания, притом что в себе чувствовал прежнюю нетерпеливость. «Звездные игры» стали теперь для меня недоступны, сельская идиллия, лишённая трагического напряжения, не вызывала живого чувства, хрустально чистые размышленья почти без предмета сейчас уже не давались, а от воспоминаний прошлого несло и вовсе тоской смертной.

Я старался заполнить вновь обретенный досуг (именно в полном смысле, как временную лагуну, требующую заполнения чем-либо). Вдруг мне захотелось движения, разогнать застоявшуюся кровь, к тому ж испытать свое дряхлеющее тело, сохранило ль оно необходимую для любых деяний хотя б минимальную пригодность. Уплотнившись, ужавшись в пространстве и времени, я опять себя ощутил не бесплотной мыслью и вольным чувством, но к тому же

и телом во всем его несовершенстве, досадно подверженным любым человеческим недугам и, главное, закону естественного ветшанья. Как-то я об этом забыл, твердо уверенный, что буду всегда пребывать в своем совершенном возрасте, и ведь даже посетовал, что плоть не подвергает меня испытаниям. Да я и всегда его не учитывал в своем жизненном раскладе, даже слишком ему доверяя, — с иронией относился к своим товарищам, что, как было принято в том кругу, где я невольно обретался, ему уделяли излишнее внимание. Теперь же мое телесное несовершенство делалось для меня очевидным. Слабело зренье, подчас окутывая мир уже не романтическим сфумато, а хмурой дымкой; слух, прежде острый, всегда настороженный, теперь не улавливал шорохов, звуковых нюансов, и окружающий мир, соответственно, обеднел звуками и, коль можно сказать, акустически огрубел.

Каждое утро я делаю нечто вроде легкой зарядки, разгоняя стынущую кровь, разминая позорно скрипящие суставы. Честно говоря, испытываю стыд, себя представляя в нынешнем виде — этакий скелет в нелепом балахоне. Однако себя держать хотя б в относительной форме необходимо не только для грядущих деяний, но в первую очередь для простой, однако насущной цели. Кончатся скудные припасы, чем я кое-как поддерживал существование. Мне предстоял утомительный поход за провизией в расчете не людское милосердие. (Мне в нем не отказывали: здешние люди не то чтобы добры, однако хранят традицию доброхотства — помогают сирым и убогим, хотя и не без легкой презрительности.) Городок-то был совсем рядом — стоит обогнуть вон тот холм, как уже на горизонте

виден шпиль городского собора. Но, чтоб спуститься с моей вершины, сейчас была нужна сугубая осторожность, — не дай ведь бог поскользнуться на раскисшем по весне крутом склоне, — еще б не хватало переломать кости, превратившись в совсем никому не нужного инвалида. Уже несколько дней коплю решимость, себя подбадриваю, но всякий раз, стоит подойти к обрыву, как не хватает смелости сделать первый шаг. Прежде способный пойти на риск, бывало, рисковавший жизнью просто для куражу, ради секундной прихоти, никогда б не подумал, что меня остановит столь мизерное препятствие. В ранние годы я испытывал страх высоты, как, впрочем, и еще множество инфантильных опасок, — с годами одолел его, но теперь он опять проснулся. Впрочем, допускаю тут страх не столь физический, вполне рациональный (как и разумна необходимость себя сберечь для патетического финала), сколь подспудный, экзистенциальный (вроде так он зовется): скажем, боязнь новизны, впечатлений, способных сбить с панталыку мои нынешние мысль и чувство, явственно созревающие для мной предполагаемого служения.

Настала ночь, которая легка, по-весеннему воздушна. Совсем оттаявшие звезды, светили мягко сквозь едва заметную дымку, испарину не от до конца высохшей почвы. И вот среди этой дымки, испарины, мне вдруг явился ангел или какая-то горняя сущность, парящая, будто ночная птица, чуть выше деревьев, вся выбеленная лунным светом, — раскинув крылья, она простерлась на все небо, собою заслонив мной исчерченные зодиаки. А может, то был мираж, мне подсказанный слабеющим зрением.

Сейчас вернулся из путешествия в дольний мир, теперь не могу отдышаться. Однако испытываю радость, что вновь обрел неподвижную точку отсчета, неизменный ракурс, в сравнение с которым все другие для меня сомнительны, притом убедившись, сколь глубоко привязан к этому вроде б когда-то наугад избранному месту. Еще недавно обычная дневная прогулка обернулась опасным приключением. Надеюсь, тут все же виной мой упадок сил от зимней бескормизны, а не уже неизбывная старческая слабость. Осторожно, крепко цепляясь за каждый выступ, я спустился в долину, притом ощутил даже чувство важной победы, по крайней мере, над своей вдруг вернувшейся робостью. Мне прежде долина казалась почти совершенно плоской, теперь она сделалась волниста. Или недавнее (возможно, и давнее) землетрясение чуть исказило рельеф, или мне стали трудно даваться мельчайшие подъемы и спуски, которых раньше не замечал. Я шел мимо чуть перекошенных, вероятно по причине сбившейся вертикали, горок, будто раскачиваясь на волнах: вверх-вниз, вверх-вниз. И когда-то срезанный посох теперь мне был нужен не лишь для создания образа, а служил действительной подмогой.

Дорога была пустынна, возможно, из-за раннего часа. Переваливаясь с холма на холм, я подошел к знакомой развилке. По левую руку вдали виднелся пафосный храм, который я когда-то сравнил с ресторанным омаром, поскольку под его жесткой скорлупой таилась мельчайшая малость, его душа, исток легенды — простодушная церковка, выстроенная незнамо кем, но с незапятнанной верой

и неколебимой надеждой. В первый раз я застал этот храм горделивым, второй — чуть сконфуженным, теперь, будто опечаленным, потому как-то человечней, сквозь эти мертвые стены все-таки мерцала его живая сущность. Не знаю, отчего собор мне показался грустным, даже немного обиженным. Может быть, потому, что он годами бесполезно растрачивал пафос среди пустого пространства. Думаю, он выстроен все ж не из худших побуждений: броский, казалось, противоречащий его нутру или ядру облик назначен привлечь внимание к той живой капельке, что была бы в другом случае вовсе незаметна и не замечена. То есть с трезвым пониманием человеческой природы, падкой на эффекты, которое во мне так и не смогло вполне прижиться, одолев мое предвзятое, слишком требовательное, верней сказать, придирчивое отношение к миру. У меня даже мелькнула мысль навестить одинокий обиженный храм, несмотря на отвращение к его аляповатому декору и неблаголепным фрескам, исполненным с тяжеловесным немецким педантизмом. Однако в моем нынешнем состоянии всякий шаг по волнистому рельефу для меня все ж некоторое испытание, а до храма было не рукой подать, и, главное, я был теперь не готов к встрече с трогательной церковной, плененной помпезными стенами, которая мне могла послужить укором. Невольным, конечно, ибо ее создатель был чужд укорам, способный лишь к молчаливому призыву и собственному примеру.

После развилки дорога забирала вверх, так что мне приходилось время от времени делать остановки, чтоб перевести дыханье. Слева вдали мерцало зеленью живописное озеро. Химические стоки сделали его непригодным для купальщиков, притом наделили дивной красотой.

Помню, как не раз я, отнюдь не созерцатель природы, с восторгом наблюдал закат: мешавшее зеленое с красным величавое погружение солнца в проем меж двумя островками, побольше и поменьше. Великолепное зрелище, почти нереальное, будто вдохновенный вымысел большого художника, на которые недаром богат здешний край. И надо же: озерцо как-то выпало из моей памяти наряду с другими изытьями, обеднившими местный ландшафт, но теперь о себе напомнило. Дальше, хорошо мне известная, многократно хоженная, дорога, делает размашистый вираж, затем устремляясь напрямиком к городским воротам. Мой пунктирный путь уже длился не один час, судя по солнцу, успевшему одолеть четвертушку своего полукруга. Пора бы уж показаться городскому холму с руинами княжеской цитадели на самой верхушке. Но дорога, сперва стекавшая под уклон в мелкую котловину, затем, устремившись вверх, обрывалась на горизонте. То ли нечто случилось со здешним пространством, то ли мое одряхлевшее тело (имею в виду слабеющее зрение и общую хилость, растягивающую пространство) тут внесло свои коррективы. У меня явилось дурное чувство, что путь может оказаться вечным. Я шел к людям, но так и не встретил ни единого. В том можно было заподозрить экивок моей памяти, вновь открытой проделкам бесенка-путаника, но я предпочел рациональное объяснение: в конце концов, может, это просто был выходной день, притом в несезон.

Но вот по правую руку все же показалось хорошо знакомое строение, моя память лишь чуть его подправила: замок, превращенный в постоялый двор, или же корчма, так стилизованная для туристов. Мне ли не узнать его, несмотря на абсолютный разрыв, меня отлучивший от былого?

(Его представлял в виде зияющего пробела, где канули прежние годы, источенные мелкими обидами, бедами, провинностями, как и незначительными триумфами.) Именно здесь когда-то нотариус, похожий на гробовщика, мне пытался продать за кватроченто, кажется, тысяч в европейской валюте местную легенду. А позже, когда я, вернувшись, обнаружил свой парадизо как-то смеркшимся, будто потускневшим двойником того прежнего, что я счел в некоторой мере диалектикой, вместо веселого, всегда приветливого толстяка-хозяина меня встретила усатая мрачная тетка, его предполагаемая наследница. Я не подсчитывал лет, но, может статья, и та уже давным-давно померла, но, значит, оставив придорожную корчму в заботливых руках, судя по ее не обветшавшему за годы, а, наоборот, подновленному облику. Раньше я посещал его туристом-американцем, то есть лицом уважаемым, хотя вряд ли вызывавшим симпатию, а теперь заявлюсь попрошайкой. Я и опасался (не я целиком, а, пожалуй, только мой желудок), но и надеялся вдруг обрести совершенную радость из притчи, что мне когда-то поведал испанский сценарист. То есть что новый хозяин меня погонит пинками, выставит вон, как назойливого бродягу, отказав даже в корке хлеба. Но, честно говоря, на это была небольшая надежда, учитывая, как я говорил, прохладное, но твердое, воспитанное веками, доброхотство здешнего населения. Если и могут оскорбить, так лишь брезгливым выражением лица, что недостаточный повод для совершенной радости.

Могу сказать, что в этом кабачке я едва ль не обрел совершенную радость, хоть и вовсе иного рода. Там уже хозяйствовала не усатая матрона, а молодой парень,

должно быть, ее сын, внук или правнук. Он не только не выгнал меня пинками, но принял как почетного долгожданного гостя. В пустом кабачке, со своей беременной, на последних уже сносах, супругой они только что не омыли мне ноги. Угостили щедро, и мой стосковавшийся по еде желудок не проявил разумной сдержанности, отчего сейчас резь в животе и частые позывы к оскорбительным для человека проявлениям нашей телесности. Оба мне лопотали нечто на своем музыкальном языке, но, видно, размякнув от непривычных тепла и сытости, я растерял даже и малую горстку мной выученных словечек. Но суть была и без слов понятна: не думаю, что эти люди, при всем их простодушии, меня и впрямь приняли за героя им наверняка с малолетства знакомой легенды, но я был все ж напоминаяем иль назиданьем, будто посланцем из иного, небудничного мира, где неуклонные законы бытия смягчены благодатью. Примерно так я ощутил их чувство, определить которое они сами навряд смогли бы. А уж я тем более: за годы иль века уединения отвыкнув от человеческих особей в их единичной индивидуальности, я лучше улавливал помыслы людских общностей, тем самым даже и прозревая их судьбы.

Эти приветливые люди, уверен, коль я проявил бы малейшую готовность, даже были б согласны навсегда мне предоставить кров и свою опеку. В том заключался некоторый соблазн, но именно для моего тела, пока все-таки не овладевшего душой и разумом. После как никогда остро пережитой зимы я получал какое-то животное удовольствие, притулившись возле камина, но даже и вообразить не мог, что воспользуюсь добротой хозяев, им

жестоко отплатив за гостеприимство: такая невесть откуда обрушившаяся на них странность наверняка уничтожит, подорвет их уютный быт, даже если я буду себя вести тишайше, вроде ленивого кота, жиреющего на хозяйских хлебах. (Что за гадостная мысль!) Но главное, я ж понимал, что это будет с моей стороны дезертирством, жалкой капитуляцией, что перечеркнет всю мою жизнь от начала до конца, с ее детско-юношескими мечтами, бесполезно суетливой середкой, несчитанными годами вольных раздумий и чувствований, и нынешней, уже почти вызревшей готовностью к героическому служению.

Подозреваю, что мне оказавшая почет пара, меня отпустила даже с некоторым облегчением. Пусть я теперь и умялся до человеческого размера, уже неспособный, как было недавно, коснуться руками туч иль, вытянув ноги, ими упереться в горизонт, но все же отнюдь не пропал мой душевный переизбыток (куда ж ему деться?): вся громада вдохновенных фантазий и жизненных постижений, что вряд ли можно отличить одно от другого, непримененных (иль неприменимых) мечтаний, как и множество неосуществленных (может, и не осуществимых), но и не все похороненных планов. Не скажу, чтоб то был тяжкий груз (душа, понятное дело, легче воздуха): я его представлял в образе каких-то нематериальных взвихрений, клубящихся вокруг меня ураганчиков, по неким собственным законам то налетавших порывами, то вдруг стихавших надолго. Чую, что, разгулявшись вовсю, такой ураган, способен опрокинуть вверх дном этот домик с его вековечным уютом. Короче говоря, я покинул его лишь только с небольшим сожалением и обратный путь одолел вполне

бодро, сейчас не как инвалид, взлетев на свою вершину единым махом, притом что обильно нагруженный провизией, которой при небольшой емкости желудка мне хватит на долгое время.

Теперь сижу у своего очага, где братец Огонь с урчаньем и хрустом, словно оголодавши, как и я, пожирает сухие ветки. Сейчас вновь я переживаю чувство уюта, но куда возвышенной, чем недавно в придорожной корчме. Тут мне служит кровлей — небесная чаша полная звезд, краями образующая ниточки горизонта. Ни окон, ни дверей, но я чую выход за предел в любой точке пространства. Мой поход к людям мне показался удачным: убедился, что легенда не до конца умерла, а я оставался ее частью или пусть эпилогом. Под утро я легко ушел в сон, испытывая уже давно позабытое чувство удовлетворения, которое в давние годы мне было заменой счастью.

Запись № 14

Я блаженно задремал в этом незамысловатом, вполне земном чувстве, а проснувшись, испытал ощущение полного краха, — уже не впервые событие меня застигало врасплох, тем посрамив мою предусмотрительность и предвиденье будущего. Стихия, когда-то себя обозначившая легким намеком, почти незаметным толчком, мелким сдвигом реальности, теперь разгулялась нешуточно. Земля подо мной кривилась и корчилась в судорогах,

окрестные холмы устроили перепляс, осыпая дорогу и мелким щебнем, и крупными валунами (видно, муниципальная комиссия оказалась хоть, в отличие от меня, предусмотрительной, но недостаточно расторопной). Деревья, играя ветками, еще больше разгоняли ветер. Тревожно били все окрестные колокола, неблаголепно и невпопад, будто не волей звонарей, а просто мотаясь на своих брусках.

Спросонья, я испытал панический страх, даже не страх, а именно ужас, будто в мир хлынули свирепые ночные виденья, стали правдой страшные сказки, чем нас пугали нянюшки, в которые мы давно разучились верить. Подобный ужас, щемящий, как иглой вонзающийся в мошонку, я испытывал только в детстве, когда приходилось сталкиваться с тошнотворной мертвечиной. Потом уже никогда, даже в дикие годы моего расцвета, когда пришлось не один раз стоять под револьвером. Но тогда-то я видел опасность и знал, за что мне грозит расплата, которую даже мог признать справедливой. Теперь же главное было в чувстве полной беспомощности. К тому ж и несправедливости: казалось, мир был отдан на волю случая или, скажем, бесам, как я думал, повелителям любой случайности. Это был стихийный бунт природы, но все ж я допускал, что человеческое к нему неким образом причастно (предположить ли нарушения экологии, о которых любят твердить газеты, или расплату за грехи) и, разумеется, будет причастно к его следствиям, — это уж доподлинно. Страшней было думать, что природа способна уничтожить весь мир походя, без гнева и явной цели. (Я предпочитал даже мысль, что так и не обновленный мир уже истлел внутри себя и готов рухнуть от любого толчка.) Но

покамест казалось, будто силы разрушенья вырвались не только из-под людской, но и вообще чьей-то воли. Тут уж ничего не поделать, бессильны и ученье, и слово, и пример, уж не говоря о благом намеренье. Оставалось только ждать, когда природа, истратив свой гнев, сама собой понемногу утихомирится. Да еще и утихомирится ли, пока весь этот мир не разнесет в щепу, не развеет в неях: как плоды всеобщего созидания, так и совокупных недалеко-видных злоумышлений?

Потом ужас как-то осел, хотя скала, надо мной нависшая подобьем рока, могла в любое мгновенье похоронить со мной вместе все вымышленные и выпестованные мною миры. Их бы я пожалел скорей, чем свою дряхлеющую плоть, — в очередной раз убедился, что не так уж привязан к жизни. Я слаб в описании ужаса, как и восторга, как и вообще бурных чувств, никогда не умел для них найти достойного слова, тем более что время, как уже бывало, сгустилось, словно опять все целиком вместилось в единственный миг. Я успел представить, как его ровная нить, будто на осциллографе, вдруг взметнулась гигантской зазубриной, упершейся в небеса, где сияло, подпрыгивая и мигая, иль, скорей, зияло гневное солнце, багровое, как воспаленный глаз. Я даже и не попытался его умиловить, как делал почти ежедневно, напомнив о нашем с ним побратимстве, что теперь наверняка б звучало со льстивой неискренностью. Не знаю, сколько в реальном времени продолжалась эта воистину грозная свистопляска, явление истинного гнева вовсе иного рода, чем бутафорская, театрализованная гроза среди величавых декораций, что я когда-то здесь пережил.

Дикое сотрясение земли прервалось столь же неожиданно, как наступило, будто расколов надвое взмывший до небес патетический миг. Напоследок подпрыгнули два раза каменные холмы, прощально звякнули окрестные колокола, и настала тишина, ненадежная, грозящая, как возможная пауза перед очередным буйством. Теперь я не доверяю здешней природе, что лишь красивая поросль (заваленная валунами долина, сейчас приобрела какую-то новую — дикую, реликтовую красоту) на раскаленном, всегда готовом проснуться вулкане. Я чувал, как вертикаль теперь еще больше накренилась, округа стала наклонна даже на глаз, угрожая и вовсе опрокинуться, смахнув нас с лица земли, как излишнюю для нее обузу. О своей судьбе я теперь не думал, меня больше заботил соседний городок, к которому я сохранил свою давнюю нежность, кто знает, может быть, он рухнул, как мною раньше перечисленные города. Ослабшим зрением я теперь вглядывался в горизонт, там страшась углядеть ответ пожара. Горизонт был чист, хотя оттуда и доносились по ветру тревожные звуки сирены, не разобрать, пожарной, полицейской, но, возможно, это было только слуховой иллюзией, подобной звону в ушах. Вроде бы вот он, мой долгожданный патетический миг, сам настиг меня, свершилась наглядная катастрофа, которая либо так и не выпала скромнейшему пророку, либо его теперь поджидала. Что было делать? Вроде б ясней ясного: коль я такой уж доброхот, издавна полный благих намерений, то следовало, хоть ковыляя, хоть на карачках, поспешить к пострадавшим, чтоб им оказать какую ни на есть помощь: доставать людей из-под завалов и мало ли что еще, учитывая мой, хоть

и полузабытый, медицинский навык. Но в этом порыве наверняка таилась и некая ложь, поскольку именно так поступить мне советовал искусительный подголосок, даже с некоторой горячностью. Но вдруг, осмелев, себя вовремя обнаружил мой практический разум, он, как ему положено, бдил и, казалось, после перенесенного ужаса сделался еще практичней. Он почему-то шепелявил и заикался, но понять-то его было возможно. «Что толку, — он вопрошал, — от тебя, каков ты нынче? Какая от тебя может быть польза? Отощавший, бессильный, ты будешь понапрасну вертеться под ногами у тех, кто может принести действительную помощь. Выйдет как раз противоположное намеренью, какое-то слишком убогое служенье, а верней сказать, его симуляция, — сам ведь однажды говорил, что не хочешь изображать ложного доброхота. Это ль тебе посулил отчаянно сгустившийся миг?»

Надо сказать, мой практический разум был и всегда склонен к критиканству: умел видеть любой изъян в действии или ж только намеренье, но редко подсказывал истинно разумный поступок. Можно сказать, он скорей расслаблял и отвращал, больше предусматривал, чем стимулировал. А моя мудрость, как я уже говорил, теперь почти онемела, но в ее молчанье угадывался намек на мое предстоящее служенье, которое ему виделось служеньем особого рода — никак и не силой, и не физической подмогой.

Я вдруг вспомнил мне оставленную пустую пропись. Может, это внезапно нахлынувшая гордыня, но я лишь укрепился в чувстве, что ни кому, как мне, предстояло ее

заполнить какими могу словами (кажется, на это намекало многозначительное молчанье моей немногословной мудрости). Не скажу, что я это чувствовал своей обязанностью, скорей правом, как одного из соавторов легенды, а не незаконно в нее вторгшегося иноземца. Не я нашел этот сюжет о бедном подвижнике, будто стремившемся расколдовать, сделать вновь живым этот мир, так скованный догмами, что стал хрупким, кристаллическим, а он меня сам отыскал со своими необходимыми подробностями, а также и умолчаниями, которые еще и поважнее. Он мне послужил необходимой подмогой, когда моя судьба, и будто судьба человечества, как шарик, зависла на ребре, еще не ведая, куда ему покатиться (уже сказал, что не подсчитывал здесь проведенные дни, но эта заминка с непредсказуемым исходом осталась неразрешенной; по крайнем мере, так мне кажется, когда-то нырнувшему в яму, где время стоит). Именно в такие вот томительные паузы, не столь уж редкие замиранья истории всегда и должно явиться мечте о чистосердечном Французике. Я ее подхватил будто из воздуха, выстрадал, коль можно сказать, со всех сторон обмечтал и вымечтал, приобрел с ним хотя б даже и пародийное сходство, низвел себя до нуля, чтобы так вырваться из рутинного коловращения будней; пожертвовал всем, что имел, хотя это уж невеликая заслуга: мне еще прежде опостылело мое именье, как обязанность и обуза. Я теперь почувствовал, что мое намеренье, теперь до конца вызревшее, надо осуществить не медля, чтобы то не успело перезреть (знаю по себе, что перезревшие планы, загнив, отравляют душу, как любые гнойники губительны для здоровья).

В созревшем намеренье, я сейчас действовал только по наитию, даже не прислушиваясь к своим внутренним советчикам. Теперь я покидал насиженное место, уверенный, что уже не вернусь никогда, хотя, как и положено добросовестному автору, не представлял, каким точно финалом завершится иль разрешится мой роман. Оставаясь человеком привычки, я испытывал некоторую грусть, покидая освоенное место, тем более навсегда. К тому ж лишившись привычного, хорошо присмотренного ракурса, я боялся, что для меня вдруг да разверзнется хаос, то есть угрозу во всегда распахнутые объятия демона-путаника. Даже, если предположить, что мое бдение на этой скале было лишь формой безумия, все-таки привычным, освоенным, а нормы я теперь уж наверняка себе не верну, — да ее б и отверг с презрением. Значит, ждет новое безумие в его непредсказуемом виде, с его уже другими виденьями, другой фантазией, обновленным воображением.

Уверенный, что поступаю, как должно, я тут искоренил все следы моего пребывания. Вовсе не заметал улики (к чему это?), а скорей, чтоб не мучил соблазн сюда когда-нибудь возвратиться. Я видел свой окончательный разрыв с этим облюбованным местом. Свой шалашик, условное, но четко обозначенное, местопребыванье, я принес жертву братцу-огню. Вмиг от него осталось лишь только пепелище. Я уходил в мир налегке, в чем сюда и пришел, за исключением разве что посоха, мне теперь необходимого для ходьбы. Был бы рад стереть свои записи, чем пометил округу, но те въелись накрепко в небеса и камни, впрочем, вряд ли представляя интерес для кого-либо другого, да и ключик от шифра у меня затерялся.

В этот раз путь мне дался легко. Воспрянувший дух и озабоченный разум (точней, они оба, вкупе с подголоском) отменил всяческие придирки моего казавшегося столь требовательным тела. Я услышал, как, судя по раскатистому звуку за моей спиной, наконец рухнула скала, что надо мной нависала, всегда тревожа, и теперь я шагал по накренившейся плоскости, без труда удерживая равновесие, но только не решаясь оглянуться на прошлое, чтоб не застыть соляным столбом (мой давний, откуда-то вычитанный страх). Огибал валуны, усыпавшие дорогу, причем так и не потеряв до конца прежний ракурс, себя будто наблюдая сверху. Зрелище было именно что кинематографическое, думается, эффектное: маленький человечек, одетый во власяницу, пробирался меж гигантских камней. Вдоль моего пути, сменялись одна за другой печальные картины разора, притом что весна, будто поверх катастрофы, цвела с прежней силой. Пафосный храм, творенье холодного, рассудочного таланта, устоял, но теперь скособочился, подобно Пизанской башне, навек запечатлев свое падение, а от уютного домика, где я недавно был принят с чистосердечным радушием, осталась лишь груда булыжников, — надеюсь, как недвижимость он был предусмотрительно застрахован и вежливая чета теперь не останется в нищете и бездомной.

Я миновал на пути железный столбик с табличкой «Allarme!», предостерегавшей от некой опасности, еще свежей, — но, возможно, и давней, поскольку он не стоял на вытяжку, а успел покоситься. Однако городские ворота

оказались на месте и без единой трещины, в очередной раз уцелев среди исторических, а также геологических превратностей. Я боялся увидеть город в руинах. Однако нет, побитый, искореженный, напуганный до смерти, с наглядными признаками разора, вроде разбитых стекол и кое-где надтреснувших стен, он все ж не превратился в Помпеи. Можно сказать, что город представлял картину безвластия и нарушенного быта: его улицы, переулки и тупики, где в одиночку бродили угрюмые жители, теперь казались бесцельны. Истошно вопияли залысины площадей с низвергнутыми свидетельствами былой славы. Городская мелодия, к которым я всегда бывал чуток, теперь сделалась неуловима, — чересчур много нот из нее выпало. Однако твердое наитие меня вело разоренными улицами, я уже догадался, куда именно. Резную дверь узнал сразу, она только треснула вдоль, располозовав надвое пухлых ангелов, похожих на амуров. Дом, как и прежде, смотрелся покинутым, но было заметно, что соседний сарайчик подновили совсем недавно, будто вчера: еще не успела высохнуть свежая, едкая на запах краска. Как я и надеялся, не всем тут безразлична была загаженная легенда. Но, может быть, этот легендарный хлев всего лишь одна из приманок для любопытствующих туристов, учитывая, что и этот вроде бы и неподвластный времени городок был отчасти задет повсеместным туристическим бумом.

Я испытал верное чувство, не требующее подтверждения ни первым, ни вторым разумом, ни тем более их подголосками, что именно сюда я зигзагами, извилами шел всю жизнь сквозь череду мусорных будней. Был не удивлен, что закуток теперь оказался стерилен: чисто выметенный пол, свежеструганные ясли и переборки, выбеленные стены,

но огорчила бездарно подновленная фреска. Явно дилетантски, хотя видна старательность современного богомаза, изобразившего Французика строго в установившейся традиции. Однако осыпавшаяся фреска, когда-то сохранявшая лишь аутентичный контур, потеряла свою экспрессию, смотрелась вяло и как-то безразлично. По правде, я не успел ее разглядеть всерьез, поскольку едва ль не сразу в мутном свете, цедившемся сквозь небольшое оконце, заметил нечто более важное. Ясли теперь оказались не пусты. Сперва, испытав одновременно и страх, и надежду, я вообразил, что там лежит и впрямь живой младенец. Но нет — восковая куколка, изображавшая всеобщее детство. Я застыл перед ней в растерянности, одинокий волхв, неудавшийся маг или пастух без стада, ему не припасший ни единого дара. Снаружи послышался нарастающий гул, переключка людских голосов, словно там собралась требовательная, а может быть, злая толпа.

Я вышел из хлева, на руках с восковой куколкой. Толпа разошлась, мне открыв дорогу. Она была велика, заполнила ближайшие улицы, выплеснулась на поруганные площади, казалось, мне навстречу вышли все до единого жители городка. Но с какой целью? Я знал, что любая толпа неустойчива в намереньях и неукротима. В этой я не чувствовал одобрения, казалось, она подстерегала меня, как затаившийся зверь, но была и готова подчиниться укротителю. Я шагал с младенцем на руках, словно в нем обретя защиту, как будто сквозь строй, но притом не испытывал ужаса, хотя вершился въяве мой давний сон, бывало, отдававший ночным кошмаром, что мне подсудобил мой своеобразный сновидческий гений, творящий миры из только ему ведомой материи. Я уже твердо знал, куда направляюсь,

потому ступал уверенно, себя ощущая неудачливым фиглярном, которому выпало сыграть заглавную роль в событийном, возможно, великом спектакле.

Вновь миновав городские ворота с чуть покосившимся гербом, сочетавшим ярость и чистосердечие, что теперь нераздельны, я оставил город за спиной, и теперь восходил вверх по гигантским уступам, казалось, вырубленным в скале великаном для великанов, мимо горных часовен с притихшими колоколами, пронзая мелкие сырые тучи. Взойдя к горным пастбищам с времянками пастушьих сарайчиков, я впервые оглянулся. С высоты покинутый городок казался мелким, будто он игрушечный. Толпа следовала за мной, теперь растянувшись волнистой змейкой на километры. Верно ли, что следовала, может, преследовала? Трудно было понять, кто для меня эти люди: последователи, попутчики или соглядатаи? Я этого не знал, но больше прислушивался к собственному чувству. Я мог показаться слепым поводырем слепых, но во мне зарождалась совершенная радость, хотя вовсе не от изгнания и неприязни. Наконец-то и впрямь все дни моей жизни выстроились не хронологически, а по значению, а ее заостренный кончик подобьем ангельской стрелы уперся в еще неизвестный, но предчувствуемый финал. Мой последний блокнот был исписан почти до конца (строчки сквозили в небесах, на скалах и почве), а может, и до самой развязки, однако неизвестной герою повествования, пока не успеваю разобрать последние строки. Мне, полубезумному герою, требовалось последнее усилие, чтоб завершить легенду, что началась величавой драмой, продолжилась трагедией предательства и никак не должна завершиться фарсом.

У меня свербело в ушах, мне слышался стрекот, похожий на звук работающей киноаппаратуры. В тянущейся за мной змейке я, казалось, различил своих давних соседей по горному хостелу, вплетенных в мою мечту о Французике. Возможно ли с такого отдаления? Наверняка иллюзия, но в любом случае в этом мною выдуманном, вряд ли отснятом фильме я хоть, может, бездарно, однако искренне сыграл роль главного героя. Вряд ли кто смог бы лучше, ибо тут дело не в таланте, а в способности пожертвовать всем ради одной роли, к которой единственно предназначен.

Вот уже и скит, где я обрел пустую пропись, направившую мою жизнь в мне насущное русло. Оттуда вновь сочился аромат луговых цветов. Я не посмел зайти в него, да это было и ни к чему. Встав над пропастью, я произнес целиком гимн, сочиненный Французиком иль кем-то из тех, кто еще больше меня был проникнут этой легендой. Когда дошло до величания смерти, на миг запнулся, но хор голосов невесть откуда подхватил мое пение, прозвучали слова, что мне никак не удавалось произнести: «Laudatus sis, mi Domine, sororem mortum corporalem», — и отдаленный могучий гул будто послужил ответом. Мелкий городок распался словно постройка из детских кубиков, был повергнут в прах. Я не мог спасти город, но люди-то уцелели, хоть остались нищими, без привычного бытования, потому более чем когда-либо доступными высшим помыслам и раскаянью. Не уверен, чтобы дождался от них благодарности. Я метнул вниз восковое изображение младенца, уверенный, что его подхватят ангелы. И тут захлопнулся исписанный до конца мой последний блокнот. А людской змейке, ползущей в гору, наверняка показалось, что я попросту развеялся в воздухе,

их оставив у истока уже новой, еще не сочиненной легенды. Я стал уже чистой литературой, строкой, вьющейся по страницам, уверенный: кроткий Французик мне простит, что так дурно рассказал его притчу, в моем изложении никому не способную преподать серьезный урок. Впрочем, кто разберет в этой жизни, что воистину серьезно, а где чья-то прихоть и лицедейство?

Приписка

Закончено 18 января 2017 года, когда жизнь грозно подтвердила мой вымысел*. Совпадение? Предвиденье? Не стану в очередной раз повторять банальность о роковых свойствах литературы... И вот напоследок гимн Французика, который я перевел, как сумел, не до конца им проникшийся, но к нему причастный:

Господи всемогущий, всеильный и всеблагой,
славы, чести, любой хвалы
Только лишь Ты достоин,
и, Господи, ни один человек
Тебя не вправе именовать.
Хвала Тебе, Господи, также в твореньях,
в Солнце прежде всего, нашем господине и брате,
которое создал, чтоб нам свет даровати.

* В этот день в центральной Италии произошло землетрясение. Дата окончания романа подлинная.

Оно и само превосходно, и щедрым сияньем
 весть подает о Тебе, Всевышний.
 Хвала Тебе за сестрицу Луну со звездами,
 коих Ты сотворил благолепными,
 дивными и светоносными.
 Хвала Тебе, Господи, за брата нашего Ветра,
 воздух, ненастье и вёдро, за любую погоду,
 нам дающую пропитанье.
 Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу Воду,
 всем нужную, и доступную,
 и драгоценную, и кристальную.
 Хвала Тебе, Господи, за брата Огня,
 коим Ты освещаешь ночь,
 он сам собою прекрасен,
 и приветен, и могуч, и властен.
 Хвала тебе, Господи, за сестру мать нашу Землю,
 коя нам открывает пути, всех людей носит,
 возвращает травы, цветы и плодоносит.
 Хвала Тебе, Господи, за тех, кто во имя любви
 отрекся от всяческого имения,
 предавшись мукам и униженьям.
 Блаженны те, кто это приял со смиреньем,
 ибо Тобою, Всевышний, будут прославлены.
 Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу Смерть телесную,
 которая неотвратна и непреклонна.
 Горе сгнувшим во смертном грехе,
 блаженны те, кто упокоится
 Твоим святым воленьем,
 кому Смерть, настигнув, не нанесет урона.
 Славьте и благодарите Господа моего,
 служите воле Его с великим благоговением.

Мечта о Французике

Запись № 1.....	9
Запись № 2.....	12
Запись № 3.....	18
Запись № 4.....	26
Запись № 5.....	33
Запись № 6.....	39
Запись № 7.....	46
Запись № 8.....	52
Запись № 9.....	56
Запись № 10.....	63
Запись № 11.....	68
Запись № 12.....	75
Запись № 13.....	80
Запись № 14.....	88
Запись № 15.....	94
Запись № 16.....	99
Запись № 17.....	105
Запись № 18.....	110

Блокнот из кожи, с золотым обрезом

Запись № 1.....	115
Запись № 2.....	120
Запись № 3.....	127
Запись № 4.....	133
Запись № 5.....	137
Запись № 6.....	144
Запись № 7.....	151
Запись № 8.....	157

Запись № 9.....	163
Запись № 10.....	167
Запись № 11.....	172
Запись № 12.....	177
Запись № 13.....	182
Запись № 14.....	186
Запись № 15.....	192
Запись № 16.....	197
Запись № 17.....	201
Запись № 18.....	206
Запись № 19.....	210
Запись № 20.....	215
Запись № 21.....	222

Последний уже блокнот

Запись № 1.....	227
Запись № 2.....	235
Запись № 3.....	245
Запись № 4.....	252
Запись № 5.....	259
Запись № 6.....	266
Запись № 7.....	273
Запись № 8.....	280
Запись № 9.....	288
Запись № 10.....	294
Запись № 11.....	300
Запись № 12.....	306
Запись № 13.....	313
Запись № 14.....	319
Запись № 15.....	326
Приписка	331

Книги Александра Давыдова

- Апокриф, или Сон про ангела (1997)
- Повесть о безымянном духе и черной матушке (2004)
- 49 дней с родными душами (2005)
- Три шага к себе... (2005)
- Песнь (2005)
- Свидетель жизни (2006)
- Французская поэзия от романтиков до постмодернистов:
избранные переводы (2008)
- Гений современности (2010)
- Бумажный герой (2015)

Литературно-художественное издание

Александр Давидович Давыдов

Мечта о Французике

Роман в трех блокнотах

Редактор

Лариса Спиридонова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Елена Плёнкина

Верстка

Светлана Спиридонова

Подписано в печать 16.10.2018

Формат 70х108/32. Усл. печ. л. 14,7

Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО «Время»

117105, Москва, Варшавское шоссе, 3

Телефон (495) 954 10 82

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

ОАО «ИПП «Уральский рабочий»»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru